

АДРИАН
ТОПОРОВ



ИНТЕРЕСНОЕ
ЭТО ЗАНЯТИЕ
- ЖИТЬ
НА ЗЕМЛЕ



AF



АДРИАН
ТОПОРОВ

ИНТЕРЕСНОЕ
ЭТО ЗАНЯТИЕ –
ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ!

ВОСПОМИНАНИЯ

БАРНАУЛ 2015

Книга издана на средства краевого бюджета
по результатам краевого конкурса
на издание литературных произведений

Топоров А.М.

Т584 Интересное это занятие – жить на земле! : воспоминания / Адриан Топоров ; Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. – 398 с. – (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).

ISBN 978-5-98550-361-6

«Интересное это занятие – жить на земле!» – книга воспоминаний писателя, просветителя и общественного деятеля Адриана Топорова (1891–1984). Он – один из создателей алтайской коммуны «Майское утро», автор легендарной книги «Крестьяне о писателях».

Тема книги – человек и его судьба. Повествование охватывает почти весь XX век. Значительная часть мемуаров посвящена жизни автора на Алтае.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ББК 84 (2Рос – Рус) 6-4

ISBN 978-5-98550-361-6 © И.Г. Топоров, 2015
© КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова», 2015

Предисловие

Эта книга – развернутая автобиография, написанная, однако, по законам художественной прозы. Тема ее – человек и его судьба. Повествование охватывает почти весь XX век – бурный, до предела насыщенный войнами, революциями и другими важнейшими событиями. Автор книги – А.М. Топоров (1891–1984 гг.) – просветитель, писатель, публицист, музыкант, языковед, библиограф и общественный деятель.

А.М. Топоров считал, что у него три родины: Белгородчина, где он появился на свет; Алтай, где к нему впервые пришла всесоюзная слава; и Николаевщина, что на юге Украины, где он прожил последние 35 лет жизни.

Имя А.М. Топорова можно встретить в различных энциклопедиях. Его личные фонды имеются в Институте мировой литературы (Москва), Пушкинском доме (Санкт-Петербург), государственных архивах Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Курска, Старого Оскола, Ставрополя, Николаева, в музеях Москвы, Белгорода, Старого Оскола, Тулы, Николаева; Алтайского и Пермского краев. Оно упомянуто в фундаментальном издании Истории СССР (т. VIII, стр. 353, Наука, М., 1967) и пр. О нем до сих пор пишут книги, научные работы, снимают фильмы, говорят на литературно-общественных чтениях и т.д.

Культурно-просветительная работа этого незаурядного человека началась еще до Октябрьской революции – в Курской губернии, далее, в городе Барнауле, а затем в алтайском селе Верх-Жилино. Здесь, в 1920 году, он стал одним из организаторов знаменитой коммуны «Майское утро». В местной школе в течение почти двух десятков лет

А.М. Топоров учил грамоте детишек, их родителей, дедушек и бабушек. Адриан Митрофанович создал в этом глухом краю богатейшую библиотеку, театр, музей, а также хор и оркестр, виртуозно исполнявшие сложные классические произведения.

А еще организовал уникальные читки художественной литературы. В течение 12 лет коммунары слушали произведения классиков и советских писателей и высказывали о каждой книге свои замечания, в которых скрывались глубокие мысли. Со временем накопленный материал вылился в книгу «Крестьяне о писателях» (1930 г.). Аналога ей нет в мире. Книга сделала имя ее автора известным не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами (США, Австралия, Швейцария, Польша и т.д.). Она также была высоко оценена А.М. Горьким, В.В. Вересаевым, К.Г. Паустовским, К.И. Чуковским, А.В. Луначарским и др. Затем книга «Крестьяне о писателях» выдержала еще четыре издания.

В жизни этого незаурядного человека не раз бывали взлеты и падения. В 1937 году он был необоснованно репрессирован. Чудом выжил в ГУЛАГе. После реабилитации А.М. Топоров вновь занимался литературной и общественной деятельностью, писал оригинальные учебники в самых разных областях знаний: игра на скрипке, вспомогательный язык эсперанто, русский язык и литература. Он общался с А.Т. Твардовским, М.В. Исаковским, С.П. Залыгиным, Е.Н. Пермитиным и другими великими людьми. А второй пик его славы пришелся на 1961 год, когда в космос полетел Г.С. Титов, родители которого были любимыми учениками А.М. Топорова в коммуне «Майское утро». Космонавт-2 любовно называл его своим «духовным дедом» и не раз навещал в городе корабелов – Николаеве.

Много лет трудился Адриан Митрофанович над книгой воспоминаний, которая была закончена в 1970 году. Тогда же знаменитый советский журналист и литератор А.А. Аграновский написал об этой рукописи: «Читается книга с огромным интересом, познавательного в ней тьма, есть главы просто блистательные... Она полезна будет читателям, особенно молодежи... Описания семьи, детства, родни, школы... – это все хорошая, в лучших русских традициях проза».

Чуть позже отдельные главы мемуаров А.М. Топорова были напечатаны в журнале «Октябрь» (1980 г., № 3) под названием «Однажды и на всю жизнь», в московском издательстве «Детская литература» в том же 1980 году под названием «Я – учитель» и уже в наши дни – в ряде журналов и газет в России, Украине и Казахстане.

Но в полном виде книга никогда и никем не публиковалась – не столько из-за значительного ее объема, сколько из-за острого языка и ершистого характера автора. Скажем, в одной из глав он в пух и прах разнес советских литературных критиков за их нелестные отзывы о книгах А.И. Солженицына и предрек ему всемирную славу. Как известно, вскоре после этого Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе, а в СССР началась мощная пропагандистская кампания против писателя, закончившаяся его высылкой из страны.

«С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее – живые рассказы о действительно бывшем. И в художнике не то интересует, что он рассказывает, а как он сам отразился в рассказе» – так писал добрый знакомый А.М. Топорова – знаменитый писатель и пушкиновед В.В. Вересаев.

Думается, всем этим требованиям в полной мере отвечают воспоминания А.М. Топорова. И читателю сейчас предоставляется прекрасная возможность – прикоснуться к богатейшему внутреннему миру человека, которого современники называли «последним рыцарем культуры XX века».

Игорь ТОПОРОВ

Часть первая

Выше всего правда жизни, она
всегда заключает в себе глубокую
идею.

И. Репин

Нет ничего незначительного
на свете
Все зависит от точки зрения.

В. Гете

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЕЛО СТОЙЛО

Моя родина – село Стойло.

Стойло находилось в четырех верстах от городка Старый Оскол. До революции в казенных бумагах его именовали: «Село Соковое, Стойло тож». Ни в поселке Соковом, ни в Стойле церковей не было, поэтому они «незаслуженно» носили название сел. Соковое было приходом в Старый Оскол, на восток, а Стойло в село Бродок – на запад. Таким образом, стойленцы и соковляне молились, крестились, венчались и отпевались в разных церквях.

Части села по их естественным особенностям истари получили народные прозвища: Середка, Монастырь, Бугрянка и Луганка. Я родился и вырос в Монастыре, население которого считалось в Стойле самым богоугодным и уважаемым. По понятиям стойленцев, монастыри, как святые места, обязательно должны были стоять на высоте, поближе к Богу.

Все мое село, точно испуганное, прижалось к невысоким буграм и тянулось под ними с востока на запад. С севера поджимал его безвестный Осколец – тоненькая веточка могучего Дона.

Местность вся была какая-то искореженная. Меловые горы, бугры, низины, болота, размывные провалища то и

дело чередовались на ней, повествуя об известных корчах матери-земли. Мы, ребята, очень любили ручьи, речушки, ерики, небольшие леса и рощицы, красившие землю, но очень рано научились понимать, что они же ее у нас и отнимают. Как и имения помещиков Мещериковых, Калмыковых, Сухотиных, Успенских, Канарихиных да купцов Иванова и Грачева, со всех сторон обступившие Стойло. Все лучшее тогда принадлежало барам да купцам.

На нашу семью из пятнадцати душ (отец и дядя не делились) собственной земли падало треть десятины. Разрезана она была на узкие полоски. Большая часть их – меловая галька, на которой почти ничего не росло. Бывало, пашешь ее, а она под сошниками ведет гремучий разговор. Одно горе! А косить станешь – гоняешься за стебельками.

Поневоле стойленцам приходилось арендовать пашню либо у господ, либо у мелких ремесленников (горшечников) слободы Козацкой. А была она в двадцати пяти верстах от Стойла. Поезди-ка туда, попаши, покоси! Да повози снопы оттуда! К тому же земли у Козацкой тоже было мало, и зарились на нее все соседние мужики. Каждый из всех сил тужился вести хитроумную «аграрную политику», чтобы как-нибудь умилостивить владельца земли, перешибить конкурентов. Тут требовались и ум, и обман, и водка, и подлость.

Нужда гнала моих земляков на отхожие заработки: парней – на шахты, в каменщики, девок – в срок к господам или на поденные работы.

Единственным «промышленником» числился у нас рыжий, с дремучей бородой, бирюковый мужик Порфишка Скачок. Он всю свою рабочую жизнь ломал мел в горах, тесал из него большие камни и продавал на постройку хат, сараев, пунек и погребов.

Нам, детям, Скачок казался богатырем: он один умел выламывать из горы глыбы мела величиной с добрую хату. Каждый вечер летом возвращался весь белый, неся на плечах пилу и лопату, а за поясом – топор. Ребятишки гурьбой высыпали «под дорогу» смотреть на него, а он широко и важно шагал посреди улицы. При нестерпимом однообразии нашей жизни возвращение Скачка с меловых гор было событием, возбуждавшим детские души.

В жизнь взрослых оживление вносили только чрезвычайные происшествия: пожары, половодье, градобитие, кража лошадей цыганами, холера, свадьбы, праздничная гульба, драки парней из-за девок. Эти драки бывали часто. Если женихи из Бродка приходили к стойленским девкам «клубиться», то наши парни непременно лупили их. Те не оставались в долгу. А кулачки при мне уже вывелись. Не ходило село на село в кулачные бои.

Приятное развлечение всем стойленцам доставляли «годные», то есть призывники. По обычаю им позволялось дней десять не работать, а пить водку, ходить по гостям с гармошкой, горланить песни.

– Годные гуляют, – мирно говорили бабы. – Нехай пображничают.

Долго все село волновалось по поводу двух несчастных случаев, и я не знаю, который казался страшней. Андрей Мосякин выходил красивого гнедого жеребца с лысиной во всю морду. Хозяин не мог на него налюбоваться, а соседи с зависти сохли. И вот как-то Гнедок скинул обороть, вырвался со двора и, залупив хвост, понесся по селу. Разогнавшись с пригорка, прыгнул через плетень и нанизался на колья. Тут же и издох.

Другой случай – пожар. Сильный пожар слизал всю Середку. Дурочка Аксютка, прячась от огня, залезла на чердак своей хаты да там и сгорела. Раскопали пепелище – и нашли от Аксютки только чурку...

О Гнедке разговоров, по-моему, больше было.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЕРВЫЕ ПАМЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Так-таки ученые и писатели и не договорились насчет того, с какого возраста человек отчетливо помнит себя. Темен этот вопрос, приходится верить собственному опыту.

Мои первые воспоминания таковы. Кто-то держит меня на руках. Над моим глазом висит тонкая стеклянная трубочка, на кончике ее дрожит капелька жидкости. Затем она падает в мой глаз, и дальше – тьма, забвение.

Видимо, у меня болели глаза, и, надо думать, сильно, если мать понесла меня в Старый Оскол. Много позже, лет пятнадцати, мне пришлось быть в земской амбулатории, и тогда я узнал эту комнату, и мне показалось, что именно здесь видел сверкающую капельку, упавшую в мой глаз.

Второе впечатление. Я лежу на протухших от мочи пополах. Жар палит меня всего. Губы смагнут, язык распух и едва шевелится. Я что-то лепечу и мне подают пить. Потом кормят невыразимо вкусными лепешками... Должно быть я хворал – скарлатиной или корью.

Еще помню: я на руках у матери. Кругом картины, золотое сияние, огоньки, огоньки, крепкий запах приятного дыма. Что-то сдержано бубнит грубый голос. Мать подносит меня к серебряной чаше. Маленькой ложечкой суют мне в рот крошку белого хлеба, смоченную в сладкой воде. Как вкусно! Но меня удивляет, почему так мало дали.

Вот и все мои первые впечатления. Затем – темный и длинный провал. Не могу сказать, когда я начал понимать мир, воспринимать его аналитически. Возможно, это связано с Петром, моим старшим братом.

В младенчестве он был забыт на высокой печи. Грохнувшись с нее, ударился спиной о лавку, и от этого у него вырос горб. Петр стал инвалидом, и поэтому его не принуждали к тяжелой работе. К счастью, у него проявилась сильная любовь к рыбной ловле, а еще сильнее – к домашней птице. Он всегда возился с курами, утками, индюшками, гусями. И ему хотелось (это я уже помню) разводить птицу не крупную, не доходную, а красивую.

Петр расспрашивал знатоков, где и как можно добыть цесарок, белых, как кипень, уток с двойным хохолком, бронзовых индюшек, кур с фантастическим оперением. И ведь добывал, разводил! На дворе он по целым дням сиживал перед курами, утками, упиваясь их красотой. Сам гонял гусей на речку, сам искал их, если заплывали далеко. Куры и утки доверчиво подходили к нему, и он кормил их месивом или зерном прямо с рук, разговаривая, например, с петухом:

– Эй, эй, горлопан! Не жадничай, не жадничай! Ишь, все захапал, а маленьким не оставил... Бессовестный жадюга!

Или, взяв на колени утку, приговаривал:

– Постой, царевна-королевна. Подожди, не рвись! Дай из твоего хохолка тининку выну. Вишь, застряла в самой короне... Ну вот, теперь иди, гуляй.

У соседнего барина Калмыкова были чудесные павлины. В летние дни они любили сидеть на высокой решетчатой ограде, свесив свои роскошные золотистые, синеглазые хвосты. Петр, конечно, знал это. Залегши тайно где-нибудь под кустом, он как зачарованный смотрел на сказочных птиц. А дома не знали, где он, искали его.

Петр иногда брал меня на Осколец – удить рыбу с гати. Тут речка имела глубину полтора-два аршина. Вода – кристалл! Видна на дне каждая галечка. И вот однажды ранним парным утром забросили мы лески, воткнули удилица между бревешками накатника и сидим, ждем клева. В воде видны наши крючки с червяками. И вьется около крючков сильва – мелкая, плоская, серебристая рыбешка. Я сижу на корточках – весь внимание и напряжение. Вижу, как сильва играет с моим крючком.

И только она цапнула, поймалась, откуда не возьмись – щучонок. Схамкал рыбешку вместе с крючком и потянул под гать. Я – за удилице, а щучонок дерг посильней, и, потеряв равновесие, я падаю в воду. Плавать еще не умел, стал захлебываться, но Петр схватил за рубаху и вытащил на берег. Даже удилице поймал, вытянул щучонка. С того дня мой рыболовный авторитет в семье пошел в гору.

Говорят, чувство ревности свойственно и детям, даже в очень раннем возрасте. Мои впечатления подтверждают это. В восьми верстах от Стойла есть деревушка Липяги. Моя мать родом оттуда. В семье была единственной дочкой, и четверо братьев лелеяли ее, называли не иначе, как Федорушкой, хотя по церковному месяцеслову она наречена была слишком пышным для крестьянки именем Нимфодора.

Может быть, поэтому мать вышла кроткой, добродушной, ласковой. В ее карих глазах светился чистый огонек. Она никогда ни на кого не гневалась, ни с кем не бранилась, не била детей. Когда приходила или приезжала в гости к братьям, каждый тянул ее к себе, и она затруднялась решить, с кого же начать гостевание. Я не отставал от нее.

Дядья мои по матери были хоть и небогатые люди, но веселые и хлебосольные. Из какого-нибудь пустяка всегда умели сделать предмет для шутки и смеха. На Покров – их престольный праздник – гуляли не меньше трех суток. Гости, сытые и пьяные, ходили по Липягам, орали песни, плясали. И на росстанях еще, далеко за деревней, дядья наливали им «посошок», пичкали закусками.

Мать была охоча до песен и плясок. Но как только она выплывала в круг, как только замелькает над ее головой вышитый платочек, только она загикает в переплясе с каким-нибудь дядей Данилой, я срывался с места, подбегал к ней, ухватывал за юбку и поднимал неистовый рев:

– Ма – а – а – ма! Не на – а – до!

И тянул ее из круга на лавку.

– Да что ты, дурачок? – успокаивала мать, садясь возле меня и утирая мои слезы вышитым платочком.

Наша летняя «опочивальня» была в хворостяной пуньке, обмазанной глиной. Стояла там длинная, широкая кровать, на ней – ржавая солома, покрытая попоной из конопляной пряжи, подушки, набитые утиным, куриным, гусиным пером. Наволочки тоже домотканые, полосатые, дерюжные. Царапают щеки. Укладывались на кровати разом человек шесть.

Раз слышу, мать будит меня рано-рано. Сама плачет:

– Андрияш, а Андрияш! Вставай, детка! Вставай, детка...

Федя помер.

Протирая глаза, я побрел за матерью в хату. На лавке, под «святыми», лежал брат Федор. Желто-землистое лицо его острогалось, ссохлось, челюсти выпятились, а глаза ввалились. В сложенные руки Феде вставили крестик, сделанный из двух копеечных свечек. Над головой его горели три свечки.

Мать, плача, поправляла то покрывало, то венчик на лбу покойника. Я застыл, охваченный еще неведомым мне жутким чувством. Это была моя первая в жизни осознанная печаль.

Какая болезнь доконала братишку, никто не знал. Я не слышал и разговоров о его болезни или лечении. Все были уверены в одном: бог берет к себе старых и малых, роптать на это – грех... Как и когда умер горбатый Петр, тоже не пом-

ню. Но воспоминания о предсмертных муках самого старшего моего брата, Тихона, и до сих пор бросают меня в дрожь.

Тихон был здоровый, жизнерадостный парень, хоро-водник, песенник и затейник. Все девки в селе любили его. Он уехал в Донбасс на заработки. Глыба угля раздавила ему грудь. Вернувшись домой безнадежно больным, Тихон стал страшным буяном, злым на всех и на все. Лежа на печи, беспрестанно, мучительно кашляя, он кричал, матюкался, не стесняясь никого. Если же кто-нибудь подходил к нему со словами утешения, впадал в ярость и швырял с печи, не глядя куда, рубели, скалки, лапти, чуни, онучи, валенки, горшки.

Перед смертью потребовал, чтобы отправили его в городскую больницу, где вскоре и умер. В густом и мрачном саду старооскольского кладбища, осененная вишней, уютится могила Тихона. Не раз водила меня к ней мать. Мы подолгу молились об успокоении его души, и, помня последние дни брата, я думал, что и там, на небе, он все еще ругается и швыряет в кого-то скалки и горшки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОЯ РОДНАЯ ОБИТЕЛЬ

Между Стойлом и речкой Оскольцом тянулась полоса огородов. Картофель жители садили поближе ко дворам. За ним шла конопля. У самой речки росли помидоры, огурцы, капуста, редька, репа, лук – поливать их удобно.

Наш двор отступал от общей линии дворов – поближе к огородам. Мимо него, меж огородами, пролегала дорожка, по которой монастырцы ходили на речку и возили в бочках и кадлушках воду.

Изба наша была удивительная: она горела три раза, но никак не сгорела дотла. Оставался скелет, который подновляли и превращали в новый дом, не изменяя ее плана. Сенцы разделяли дом на две части. Одна из них – общее жилье, другая – чулан и клетушка. Чулан занимали «молодые» – дядя Степа и тетка Варвара. Печи в чулане не было, но они спали в нем и в лютые морозы. Таков обычай.

В клетушке жил глава семьи – мой отец Митрофан Тихонович. Страдая душуем, он постоянно лежал в холода

на теплой грубке, оглушительно перхая. Обычно в общую избу отец приходил только есть да молиться.

Вся площадь составляла метров тридцать шесть, а население – пятнадцать душ! Посреди избы стояла рассадистая русская печь затейливой конструкции, приспособленной к разнообразным хозяйственным потребностям. Под загнеткой располагалась площадка для посуды, пониже – полукруглая дыра, ведшая в подпечек, где хранился целый воз золы. Там же жили кошки, лежали лопаты, топоры, рогачи, чапли (сковородки), кочерга и вальки. В одной наружной стенке печи делали «печурки», в которых сушились онучи, варежки, тряпки, пеленки, чулки, портянки. Сверху печь выстлала большими квадратными плитами, всегда горячими. Зимой малые дети проводили на них почти все свое время. Там же, на печи, парили жидкое просяное тесто с ржаными сухарями и кулагу с калиной – тогдашние крестьянские лакомства.

За ночь на обширной печи скапливалось столько добра, что разборка его утром по принадлежности представляла сложную процедуру, сопровождалась руганью, слезами и дракой.

– Эй, Митька! Чертова мотня, чего мой левый тюнь схапал?!

– Иде твой тюнь? Очкнись! Твои тюни с толстой подсвиркой, а мои с тонкой!

– У кого моя рябая онуча?!

– Вот она, лови! Выслепило тебе? Распустил вожжи-то под носом и не видишь!

– Ма-а! Трошка мой чулок надел...

– Чего гавкаешь? Твой чулок у Фильки!

– А кто выдернул оборку из моего лаптя? Ты, Илюха, свиняча уха! На тебе оборку! На! На! На!

Слышен хлест оборки по Илюшиному лицу, затем – вой. Скандал кончался лишь тогда, когда кто-нибудь из взрослых взлезал на печь и чинил суд и расправу.

На божнице в хате стояли большие и маленькие иконы с почерневшей старой фольгой или с новой блестящей. Перед иконами на потускневших цепочках висела стеклянная малиновая лампадка. Справа и слева на стенах хлебом приклеены картины: «Святая гора Афон», «Киевские святые» и «Страшный суд».

Моя мать пешком совершила паломничество в Киев и принесла оттуда эти сами «Киевские святыни». Она много и умиленно рассказывала о своем путешествии, но плохо верилось, что мать действительно была в этом фантастическом небесном граде. Я безмолвно, со сладостным трепетом разглядывал лубочно-яркую зелень киевских каштанов, золоченые главы церквей.

А картина «Страшный суд» пугала меня. Наверху, на клубистых облаках, восседал Христос, ангелы трубили в трубы, созывая на суд живых и мертвых. Внизу черт с лихо закрученным хвостом дубиной гнал грешников в ад, уже наполненный мучениками. Кто кипит в котле, кто подвешен за ребро, кто жарится на раскаленных углях... Страшно! И еще, для назидательности, изображен был вход в рай, около него апостол Петр со связкой ключей, а там чистенький райский сад, в котором гуляют праведники.

Разглядывая «Страшный суд», я дрожал холодной дрожью и решал для себя слушаться бабку Мавру, не красть у брата Митьки ничего и молиться подольше, как большие. Я твердо решил попасть в рай и живо представлял себе, как подойду к золотым дверям, подле которых стоит строгий апостол Петр.

Лепились на стенах хаты, кроме религиозных, и светские картины: «Погребение кота», «Битва храброго и непобедимого богатыря Бовы-королевича с Полкан-Полканычем», «Цари и короли всех государств», «Сражение русских с турками»; еще помню лубок-иллюстрацию к песне «Зачем ты, безумная, губишь?».

Мне очень нравился чудо-богатырь Полкан-Полканыч, получеловек, полулошадь, со свирепой мордой, с круглыми, как ложки, вытарашенными глазищами. Огромным дубом замахнулся он на Бову. Монархи всего мира были намазаны яростными красками, от которых рябило в глазах. Мысль, что наш русский царь покрупней и покрасивей прочих царей и королей и что он всех их расшибет, если захочет, вызывала во мне чувство гордости. Привлекали внимание пышногрудая голландская Вильгельмина, стремительные усы итальянского Виктора Эммануила, лысина и белый мундир Франца-Иосифа, головная накрутка эмира бухарского.

Пониже картин пестрели на стене украшения помельче: конфетные и мыльные обертки, этикетки с водочных бутылок, махорочные упаковки, ярлыки от купленных в магазине ситцев, какие-то разноцветные бумажки. Таково было, как сказали бы теперь, наше эстетическое воспитание.

Вдоль одной стены тянулся коник – ящик с крышкой, на котором можно было сидеть, как на лавке. В конике хранились продукты – хлеб, корчажки с молоком, а кроме того, щипцы, свайки, шило, молоток, колодки для плетения лаптей и чуней, веревки, лыки. Зимнее место прях – длинная лавка под окнами, выходившими на двор. К стене примыкали нары, на которых спали в холодное время. На полке, приделанной к четвертой стене, стояла посуда. На лавку у самой загнетки ставились чугуны, горшки, махотки.

Пол в избе набивали из мела и присыпали слоем земли. У двери стояла здоровенная деревянная осклизлая лохань. Над нею умывались, в нее мочились дети, лили ополоски. Выносили ее зимой один раз в сутки. Никакой вентиляции не было, и зловоние от лохани, ребят, ягнят, а иногда и телят, поросят, спирало дыхание. Но к этому привыкли, никто из нас и не думал, что в доме может быть иначе.

Кому не хватало места на печи и нарах, ночевали на полу, застланном сторновкой. Спали рядом с овцами, поросятами. Дети, поголовно страдавшие недержанием мочи и куриной слепотой, «прудились», подстилки под ними гнили, четвероногие обитатели хаты вели себя так, как положено им по естеству. Утром у нас был ад!

За ночь пол покрывался овечьими орешками, свинячьими колбасками, телячьим поносом. «Чередная» баба брала железную лопату и сдирала с пола зловонные пласты земли, добираясь до мела. И так без конца.

Двор у нас был маленький, крытый, как и все строение, соломой. Он огибал дом с трех сторон. Под крышей сарая, на осокоревых лубках, водились стаи голубей. Стойленцы считали их божьими птицами и не трогали. Наоборот, каждый хозяин старался развести «гулек» как можно больше.

Никакого особого отхожего места во дворе не было. «Ходили» кто как и где умел. Ни один кустик, ни одно деревце не росли около нашего двора. Голая земля, навоз, сор и зловоние – вот пейзаж и атмосфера моего родного гнезда.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СТОЙЛЕНСКАЯ САНИТАРИЯ И МЕДИЦИНА

Разумеется, о санитарии стойленцы имели свои вековые понятия. Так, бабка Мавра поучала:

– Без глистов нет на свете человека. Глист от картохи заводится. Лечиться от него не надо: не вылечишься. Съешь картоху – и в нутро опять пройдет глист. Так и будет бесперечь.

Утирались все одним полотенцем. В него же и сморкались старшие члены семьи и гости. Наволочки на подушках не мылись полугодиями. Белье не менялось до тех пор, пока в нем не заведутся вши.

За едой вокруг деревянного стола усаживалась вся семья. Кому не хватало места на лавках, ели стоя, дотягиваясь к черепушке через головы сидящих. Просветы меж досками стола заполнялись грязью, принимавшей вид полос из черной резины. В будни стол не покрывали скатертью. Клеенок не знали. Тарелок не водилось. Ложки – деревянные, увесистые, круглые, посиневшие от долгого употребления и небрежного мытья. Самая большая ложка клалась отцу или дяде Степану. Она предназначалась для двух целей: ею ели и щелкали по лбу провинившихся за столом ребят. Жевали все в глубоком молчании.

Над головой отца, за картиной «Святая гора Афон», лежал пук лозин. Чуть кто из ребят усмехнется или поперхнется, или, шутя, толкнет локтем соседа, отец выхватывает лозину и нещадно «крестит» ею виновника. Тут спасение одно: шмыгай под лавку и отсиживайся до конца общей трапезы, оставаясь голодным. В будни ели почти всегда одно и то же: кулеш, щи капустные, квас и похлебку. От тяжелого ржаного хлеба пучило животы. Все дети имели большое пузо и землистый цвет лица.

Нередко еда приносила нам страдания от одного бытового пустяка. Стойленские бабы занимали у соседок керосин, если свой выходил, а идти в лавку было некогда. При этом меркой служил собственный рот заемщицы. Она набирала из бутылки в рот керосин и опускала в свою лампу.

– Помни, кума, я у тебя три рота взяла, – говорилось в заключение операции.

Рта после этого не мыли, считая снадобье «пользительным для нутря». За ужином общая черепушка похлебки или щей пахла керосином, детей рвало, а бабы им на это:

– Ничего, крепче будешь. Ничего!..

В зимнюю стужу прямо с горячей печи ребята бегали на двор за нуждой раздетые и разутые, без шапок и платков. Мальчишки лет до семи по будням портков не носили. Ходили, как и девчонки, в суровых становинах. Конечно, жестоко простуживались. Насморк не проходил. То и дело кто-нибудь из взрослых походя шлепал нас по затылкам:

– Выбей пули-то из носу!

– Подбери возгри! Ишь, распустил, как индюк.

С нетерпением ребята ожидали одного необыкновенного события. Они хорошо приметили, когда оно произойдет. Перед этим загоняли малышей на печь, отгораживали ее от нар попоной, за которой ложилась тетка Варвара. Около нее суетились чужие бабы. С таинственно-сосредоточенными лицами они носили за грязную, лохматую попопу теплую воду в чугушке, полотенца, кружки, еще что-то. Бабка Никанориха, высокая, сухая старуха, с засученными по локоть рукавами, имела тревожный, деловой вид. За попоной шли разговоры шепотом.

Затем слышались сдержанные теткин «охи», потом жуткие крики, а через долгое время из-за попоны раздавался писк новорожденного. Все печное население понимало, что родился на свет человек.

По трогательному сельскому обычаю, к нам по очереди, по одной, по две, по три, приходили бабы и приносили подарки для роженицы: бублики, блины, блинцы, колотый сахар, пряники, мед, сало, яйца, курятину, студень и прочую съедобную благодать. У тетки образовывались запасы съестного. Одной ни за что не съесть. Она отдергивала попоны и неизъяснимо нежным голосом звала:

- Ребятишки, а ребятишки!
- Мы скопом кидались к краю печи.
- Нате-ка вот вам...

И давала всем или по кусочку сахара, или по конфете, или по блину. Все это было невыразимо вкусно. Съедая свой пай, я благодарно смотрел на тетку и на младенца, лежавшего с нею рядом, и думал: «Эх, какая она, оказывается, сердечная, тетка Варвара. Но почему она так редко рожает? Кабы рожала хотя бы раз в неделю, невпроед бы у нас было пряников, конфет и всякой сласти!».

Доморощенные сельские лекари назначали больным очень сильные лекарства и в невиданных дозах. Если «горела душа» (изжога), страдальца кормили толченым мелом, благо у нас его – горы! Когда трепала «лихоманка» (малярия), пользовали сырыми кишками. Больных «куриной слепотой» водили ночью под куриный насест. К «вассе» (нарывам) привертывали печеный лук. От «живота» давали выпить чистого дегтя. Всякие раны засыпали землей и заклеивали паутиной.

Средства эти я испытал и на себе. Не знаю, какая непреоборимая сила организма помогла мне все их превозмочь. Особенно мучило детей физически и нравственно лечение, чтобы не «прудились». В этом случае применялся жестокий метод продергивания через лошадиный хомут. Главным лекарем выступал дядя Степан, а его ассистентом была тетка Варвара, на сей случай непреклонная. Процедура выполнялась до завтрака. Дядя приносил со двора здоровенный хомут с рыжей кобылы Лыски и спрашивал:

– Ну, кого будем ноне протягивать? Трошку, Фильку, Андрияшку или Ваньку?

– Фильку! Он чуть не уплыл ноне!

«Больного» насильно тащили с печи. Он царапался, оскаливал зубы, брыкался, упирался, но, обессиленный и усмиренный, вскоре сидел на нарах. Кто-нибудь из больших держал хомут стоймя. Дядя Степан, схватив за руку мальчонку, продергивал через хомут, а тетка Варвара лупила по голому заду, приговаривая:

– Просись! Просись на двор, идол ты такой!

Видя это, другие «исцеляемые» забивались в угол печи и трепетали. Но дядя держал строгий порядок: по одной процедуре в день.

Бань стойленцы не строили. В печках не парились. Младенцев мыли в деревянных корытцах. Дети старше семи лет зимой не мылись вовсе. Поэтому лишаи, чесотка, цыпки никогда не сходили.

Старшие члены семьи банились два раза в год – под Рождество и на Пасху. Бабы нагревали в печке чугуны воды. Поздно вечером отец наливал теплую воду в казанок, захватывал под мышку пестрядинные портки и рубаху и шел в «баню» – в овчарник, где лежал толстый слой навоза. К удивлению овец, несмотря на мороз, «клиент» оголялся и, стуча зубами, быстро оплескивался водой. Вот и вся баня! Затем, надев чистые рубахи (так в Стойле называли белье вообще), он накидывался шубенкой и бежал в хату – на печь.

Летом хорошо: дети купались в реке ежедневно, а взрослые под праздники. Мыло стоило дорого. Оно покупалось только для невест и младенцев. Понятно, что человеколюбивые представители энтомологического мира в нашей хате жили-были в неисчислимом количестве. Тут были: золотистые прусаки, восточные черные тараканы, блохи, вши-блондинки и вши-чернооспинки. Удивляло отсутствие клопов. Видимо, они не выдерживали конкуренции со своими братьями по классу. Впрочем, А.И. Шингарев в своей знаменитой книге «Вымирающая деревня» иначе объясняет этот факт. Он писал: *«Клопы встречаются преимущественно в более зажиточных семьях, где было больше постоянных постельных принадлежностей, подушек и проч., тараканы почти во всех избах... В избах безнадельных крестьян клопов вовсе не встречается. Таким образом, клоп до известной степени – аристократ и требует для себя больше комфорта, чем это могут ему дать деревенские бедняки, и присутствие его отчасти указывает уже на некоторую зажиточность. Возможно, что большее количество подушек и постельных принадлежностей играет тут главную роль».*

От блошиных укусов тела взрослых и маленьких обитателей нашей избы были усеяны красными пятнами вроде коревой сыпи. А прусаки изъедали кожу детей до мяса...

В часы досуга бабы по всему Стойлу «искались» – били вшей в головах друг у друга. Некоторые мастерицы в этом искусстве пользовались широкой известностью, к их числу принадлежала тетка Варвара. Недаром к ней приходили бабы со всего села:

– Варюх, а Варюх, поищи! Дуже ловко ты их лоскаешь...

ГЛАВА ПЯТАЯ. ОТЕЦ

Высокий мрачный человек с длинной, но узкой черной бородой, чуть протканной белыми нитками. Ввалившиеся колючие глаза. Задымленные сединой волосы расчесаны надвое. От лба до макушки белеет полоска кожи.

Это мой отец Митрофан Тихонович. На нем суровая рубаша с красными завязками вместо пуговиц на левой стороне ожерелка. Пазуха немного открыта. Видна полоска темной кожи. Поясок – конопляная веревочка. Портки домотканые, синие, «в дорожку». На ногах зимой и летом старые валенки с голенищами до колен.

Лицо чуть тронута оспинками. Руки длинные, сухие, морщинистые, а жилы похожи на синеватых червей. На большом пальце правой руки ноготь волнообразный, когда-то изуродованный. Постоянно бухающий кашель. Взгляд почти всегда злой.

В семье отец был полновластным владыкой. Его боялись все, даже бабка Мавра. Болезнь неотступно крушила отца, делала угрюмым. Лицо слегка просветлялось в редкие минуты, когда он пил водку в компании приятных и полезных ему людей. Тогда с ним можно было даже поговорить. В трезвом же состоянии он бранил всякого, кто попадал ему под руку. Угодить отцу никто никогда не мог. В любом деле он обязательно находил «не так» да «не то». И сверлил жертву:

– Митькя, оглоед! Как ты свайкю держишь! Зажми тюнъ-то в коленях, зажми! Что они у тебя, руки-то, отсохли, что ли?

Не мог он видеть спокойно, когда, едва позавтракав или пообедав, дети снова тянулись к столу.

– Прорва ненаедная, опять мамон хлебом забил! Когда твою ятребу разорвет? Бесперечь лопаете, хлеба на вас не напасешься, аредовы души! Тьфу, пропасти на вас нету!

Если отец зимой, кашляя, шел из своей каморки через сени в общую хату, все здесь затихало. Ребятишки – мигом на печь. Бабы бросали разговоры и усерднее пряли, чесали куделю, гремели рогачами и шили.

Не знаю, где и как отец научился грамоте, но он умел немного читать и писать. Одно время, я слышал, «ходил» сельским писарем. На моей памяти в этой должности уже не состоял, но держал в своей каморке перо и пузырек с ржыми чернилами. Солдаткам писал письма для мужей, старухам записывал в поминание родителей «за здравие» и «за упокой». Изредка сочинял мужикам прошения в волостной суд. Уменье отца было большой редкостью в Стойле. Как особую драгоценность он берег в своем сундучке, оклеенном изнутри красной бумагой, какой-то давнишний список крестьян. Позже, став грамотным, я понял, чем он дорог отцу: список исполнен был изумительным почерком. Рукопись представляла для отца учебник каллиграфии. В заветном сундучке нашел я и отцовы упражнения – подражание безвестному художнику чистописания. Значит, и отцу не чужды были порывы к красоте. Десятки раз выводил тяжелой рукой: *«Проба пера и чернил... Крестьянин села Сокового Стойла тож Митрофан Тихонович Топоров...»*. Или: *«Его Высокоблагородию Господину Земскому Начальнику...»*.

Последние буквы украшались причудливыми завитушками – росчерками. Я тайно завидовал искусству великолепного каллиграфа и загорелся желанием писать так же красиво, как он.

Еще в сундучке отца лежали Библия с деревянной крышкой, обтянутой кожей, Псалтырь, Часослов, молитвенник и несколько зеленых книжек – «Жития святых». Светскую литературу он не любил, считал баловством для пустых людей.

Все бразды правления в нашем хозяйстве отец держал в своих руках. Внешние дипломатические сношения с землевладельцами вел тоже он: заключал договоры, платил деньги, возил подарки – молоко, кур, яйца, сало, – уговаривал, приглашал в гости.

Когда отцу дышалось легче, он ни на минуту не оставался без дела. Сидя на земле под навесом, что-нибудь мастерил: строгал клевцы для грабель, вытесывал новые вилы,

чинил бороны, сохи, точил пилы, отбивал косы. Но, странное дело, эта его жадность к труду нам, ребятам, не передавалась. Мы норовили улизнуть на реку, бултыхались в воде, визжали, брызгались, а отец выходил за нижние ворота и кричал на весь Монастырь:

– Трошка! Андрияшка! Ванька! Ступайте сей минутой домой! Запорю аредов!..

С кислыми физиономиями мы тянулись под навес. Отец всем давал дело: одному – ошкуривать липовые суки, другому – вить пути лошадям, третьему – крутить свясла на вязку снопов. Почему-то в работах этих не было для нас ничего увлекательного. Я скорее почувствовал, чем понял: такой труд – беспросветная каторга, которая делала безрадостной и саму жизнь. Принуждение и однообразие убивали в нас всякое желание трудиться. Хотелось бежать от такой жизни куда глаза глядят.

По болезни отец лишь раз в год ездил в Бродчанскую церковь – исповедоваться и причащаться. Зато каждый праздник аккуратно правил дома богослужебный чин. Едва за пять верст донесется до Стойла звон большого колокола, возвещавшего пение «Достойно», как отец появлялся в общей избе:

– Становись!

Все становятся у него за спиной.

– Во имя отца и сына и святого духа, – начинает он громко, внятно и проникновенно.

Бабка вздыхает, повторяет за ним слова молитвы, а дети машинально крестятся и кланяются вслед за взрослыми.

Отец тяжело опускается на колени, опираясь левой рукой о стол.

– Ну! – бросает он грозно ребятишкам.

И мы падаем на колени. Ноют коленки и спины. Некоторые не выдерживают и оседают на пятки. Но отец, зная эту нашу завычку, внезапно повертывает голову назад и, прервав молитву, рывкает:

– С пяток слезь!

Моление продолжается. Долго. Отец много раз поднимается с пола, снова преклоняет колени и читает, читает, читает молитвы. Сколько же он их знает! Когда им конец? Уже догорают тоненькие свечки, еле мерцает за тусклым

стеклышком осевший язычок лампадки, а мы все крестимся и кланяемся до изнеможения. Наконец, с колокольни раздается веселый трезвон: обедня кончилась! Отец проносит последние, радующие нас слова:

– ... И тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу всегда, ныне и присно и во веки веков аминь!

Поворачивается лицом к нам и чинно кланяется прямо, направо и налево.

Но испытание ребячьего терпения еще не окончено. Ужасно хочется есть! А обеда не будет до тех пор, пока люди не придут из церкви. Ходят же с богомолья не спеша, дорогой разговаривают о всякой всячине. Жди, пока они пять верст прошагают. А отец времени зря не теряет. Берет славянское Евангелие, садится на лавку, прилаживается поближе к окну и, отдалив книгу от глаз, начинает читать. Из чтений этих я почти ничего не понимал, но механически запомнил одну фразу, добавлявшую меня обилием бубнящих звуков: «В начале бе слово и слово бе к богу и бог бе слово...».

Играя на улице, я повторял этот набор слов, казавшийся смешным. Но сказки из священной истории мне нравились. Например, как Иаков видел во сне лестницу высотой до небес, как братья продали Иосифа в Египет, как богатырь Самсон уничтожил своих врагов, как Иуда продал Христа за тридцать сребреников, и прочее. Когда я слышал это, загоралось мое воображение, кипели чувства гнева, восторга, печали, протеста против коварства, зла, неправды. Хотелось творить героические дела, уничтожить все зло на свете.

Отец был, как я понимаю теперь, начетчик, но чтения его, как и песни дяди и брата, оказались первыми семенами, из которых выросла моя любовь к созданиям фантазии поэтов всех стран и народов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАБА БЕЗОТВЕТНАЯ

Так можно назвать мою мать. Родилась и выросла она в атмосфере любви и ласки, а вышла замуж за человека крутого нрава.

Я не помню, чтобы отец когда-нибудь говорил с ней уважительно. Слабая, запуганная, с всегдашним выраже-

нием страха в глазах, она безропотно выполняла всякую непосильную работу: поднимала с полу на лавку тяжелую дежу с заведенными хлебами, кулачила упругое тесто, лепила из него увесистые коровеги и на лопате совала в печь по двенадцать-пятнадцать штук зараз; одна выносила на двор гадкую лохань; цепом молотила наравне с мужиками; подавала грузные снопы на высокие одонья. Все это она делала даже и тогда, когда была на сносях. И не просила ни отдыха, ни пощады.

Рассказывали, что в страду она не раз рожала в поле под телегой. Повивали бабы-соседки. Но никто не слышал ее жалоб на несчастную долю. Только по ночам она тайно плакала, тихо всхлипывая и сморкаясь в фартук. Я слышал это несколько раз. Но наутро мать снова работала, не показывая своего горя.

Родила она семь детей. Всех любила, жалела. Преждевременные морщинки густо покрыли ее лицо, но хворала мать редко. И в счастливые минуты, когда уезжал отец, когда она освобождалась от чувства страха, в глазах ее искрился теплый свет. В худеньком, хилом теле жила непоказная сила. Смерть матери доказала это. В Стойле вспыхнула холера, все боялись ходить за больными, обмывать покойников, а мать пошла на этот подвиг. Конечно, заразилась и умерла.

Она была неграмотной, но тонко чувствовала поэзию природы. Возвращаясь с полевых работ, приносила пучки душистых трав и цветов, вешала их по стенам пуньки, где мы спали, подкладывала под наши подушки. Как ни уставала мать, а летней ночью не сразу ложилась спать. Садилась на порог, подолгу молча смотрела на звездное небо.

– Вон, вишь, сынок, белесую полосу? – указывала мне на Млечный путь. – Это – дорога в рай. После смерти все праведники пойдут по ней. А вон там, выше... Гляди-ка: звездочка падает... На кого она упадет, тот сей минутою и помрет. И ангелы унесут его душу в рай. Счастливый тот человек.

Перед сном молилась мать не в доме, а на дворе. Устремив глаза на звезды, крестилась, шептала молитвы. И нас, уложив на кровать, открещивала с четырех сторон, приговаривая: «Крест – креститель, крест – сохранитель, сохраняй, помилуй по всякую ночь, по всяк час...».

К восьми годам меня научили стеречь овец и телят, ездить верхом на лошадях, обратывать и путать их. Все хозяйственные вопросы отец решал единолично, ничьих советов не принимал. И обо мне объявил вдруг свое решение:

– Андрияшку отдаю в работники дяде Фатею. Федорка, веди его в Липяги ноне же!

Это отец хотел избавиться от лишнего рта в семье. Мать надела красную ситцевую юбку, повязалась белым платком с мушками, взяла какой-то узелок, и мы с нею отправились в Липяги. Перейдя речку, мать радостно сказала мне:

– Ну, слава богу! Ты, сынок, не бойся. У дяди Фатея тебе будет лучше, чем дома. Он добрый. И тетка Иваниха тоже хорошая. Они не обидят. А я буду к тебе навещаться каждый праздник. Ничего! У них еда сытная. Они чай пьют с сахаром. У них и самовар свой...

Я ликовал, идя в батраки. Дядю Фатея я знал хорошо. Не раз бывал у него в гостях. Он меня любил. Маленького тешкал, давал конфеты и пряники. Он же приложил ко мне ласковое имя: «Андреек». Даже пьяный, дядя Фатей был лучше всех людей на свете: никого не обижал, ни с кем не дрался, а только лез ко всем обниматься и целоваться. И при этом беспрерывно спрашивал: «Ты знаешь, какой я есть, а? Знаешь ты Фаддея Васильевича Бурцева али нет? Скажи: знаешь? Нет, ты не знаешь Фаддея Васильевича Бурцева!».

Не шел, а летел я на крыльях к дяде Фатею. Разлука с родным селом ничуть не тревожила меня.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В БАТРАКАХ

Встретила нас тетка Иваниха, грузная женщина, страдавшая водянкой. На верхнем веке ее правого глаза сидела крупная и красная, как клюква, родинка, придававшая тетке свирепое выражение. А лицо у нее было доброе, приятное.

– А-а-а, Андреек пришел! – воскликнула она и поцеловала меня в макушку.

Беседуя с матерью о том о сем, она ставила самовар и готовила еду. Принесла из погреба свежего творогу в пень-

ковом блюде, нарезала скибочками вчерашнего воскресного пирога.

– Ну, Федорушка, ну, Андреек, садитесь обедать. Ешь, Андреек, не церемонься!

А ложку мне подложила – загляденье! Под вид лакированной лодочки. Золотистая рыбка захватила в рот кончик черенка.

– Это теперь твоя будет ложка, – сказала тетка. – Завси будешь хлебать ею.

Я наелся и напился чаю с сахаром так, что живот вздулся. Оставив мать с теткой, пошел обозревать хозяйство. Все тут казалось мне пригляднее, чище. Идя по закутам, по двору, думал: «Завтра начну орудовать. Вот где жизнь так жизнь! Останусь у них насовсем. Мамку бы еще сюда, тоже насовсем. Еда вон какая! И никакого гому нету...».

Под вечер мать ушла домой, сказав мне напоследок:

– Ну, сынок, оставайся с богом. Слухай дядю, тетку и молодайку. Они тебя за это любить будут.

Немного погодя вернулись с поля дядя Фатей и невестка его Анна, жена старшего сына.

– Здорово, работник! – шутиливо гаркнул дядя Фатей и протянул мне широкую сильную руку.

– А – а – а, вот он какой пузырь! – смеясь, сказала Анна и давай вертеть меня туда-сюда, лохматить мои волосы. – Дай-ка я посмотрю, какой он есть, этот хваленый стойленский Андреек...

Мне сразу поглянулись ее светло-голубые смеющиеся глаза, круглые и румяные, что яблочко, щеки с ямочками, полные пальцы, на одном из которых почти заплыло серебряное обручальное кольцо.

У дяди Фатей было два взрослых сына. Простодушного рябого Ивана звали «вахлаем» и отдали в работники барину Головину. Старший же, Николай, был рослый, красивый щеголь. Он ходил в каменщики и нахватался в городах «слободских» привычек: умывался душистым мылом «Свежее сено» или «Букет моей бабушки», фиксатурил усики, по праздником зимой и летом надевал сапоги с калошами. В калоши втыкал буквы «НБ», сделанные из жести и обозначавшие «*Николай Бурцев*» (такие буквы для калош продавали в магазинах). Чтобы больше озадачить липяжан своим

обхождением, Николай при всяком подходящем случае выговаривал:

– Мерсите вас пардон!

Но ни одной буквы не знал, кроме тех, что были в его калошах. Теперь служил в кавалерии и уже прислал семье фотоснимок: он в парадной форме сидит верхом на вздыбившейся лошади, в правой руке сабля наголо. Под снимком надпись: «*Николай Фаддеевич Бурцев на кобыле Тужурке*».

Все липяжане приходили смотреть, завистливо ахали, тетка Ивановна при этом утирала фартуком слезы материнской радости, Анна сияла, а дядя Фатей, едва сдерживая распиравшее его чувство гордости, объяснял посетителям:

– Николай пишет: ежели б ему грамоту, до генерала дошел бы. А без грамоты, говорит, в генералы выйти нельзя, по уставу не положено...

Собирались косить траву и метать пары. Выказывая усердие, я волчком вертелся около дяди, пока он подводил к таратайке Чалую и «третьяка» (так назывался у нас конь-трехлеток). Чтобы доказать, что я тоже настоящий работник, подавал то хомут, то седелку, то вожжи. А дядя все похваливал меня:

– Вот так... Молодец, Андреек! Тащи теперь сюда жбан с водой. Так, так... Веди третьяка, привязывай его к оглобле... Бери у тетки кошелку, ставь в задок... Так!

Потом он сам уложил косу, плужок, борону, хомуты. Из хаты вышла Анна. Мы трое уселись по грядкам таратайки и поехали в поле. Почему-то все здесь мне было по-новому интересно, и работа, постылая при отце, занимала меня. В поле я внимательно следил, как дядя запрягал Чалую в плужок, а третьяка в борону, как точил и прилаживал косу. Обязанности распределились так: Анна косила траву на широком межнике, я водил третьяка в поводу и вытряхивал на поворотах сор из бороны, а дядя пахал.

Он был хороший плотник, сам сделал себе плужок – маленький, легкий на подъем, добротный пробиравший землю. Давно обсмыганные обжи его блестели, палица вспыхивала на солнце огнем. Лента поднятой земли, как живая, перевалилась через палицу и ложилась ровной линией. Хорошо пахал дядя! Шел за плугом степенно, чуть склонив голову на правый бок. Изредка пошевелевал вожжей и благодушно

покрикивал: «Вон лезь!». Это сливалось у него в одно слово «вонлезь». И означало, что кобылка должна выйти из борозды. Чалая хозяйина понимала. На поворотах дядя валил плужок набок, отчищал от налипшей земли и перекладывал палицу на другой сошник. Красиво!

А над нами просторное голубое небо, солнце, птицы. И в воздухе запахи трав и цветов. Нет, курская земля славится не одними соловьями. Живал я позже во многих краях нашей страны, но таких запахов нигде не находил. Сорвите стебелек полыни и оставьте в комнате – аромат его будет изливаться невесть сколько времени. Один цветок полевой розы (шиповника) напоит благоуханием весь дом. Спрячьте в сундук одно яблоко-антоновку – ваш гость учует его. Если же у вас улеживаются пуда два груш-лесничек, то запах их разливается не только в сенях, но и на дворе, и дальше, дальше...

Остановив Чалую, дядя сел на край борозды и крикнул: – Андреек! Отдыхай!

И отдых у них был другой, веселый. Я рвал траву и подносил к губам третьяка. Навострив уши, он глядел на меня темно-синими глазами, брал осторожно траву и вкусно хрупал, жуя ее. А я оглаживал его округлые, упитанные бока и упругий круп. Все радовало меня.

Дядя и Анне велел отдыхать. Мы посидели вместе, потом смотрели, как она косит. А косила она по-бабьи, точить косу не умела. Дядя учил ее, а заодно и меня:

– При точке крепче упирай носок в смолянку, чтобы он в землю не уходил. Ежели уткнется, скользнет – руку тебе тяпнет коса. Брусок справа и слева тверже примазывай к щекам косы, а руку от жала держи на отскоке. После бруска погладь щеки смолянкой, вот так... Коса и будет брить.

Дядя Фатей становился в ряд и показывал нам все секреты и хитрости косьбы.

– Ноги растопырь, широко не забирай, а посредственно. Налгай на пятку косы. Левую руку дюжее заноси обточь себя. Тогда коса не будет волочить.

Обедали на разостланной под телегой, привяленной и оттого пахучей траве. Пообедав, дядя завалился спать, а я напоил лошадей, задал им корму и отправился с Анной брать пазубники (так у нас называли землянику). Легли на

траву, разнимали ее и рвали душистую ягоду. Над нами, пронизанные солнечным светом, колыхались на ветру головки шиповника. Мы и его наломали, чтобы увезти домой, «для духу».

С поля возвратились уже в сумерки. Ужинали во дворе. Прямо на разметенной земле Анна разостлала скатерть, и вся семья уселась вокруг нее. Тянуло прохладой. Чай пили со свежими пазубниками, срывая их со стебельков и кидая в рот. Так прошел мой первый батрацкий день.

В то же лето я узнал много сельской работы. Тяпкой полл в огороде. В поле полл просо, вырывая пальцами ползучую повилуку и колючий осот. От укулов осота руки горели огнем. Когда миновала страда, я помогал женщинам рвать подорожник и сечь его на корм поросенку и курам. И кизяк на зиму заготавливал вместе с Анной, а тетка Ивануха указывала, как и что надо делать.

Я с засученными порточками и Анна с подоткнутой юбкой, оба с вымазанными бурой жижей ногами, брали железные вилы, расковыривали в закутах чавкающий навоз, накладывали на носилки и сваливали во дворе. Затем лили в эту кучу воду, месили ногами, набивали деревянные станочки и раскладывали сделанные кирпичи перед домом. Они сохли на солнце. Просохший кизяк складывали особым образом в «конусы», чтобы его прохватило ветром. Топливо готово!

Анна была удалая, сильная баба. Сама запрягала лошадь, закручивала тяжи, а супонь затягивала, что твой мужик. Вечерами мы с ней ездили в поле подкашивать траву. Дома раскидывали на крышах для просушки, а сено складывали в стожок.

Хлеба дядя Фатей косил сам, я делал валки, а Анна вязала снопы. Да так туго вязала, что под свясло трудно было палец поддеть. Я сносил снопы и складывал из них крестцы – прямые, не разлезавшиеся в стороны.

– Ну и Андреек! – хвалил дядя. – Ишь как он их свинчивает. Буря не развалит!

Он прирабатывал на плотницкой работе и потому мало сеял хлеба. Одонки делал низенькие, мне вполне под силу было кидать снопы на них. И все у меня ладилось, все выходило как надо, одно не нравилось: речки в Липягах нет!

Взрослому не понять, что значит для детей река. Без нее им жизнь не в жизнь. Все лето я только обливался из цибарки холодной колодезной водой, и тоска по речке грызла мою душу. Но все равно жизнь у дяди Фатей шла – лучше некуда! В его семье не ругались, не злобились, все уважали друг друга, добродушно шутили. Здесь почувствовал я красоту крестьянского труда и полюбил его.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. БАРИН И БАРЫНЯ

Маленькую деревушку Липяги надвое перерезал глубокий овраг, заросший мелким кустарником и травой. На той половине, где жили мои дядья, уселось всего-навсего пять домов. За ними легла небольшая полянка, а дальше начинались владения помещика Головина.

Барский мир был отгорожен от мира крестьянского тремя кольцеобразными стенами – матерым плетнем, желтой акацией и строем вековых дубов. За дубовой стеной виднелся запущенный сад, в глубине которого стоял деревянный дом под камышовой крышей. Двухскатная крыша над воротами давным-давно поросла темно-зеленым мхом и лишайником. Слева от калитки, у плетня, приютилась низенькая лавочка. Барин Николай Иванович летом каждый день выходил за ворота и сидел на этой лавочке, посасывая трубку. Обыкновенно бывал он в белой вышитой рубашке, в парусиновом картузике, в черных штанах и сапогах с низкими голенищами. На левой руке у него поблескивало массивное золотое кольцо.

Нечего барину делать. Скука ломит его. Часами он сидит у плетня, попыхивает дымком, бесцельно глазеет по сторонам. Жара, томленье, лень... Если мимо проходит баба с ведрами за водой, барин непременно остановит ее:

- Что, Михеевна, жарко?
- Жарко, барин.
- А что, на святой ключ не ходила еще молиться?
- Да нет, барин, и надо бы, да никак не вырвусь.
- Сходи, сходи!
- Схожу. Може, и схожу...
- Кажись, дождичек будет. Как думаешь, Михеевна?

– Да бог зная, Миколай Ваныч. Оттуль вон, кабыть, замолаживает... Може, к ночи соберется.

Баба проходит. А Николай Иванович сидит себе и сидит, пока не появится из-за угла стадо коров. Это барский пастух Семен пригнал их в обед на водопой. Барин вскидывается с лавочки и открывает дубовые ворота, пропуская скот на двор. Потом запрет их и уйдет в хоромы. К выгону и пригону коров, лошадей, свиней, овец барин обязательно бывает у своих ворот, открывает их и затворяет. Кажется, это единственная его работа.

Я, мальчишка, напрягая детские силенки и обливаясь потом в кусачую жару, кидал снопы на одонья или, вымазанный навозной жижей, таскал тяжелые станки с кизяком, а красномордый, большой, сильный помещик посиживал тем временем в холодке, не зная, куда себя деть. И сама очевидность вталкивала в мою голову вопрос: почему же так?

– Эх ты, божья теля! – отвечал дядя Фатей. – Да он же барин! У него работники есть. Так испокон веку ведется. И в Опочках господа, и в Каплине господа, и у вас в Стойле господа, и в Барановой, и в Ястребовке. Везде господа. Куда же от них денешься? Их власть!

Однажды в воскресенье после обеда дядя и тетка ушли отдыхать в холодок на погребницу. Молодайка залегла на своей кровати. Мне стало скучно, и я отправился бродить по Липягам. Меня давно занимала барская усадьба: что там, за плетнем, творится? Сперва заглядывал с опаской, издали, потом ближе подошел. Против дома, со стороны сада, припал к плетню, щель разыскал. И вот что я увидел.

Недалеко от барского дома, под старой грушей стояло широкое кресло на колесиках, а в нем что-то розово-красное. Вглядевшись, я различил человеческие черты: щелочки глаз, заплывших жиром, тумбообразные ноги, всунутые в расписные черевички, покоились на скамеечке, руки будто тесто свисали с подлокотников.

В саду было тихо, прохладно, сонно. Поодаль от кресла на табурете сидела девушка в белом переднике, с вязаньем в руках.

Должно быть, горничная, охранявшая покой спавшей. Я догадался, что увидел барыню. Раздался скрип, сверкнула стеклянная дверь, и на пороге появился барин. Встре-

пенувшись, горничная подала ему знак рукой: «Тише!». На цыпочках он ушел в дом.

Долго еще я смотрел в щелку, а за ужином рассказал об этом своим. Тетка Иваниха, смеясь, спросила меня:

- Видал теперя господ?
- Видал... В Стойле не такие.
- Они разные бывают.

Дядя Фатей пояснил:

– У нас барышня самая правдашная. Даже ходить сама не может. Ее катают на тележке. А на крыльцо двое выводят, третий под гузку подпихивает.

– А почему она такая толстенная? – спросил я.

– От жору, – сказал дядя. – Болезнь, говорят, есть такая – жор. Барыня наша трескает и спит, спит и трескает, а работы у нее нету. Вот и заплыла жиром. Ее уже три раза в Москву возили на выкачку сала. Говорят, четыре ведра выкачали – не помогло. И на теплые воды ее возили, и к святым мощам – не берет! Один доктор будто советовал посадить ее в тюрьму. Там, говорит, вытаяла бы за год – мое почтение! В плепорцию бы стала. А то что? Теперь в ней, поди, пудов двенадцать будет. Того и гляди, окапуться, от задышки...

В Липягах в моей голове впервые ясно возник вопрос: для чего на свете живут господа?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЯРМАРКА

Дядя Фатей наделал много граблей, вил, цепов, вальков, рубелей и крюков для косьбы. Все это он приготовил к торгу на большой Успенской ярмарке в Старом Осколе. В день Успенья еще до восхода солнца дядя выкатил из-под навеса парадную повозку с резным и расписным передком, осмотрел тяжи, чеки, оси и подмазал дегтем колеса. Соломенным жгутом вычистил Чалую, прихорошил ей гриву и надел узду с удилами и хомут с бляхами, похожими на овечьи глаза. Со «спички» под навесом дядя снял цветастую русскую дугу и чернорыжие волосяные вожжи. Скоро Чалая, впряженная в повозку, стояла, что невеста, обряженная к венцу. И, будто понимая торжественность момента, весело помахивала головой, позвякивая удилами, которые

дядя никогда не вкладывал ей в рот: смиренная была. Я навалил в повозку вчера накошенной травы, а дядя сверху уложил «товар».

В хате он умылся, расчесал гребешком черную бороду и волосы на голове, подстриженные под «махотку», надел коричневую рубашу и праздничные портки из «чертовой кожи», надернул на босу ногу старые сапоги, накануне смазанные дегтем. Выйдя из хаты, он приподнял левой рукой казинетовый картуз, перекрестился, сел на повозку к передку, взял в руки вожжи и сказал:

– Ну, с богом!

И мы с ним поехали на ярмарку. Свернув с липяжинского проселка на шлях, влились в необозримую вереницу разнообразных телег и экипажей, направлявшихся в город. Недавно прошел дождик, и накатанная дорога под лучами солнца сверкала колесницами, а влажная полоса меж ними была вся истыкана шипами подков.

За нами шла серая лошадка, впряженная в плетеный ходок. Повернувшись лицом к ней, я до самого города бездумно смотрел на сухие, словно точеные, ножки с высокими аккуратными копытцами и следил, когда заднее копытце попадало на след переднего или переносилось через него. Ходок однозвучно поскрипывал, наводя на меня сладкую дрему.

Миновав кладбищенскую церковь, мы въехали на верхнюю площадь Старого Оскола. Шесть колоколен города звонили «во все тяжкия», и гуд колоколов покрывал все звуки природы. Мы приехали рано и облюбовали лучшее место в середине площади, против дома с вывеской «Казенная винная лавка».

В то время на торговой площади Старого Оскола порядки были простецкие: кто где захватил место, там и стоял, с каким бы товаром не приехал. Пестрота и ералаш были характерными чертами торгового ряда. Рядом оказывались, например, телеги со сметаной и смолой, с салом и известкой, с дынями и привязанной для продажи коровой, с бергамотами и лаптями, с метелками и куриными яйцами и т.д.

К полудню ярмарка в разгаре. Чаща поднятых оглобель простирается по всей площади. Солнце припекает. Надо всем висит кисея пыли. Пахнет сеном, навозом, дегтем,

фруктами и тем сложным ярмарочным запахом, какому и названия не подберешь. Дядя торгует, а я, ошеломленный невиданным зрелищем, поднимаюсь на повозке, вытягиваю голову вверх, оглядывая кричащее человеческое море, огромные каменные дома в два и даже в три этажа.

Слышится пронзительный «тюрючок» городского. Куда ни глянь, – видишь нищих, калек и слепцов. Одни из них с сумками накрест ходят по миру, держась за плечи поводырей и утрашая людей бельмами; другие сидят на земле, надрывно и жалобно поют под жужжанье лиры «Милосердия двери отверзи нам» или «Заступница усердная»; третьи умышленно выставляют напоказ свои изуродованные головы, ноги, руки, делая ими жалкие и отвратительные движения, чтобы разжалобить сердобольных православных.

Всюду в толпе шныряют бойкие мальчишки с ящичками на ремнях, перекинутых через плечи, и звонкими альтами предлагают:

– Горячих, горячих, горячих! Эй, кому горячих с рисом, пятак пара! Горячих, горячих!

Цыгане в широченных плисовых штанах и засаленных цветных рубахах ходят по рядам телег, прицениваясь к лошадям и бесцеремонно хлеща их ременными кнутами.

– А сколько хозяин просит за гнедуху? – твердо чеканя каждый слог, спрашивает цыган.

– Восемь красненьких.

– Восемь годов будешь просить – никто не даст. Смотри: в паху кила, бабка свернута, лопатка сохнет. Бери половину! Молись богу, по чести даю!..

А подальше, где дорога шире расступилась, те же цыгане продают буланую клячу. Тут уж надо показать ее прыть, и один, чмокая губами, тянет клячу за повод, а другой сзади нажигает ее бичом. Кобыленка кое-как скачет саженью десять туда и обратно. Цыган напористо втирает мужику повод «из полы в полу»:

– Не лошадь – огонь! Век будешь благодарить. Еще такую у меня купишь.

Пляшут, поют и собирают копейки голопузые, курчавые цыганята. Матери их, перетянутые наискось турецкими платками, в длинных, треплющихся о босые ноги юбках

шныряют в толпе. Уставив на какую-нибудь тетку большие, нагло-просительные глаза, цыганка уламывает ее:

– Дай руку, погадаю. Вижу, точит горе твое сердце, болит оно, ноет день и ноченьку. Но скоро будет тебе радость нежданная, негаданная. Исполнится все, чего душа твоя желает.

Складно врет ведунья, угадывает все о прошлом, сочиняет о будущем и просит:

– Ну, дай, тетенька, моим цыганятам кусочек хлебца, дай маненько подсолнухов, дай десяток яблочков, и пошлет тебе, милая, бог доброго здоровья...

А на другом конце площади крики:

– Бей его!

– Сала захотел!

– По мусалу его, по мусалу!..

Толпа гонит и дубасит оборванца. Тот закрывает лицо руками, метит улизнуть, да некуда. Рыжий мужик забежал вперед и длинной, истекающей от жары полоской свиного сала лупит вора по голове, по шее:

– На тебе сала! Лопай! Лопай, собака!..

Полоса, как удав обвивается вокруг шеи. Толпа смыкается в тупом остервенении. Не знаю, остался ли жив человек...

А торг идет вовсю. С болтающимися на поясе крючками, ножами, защепами, иглами расхаживают по рядам коновалы. Уже начались магарычи в честь продажи и покупок. Двери казенки то и дело хлопают. В пыли валяются «готовые», упившиеся до беспамятства. Пьяные песни, ругань, крики наполняют воздух.

Огромная толпа сгрудилась около бродячего артиста, который поразил меня. Это был щупленький, низенький человечек с лицом сухощавым и умным, таким же серым, как и его костюм. На голове артиста возвышалась металлическая корона, обвешенная колокольчиками и бубенчиками. На горбу сидел большой барабан, тоже с бубенчиками по краям. К барабану приделаны медные тарелки, от которых шнурок спускался к левой ноге артиста и цеплялся петлей за каблук. В левой руке артист держал колотушку и стальной треугольник, а в правой – металлическую палочку и еще что-то, вроде ложек для щелканья.

Пронзительным тенорком артист поет:

*Й-ех, барыня-чибатуха,
На пузе в ей золотуха,
Й-ех, ба-а-а-рыня,
Й –ех, суда-а-а-рыня...*

Поет и одновременно часто-часто трясет головой, чтобы зазвенели колокольчики и бубенчики; бьет колотушкой по барабану, а палочкой – по треугольнику, щелкает ложками, дергает ногой, дзинькает тарелками, весь ходит ходунгом, превращаясь в целый шумовой оркестр!

Толпа восхищается:

– Вот это выкамаривает!

– Один всякую штуку выделяет!

В кепку артиста, брошенную на землю, сыплются семишники, алтыны и пятаки. Передохнув минутку-другую и вытерев пот с лица, диковинный артист продолжает работу...

Посреди площади под гармошку кружится карусель с люльками и коньками, на которых сидят счастливые, сияющие, нарядные деревенские девки и парни. Девки держат в носовых платочках подсолнушки и лещиновые орехи, грызут их и угощают ими своих ухажеров. А те отвечают им конфетами, медовыми маковниками и «складными» пряниками, перевязанными розовыми, голубыми, зелеными и красными поясками. Вокруг карусели земля усыпана подсолнечной и ореховой шелухой, конфетными обертками, огрызками яблок и груш.

Арбузы, дыни, фрукты и овощи лежат и на возах, и на земле, обнесенной дощатыми заборами. Всюду на телегах и под ними сидят люди. Ловкими ударами дна о ладонь мужики вышибают пробки из бутылок «казенки» и пьют ее, закусывая ситным хлебом, салом, яблоками и селедкой. Арбузные и дынные скибки, выеденные и невыеденные, валялись в пыли.

По всей площади виднеются палатки с бакалеей и красным товаром, а возле них кишит народ. Слэцаво вежливые приказчики ловко раскидывают штуки ситцев и отмеривают аршинами.

Но больше всего мне нравится следить за работой калужских набойщиков по холстине. В своей палатке они

обмакивают подушечки в краску, шоркают одну о другую и, как бы шутя и играя, намазывают узорные доски, на которые потом натягивают белую холстину. Прокатывают по ней валики – и получай, баба, заказанный рисунок. Плати деньги! Бабы с трубками холстов табунятся у набойных палаток. А оборотистые калужане, знай себе, поигрывают подушечками, шутят, балагурят, огребают денежки и покрикивают:

– Подходи, бабы, подходи! Набьем – кому «в сосенку», кому «в дорожку», кому «в твяточек»!..

Распродав свой товар, дядя Фатей принес мне полный картуз мясистых, густо-фиолетовых с сизой поволокой слив, половину теплой еще, белой булки и рябой арбуз, взятый навзрез, красный внутри «как кровь».

– Ешь, Андреек, да смотри Чалую, а я пойду тут по делу.

Ушел он, конечно, в казенку и запропастился надолго. Наевшись, я продолжал смотреть на городские чудеса.

Передо мной огромный дом. На балкон второго этажа вышла семья какого-то купца. Сам он в полосатых штанах навывпуск, в жилете и чесучовой рубахе с воротником, подвязанным шелковым шнурком. Особенно меня удивляют белые шарики на конце шнурка, похожие на одуванчики. Купец сонно щурится, опершись на перила балкона. Вижу его белое, сытое, брудастое лицо, похожее на морду породистого бычка.

«Вот кому жизнь!» – думаю я.

Мимо моей повозки, по главной дороге площади, проносятся роскошные барские коляски, кареты, фэтоны, линейки, в которые заложены чистокровные орловские, английские, арабские рысаки, белые, серые, буланные, воронные, рыжие, гнедые, игрневые, караковые. Едут в одноконь, на парах, тройках, четверках и шестерках. Едут обыкновенно и цугом. Бородатые кучера, разодетые в «канареечные» рубахи, плисовые штаны и жилеты, в круглых шапочках, утыканных павлиньими перьями, картинно натягивают вожжи и с шиком прокатывают по ярмарке, удивляя простой народ. Коренники летят на рысях, а пристяжные скачут, загнув набок головы, перекосив разинутые рты и сердито вылупив налившиеся кровью глаза.

Ярко выкрашенные экипажи вспыхивают на солнце, а спицы колес сливаются в прозрачные круги. В экипажах

сидят господа в таких нарядах, каких я не видал и во сне. А сами господа такие сытые, гладкие, румяные да красивые! Это не люди, а боги! Они ничуть не похожи ни на стойленцев, ни на липяжинцев, ни на всех тех, что гудят на ярмарке.

«Вот кому жизнь!» – опять приходит мне в голову...

Уже из-за горообразного облака на западе солнечные лучи брызнули веером и воткнулись в горизонт. Ярмарка стихала. Народ разъезжался и расходился.

Явился ко мне подвыпивший дядя Фатей. Он купил мне красную рубаху с белым горошком. Мы направились домой. Дядя всю дорогу балакал и все хвалил себя и меня. Я правил Чалой и передумывал сильные впечатления дня. На ярмарке я увидел страшную нескладицу жизни: роскошь и нищету, красоту и уродство, блаженство одних и несказанное горе других...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. И СНОВА В СТОЙЛЕ

На Покров наши из Стойла гамозом навалили к дядьям. Как всегда, в этот праздник гуляли шумно, пили-ели много. Отпраздновали три дня, а на четвертый утром мать неожиданно объявила мне:

– Ну, Андреек, собирайся, поедешь с нами домой. Отец велел.

Оборвалось у меня сердце! Утро было пасмурное, задернутое тонкой сеткой тумана. Тихо и дружно валил снег. Вскоре он покрыл все – и в природе стало светло и свежо.

Я сидел в задке повозки и уныло смотрел на постепенно спускавшиеся за холмы Липяги. Вот запали и самые высокие дубы головинской усадьбы. Прощайте, Липяги!.. Тоска залила мне душу...

Отцу я занадобился потому, что был уже не лишний рот, а работник.

Сразу же после обеда старший брат Митька стал учить меня ссучивать пеньку в длинные жгутики и вить из них руками и крючком тонкие веревочки – на плетение чуней.

Поздней осенью и зимой в Стойле людям мало было работы: кормили и поили скот, в морозную погоду молотили

хлеб. В остальное время почти все стойленцы занимались единственным ремеслом – плетением лаптей и «тюней». В них ходили сами, их продавали на базаре. Стойленские лапти и славились на весь уезд. Они были не чета чувашским или вотяцким, а прочные и художественные: задники плотные, борты высокие, головка полукруглая, емкая, расписанная разноцветными узенькими лычками. Любо глядеть! Лыко на подошве в два слоя да еще подвирка из коноплевой веревки. Да если эту подошву подсмаливали, то получались не лапти, а кораблики! Иди по воде – не промокнут ноги ни за что. Лишь бы вода через борты не заливалась... На старооскольском базаре только каплинские лапти иной раз могли тягаться со стойленскими. Ну, так еще бы! В селе Каплино исстари жили первые мастера веревочного и лапотного дела.

В нашей семье лучшим лапотным специалистом был дядя Степан. Митька еще не мог полностью перенять это искусство и мастачил пока «тюни». Это – дело простое. Навил веревочек, приколотил гвоздиком конец веревочки к углу колодки – и пошел сновать вдоль и поперек. Вот и все. Правда, головку «тюни» выделать немного хитровато, но и то можно скоро понять. А начать пятку у лаптя – дело мудреное. Не скоро его осилишь... Я за одну зиму наловчился плести «тюни» первого сорта. На базаре они шли по двенадцать, а то и по пятнадцать копеек за пару...

В длинные зимние вечера в нашей хате бывало нестерпимо скучно и нудно. Скрипели и жужжали прялки. Тетка Варвара наваливала на стол рухлядь для пошива пиджаков и кофт заказчикам, настилала на нее волну и хлопья, стегала все это, подрезала, постоянно соображая, не укоротила ли что, не перепустила ли лишку.

Дядя Степан на конике плел лапти, поддевая свайкой под лычки, подтыкивая под них новые лычки и пристукивая черенком больше для форсу, чем по надобности. Я и Митька с «тюнями» сидели на скамейке.

Изнурительную атмосферу хаты немного рассеивали песни, которые дядя и брат пели как бы для себя и оттого очень душевно. У них хорошие тенора. Митька – первый, дядя – второй. Удивительно: оба они были безграмотные, а знали много песен на слова знаменитых

русских поэтов. Странно было видеть и слышать, как длиннородый дядя Степан, ковыряя лапоть, истомно выводил трогательную мелодию: «Когда легковерен и молод я был, младую гречанку я страстно любил». Митька подтягивал. Исполнительская программа нашего вокального дуэта была обширной: «Вот мчится тройка удалая», «Хуторок», «Среди долины ровная», «Коробейники», «В глубокой теснине Дарьяла», «Спи, младенец мой прекрасный», «Ревела буря», «По синим волнам океана», «Хас-Булат удалой», «Сижу за решеткой в темнице сырой», «Не слышно шума городского», «Чудный месяц плывет над рекою»...

Мне, пожалуй, и не перечислить всего, что пелось в нашем доме. Эти песни, как и библейские мифы, читанные отцом, заронили в мою душу первые искры любви к музыке и поэзии...

Для всего детского населения нашей хаты было большой радостью «брать ягнят». Объягнятившихся овец, пока окрепнут ягнята, держали в хате. А через неделю выводили на двор или в закуту. Но в морозные дни ягнята не выдуживали на дворе. Раз-два на день их брали в хату погреться. Ребятишки с нетерпением ждали команды «ягнят брать!». Едва раздавались эти слова, они сыпали с печки на двор, хватали своих любимцев на руки и тащили в хату. Тут их ласкали, гладили по шелковистой шерстке, нежно трогали пальчиками сережки под шайкой и кормили с ладони хлебными крошками и овсецом.

Нагревшихся ягнят уносили к матерям. Увидев своих детей, овцы глупо бякали. А ягнятки стремительно подбегали к мамкам, припадали на передние коленочки и, часто вертя хвостиками, энергично подталкивали вымя мордочками и сосали.

Вечером подростки вместе с взрослыми поили скот, укутывали его на ночь, собирали по двору объединенные подсолнечные будылья – на топливо.

Наша хата освещалась одной семилинейной лампешкой. Около нее ютились рабочие люди. А мелюзга залезала на печь и там гомозилась, скандалила, визжала и дралась. Никто не забавлял ее ни сказками, ни рассказами. Бабка, занятая хозяйственными делами, кое-когда поднималась

на печь для «уему аглоедов», щелкала их по затылкам и пугала побасками о Титае (так она называла Китай):

– Как подымеется Титай тучей, придя к нам – и всех вас заберет... Замолчите! Не гомните!

Все забияки затихали, драки прекращались. Ребятам становилось жутко, хотя никто из них не понимал, что такое «Титай» и «титайцы».

Между взрослыми членами семьи часто затевались споры – это единственное проявление умственной жизни в хате. Спорили по разным вопросам. Они ставились и обсуждались без всякой связи друг с другом. Начинался спор, например, так:

– А когда нынче будет Авдотин день?

Одни отвечают – в среду на третьей неделе Великого поста, другие – в понедельник на четвертой, третьи – в пятницу на шестой. Мнения расходятся, страсти закипают. Припоминают, в какие дни Авдотья приходилась в прошлом и позапрошлом годах, какая погода была в те дни, кто тогда помер в Стойле, и чья корова отелилась на Авдотью...

Брат Митька – малый с ехидцей. Он любит задавать вопросы каверзные, и все больше с подковыриванием бога.

– А может ли бог сотворить камень, которого сам не поднимет?

Сделав затравку, Митька лукаво озирается, ожидая начала схватки. Но в ответ на его хитрость тетка Варвара грубо отшивает:

– Завяжи, дуралей, рот узлом и не мели абы что про бога!

А Митька, довольный тем, что подкузьмил все-таки тетку, тихо хихикает в «тюнь».

– А где же свету конец? – спрашивает сестра Катерина.

Высказываются разные гипотезы.

– За Русалимом, – отвечает мать.

Бабка оспаривает это утверждение:

– Нет, он за горой Афоном.

А тетка безапелляционно уверяет:

– До стыку земли и неба еще никто не доходил, а потому и неизвестно, где кончается белый свет.

Дядя Степан, ссылаясь на бесспорный авторитет сельского писаря Логина Черникова, предостерегает спорящих:

– Кто будет об этом думать, тот ряшится ума. Логин глядит в самые правильные книги – в Библию, сонник, в Мартына Задеку, в «Круг Соломона». По этим книгам писарь все знает: думки людей, предсказывает погоду хоть за сто лет наперед, войны, голод, всякую беду народную. Но про конец света и в книгах Логина ни слова не сказано. Нечего и колобродить зря ума...

Переходят к более доступным вопросам: почему святой Касьян празднуется раз в четыре года? За что царь навесил помещику Коробкову на грудь двухпудовую чугунную медаль?

По первому из этих вопросов тетка дает исчерпывающий ответ:

– Микола-угодник был дюже люб богу. Бог и велел два раза в году праздновать Миколу: и зимой, и весной. А Касьян был сердитый, строгий. Бог и не взлюбил его и сказал: твой день будя раз в четыре года!

О помещике Коробкове дядя Степан рассказывает интересную историю, характеризующую ненависть крестьян к барам:

– Коробков – первеющий мильенщик из господ. Земли у него двенадцать тыщ десятин, а ржи родится каждый год – нет числа! Царь приказал продавать эту рожь для пропитания войска. А этот Коробков, аредская душа, возьми да и подсыпь в рожь пыли. Она разошлась по хлебу, ее и не видать. Солдаты ели этот хлеб и болели. А какой-то генерал и расчухал про мошенство Коробкова. И взял стервеца за курдюк. Царь призвал Коробкова во дворец и говорит: «Вот что, милоч, за пыльную рожь твою даю тебе награду – двухпудовую чугунную медаль. И носи ты ее, гадюка, на шее навсегда: и днем, и ночью, и дома, и в гостях, и в нужник ходи с нею, и спи с нею. Никогда не сымай!»... И таскает теперь эту награду идол... Поглядите: когда он в карете четверткой катит по шляху в Старый Оскол – увидите эту чугунную медаль. Страсть одна! Так и надо аспиду!..

Вблизи Стойла много логов. В один из них втыкается большой Артамонов овраг, весь заросший диким терновником. Место это было страшное, таинственное. Говорили, что там зарыт клад и по ночам горят свечи. В овраг летом заходила только одна сумасшедшая баба Анисья. Накатит

на нее – она и умахнет в этот овраг. Наломает терну, сплетет из него венки, наденет себе на голову и, подражая Христу, ходит по полям. Ходит и поет молитвы. А с головы на лицо стекают капли крови.

Сумасшедшая Анисья наводила ужас на всех стойленцев. И в нашей хате много раз шли толки, отчего Анисья стала такая. Бабка Мавра поясняла:

– В девках Анисья была дюже жога. За нее посватался бродчанский пастух-овчар. Она погребовала им, не пошла. А он – колдун. По насердке и напустил на Анисью паморочки.

Дядя предложил другое объяснение сумасшествия Анисьи: будто когда ее трепала лихоманка, она пила водку, настоящую на черных тараканах. Лекарка велела... И с тех пор Анисья «закружилась».

Не находила пытливая крестьянская душа здоровой пищи и поневоле питалась суррогатами нелепых вымыслов...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ТРУДОВАЯ ШКОЛА

Дома моя настоящая трудовая жизнь началась с девятилетнего возраста. Наряду со старшими я сажал овощи на огороде, поливал их, полел, рыхлил землю, удобрял ее навозом. На пахоте бороновал, езда верхом на старой кобыле. С девятилетнего возраста и сам пахал сохой-рогулей. Она мучила меня на поворотах: приходилось ее поднимать и очищать.

В июле косили рожь. Отец сделал мне маленький крюк с косой и заставил косить. А по ржи, росшей на раскорчевке, бесперечь попадались веточки-отростки и «собачьи головы» – татарник.

Как наткнется на них коса, так и стоп. Отмотаешь все руки за день.

Тут одно удовольствие – полевая каша! У нас большой мастак варить ее был дядя Степан. В казанок он клал пшено, картошку, соль и сало. Из одной каши делал две – жидкую и крутую. Сольет жидкую в черепушку, а крутую помешивает, приглаживает, да сверху еще сдобрит ее куриным яйцом.

Нет на свете еды вкуснее полевой каши! В домашней печи нипочем такую не сварить.

Накладывать снопы на телегу – работа тяжелая, недетская, а я накладывал. Но самое досадное было возить их с казацких земель, за двадцать пять верст. Лежишь на возу, жарись на солнце, а лошади, всхрапывая, устало шагают по пыльному шляху. Однотонно скрипят телеги, преодолевают тебя сон и жажда. А надо еще вскидывать снопы на высокие одонья: низких, как у дяди Фатя, у нас не клали. И руки потом ныли всю ночь.

Хлеба нашей семье никогда не хватало до новины – прикупали. Поэтому за возкой снопов сразу же начиналась молотья. Молотили в четыре цепа. Мне сделали цеп полегче, чтобы не отставал. Хоть и трудна эта работа, а я любил эту ритмичную музыку четырех цепов: тра-па-па-па... тра-па-па-па...

Чтобы они не заплетались, первый цеп громко отбивал свой удар. У нас первым был дядя Степан, вроде солиста. Любопытно было смотреть, как из под ударов по гузу и волоти зерна брызгами летели во все стороны, а сноп вертелся и подпрыгивал, будто живой. Когда разрезали свясла, дядя Степан с шиком, играя цепом, «отворачивал» валки соломы. Настоящий артист!

Еще на моей обязанности было выхаживать гнедого жеребенка, которого прочили или, по-нашему, собили на продажу в город. Если его выкормить, выхолить да продать рублей за пятьдесят, то будет хозяйству крепкая подмога. Но где выкормить? Кругом все господское! Разве что на обочинах дорог, на межах, на ничейной земле. Но это ведь узенькие полоски. Надо за ним все время следить, чтобы не залез, не дай бог, в барский луг или в хлеба.

Отец приказал:

– Води его в поводу, корми, пои и купай!

И все лето с росного утра до жаркого полдня я держал в руках повод, бездумно глядя, как Сокол щиплет мокрую зеленую траву. Скука! То и дело я посматривал на солнце, нестерпимо медленно всползавшее в зенит. Когда оводы начинали жалить моего питомца, можно было вести его домой. А после обеда опять гони со двора – на гать, где мы купали лошадей. Но это я любил.

Эх и здорово же Сокол раздвигал грудью воду и взбаламучивал буруны, переплывая на ту сторону реки! Я чувствовал, как гребли в воде его ноги и трепетало все тело. Сидя верхом, проплывал туда и обратно раз десять и выводил Сокола на мель – мыть. По спине его от крупа до гривы чернел желобок, в котором сверкала нескатившаяся вода. Ребром ладони я тер бока конька, полоскал его волнистый хвост, а чистую, мягкую гриву разнимал и расчесывал пальцами, как гребенкой. Сокол стоял смиренно, ему это тоже нравилось. На берегу я привязывал его к осокору и, став поодаль, любовался всеми его статями. Потом снова вел на корм. В погожие дни купал Сокола раза по три. Покормлю, покормлю – и опять к реке. Больше для собственного удовольствия, чем по надобности. К концу лета конек мой стал красавцем на удивление всему селу. На осенней ярмарке в Старом Осколе отец продал его за шестьдесят рублей. Так был рад, что и на меня истратил семишник – двухкопеечную царскую монету: привез семишниковую булку. Но как же мне жалко было расставаться с Соколом!

Следующий конек был у меня не такой. Наша рыжая кобылка Ласка принесла сосунка – такого же рыжего с лысинкой, как она сама. Но задние ноги стояли у него уродливо, наростопыр. Все над ним смеялись и прозвали дурно: Рассоха. Что с ним делать, с уродом? Продать – никто не купил бы. Кому такой нужен? Дядя Степан и предложил:

– А пушай растет. Будет борону волочить – и ладно.

На Рассохе мне и пришлось боронить. Тайно я попробовал его рысь. К моему удивлению, урод здорово бегал.

Через два двора от нашего жил Енка Грачев, выцветший на солнце, плоский, будто расплющенный мужичонка. У него был гнедой мерин с бельмом на правом глазу по кличке Дергун. На бегу что-то екало у мерина в нутре. Мужики говорили, что у него две селезенки. И ни одна лошадь в селе не могла его догнать. Енка не раз выигрывал «заклады» и больше всех изгалялся над моим Рассохой:

– И чего эту шкапу на кожедерню не сдадут?

Взяло меня зло – терпенья нет. В один из праздников говорю ему:

– А давай сбегает!

Как на грех, народу было много вокруг, все хохочут, а Енка бахвалится:

– Давай! Ежели морда твоего одра очутится у хвоста моего Дергуна, отдам тебе полкуска сала и сдобный калач. А ты что ставишь в заклад?

– Пирог с горохом!

– Смотри, весь отдашь, ежели отстанешь хоть на пять шагов от хвоста. Спорим?

– Спорим!

– Бежать будем вон до той груши... С версту.

– Ладно.

Когда побежали, Енка сразу вырвался вперед и, оглядываясь на меня, насмешливо щерил зубы. Он не подгонял Дергуна, а лишь ту же натягивал поводья, и от этого мерин надавал рыси. А я путем с твердым узлом на конце направо и налево жарил Рассоху. Широко загибая своими «полозьями», он все ближе подтягивался к хвосту Дергуна. Енка скакал во весь опор. Он уже не скалил зубов. Вот и груша! Рассоха пришел не в хвосте, а ухо в ухо с ним.

Под общий хохот наблюдателей и болельщиков Енка дал мне калач и отрезал полкуска сала:

– На, лопай!

С тех пор в Стойле не смеялись над Рассохой. Но отец, узнав о моей победе, пригрозил:

– Ежели ты, матери твоей лихо, еще будешь гонять же-ребенка, спину издеру! Ведь ты бы его запалил!..

Конечно, ни в какое сравнение не шли наши крестьянские лошаденки с господскими чистокровными рысаками. Имение Сухотиных лежало от нашего села на восток, а Калмыковых – на запад. В теплынь они часто ездили в гости друг к другу верхом на этих красавцах. Едва кто-нибудь из ребятишек завидит издали кавалькаду, как орет на весь Монастырь:

– Господа едут!

Детская орава горохом сыпала к гати, которую всадники не могли миновать. Там мы любовались орловскими, арабскими, английскими рысаками и заводили горячие споры, который из них красивее, резвее. Обсуждали и седоков. Господа были разные, тоже отличались по статьям. Особенно изумляли нас барыни и барышни, которые сидели в седлах,

не окарачив лошадей, а свесив ноги на один бок. Мы знали клички всех барских лошадей: Стрелка, Вестник, Ласточка, Орлик, Еруслан и др. и заводили горячие споры, какая из лошадей красивее и резвее...

Самой радостной работой для деревенских ребят моего времени было вождение лошадей в лес – на ночное.

В Старооскольском уезде, пожалуй, каждое село имело свой лес. Стойленский лес отстоял от села версты на три-четыре. В нем росли дикие груши, яблони, терн, лещиновый орех, калина и боярышник, а между ними разные травы, изобиловавшие клубникой и пазобником.

Когда цвели яблони, груши и терн, лес превращался в волшебное белопенное царство, напоенное ароматами!

Бывало, приведем лошадей на ночь, закуем их ноги в железные пута, чтобы не украли, разведем костер – и ложимся вокруг него. Тут тебе взрослые ведут нескончаемые рассказы о былях и небылицах, а ребятишки, нанизав на палочки куски сала, жарят его, капают на хлеб и вкусно едят.

Созревшие клубнику и пазобники ребята привозили из лесу своим братишкам и сестренкам.

Сельский староста запрещал рвать яблоки, груши и терн, пока они не поспеют. В конце августа, в один из вечеров, десятские ходили по селу, стучали в окно палками и возвещали:

– Эй, завтра лес трусить!

И уже с полночи от села к лесу тархтели тарантайки. Люди спешили захватить давно примеченные лучшие яблони, груши, терновые и лещиновые кусты. Весь лес наполнялся шумом, людскими криками и лошадиным ржаньем.

– Фенька, поняй* ко мне: я грушу нашла ядреную!

– Ларька, иде же ты провалился?!

– Тута я!

– Едь сюда!

К вечеру в село возвращались тарантайки, нагруженные лесной данью, гуськом шли бабы и дети с полными мешками и сумками.

В урожайные годы яблок и груш в Стойленском лесу наспевало столько, что все их невозможно было собрать.

* Поняй – по-стойленски поезжай. – А.Т.

Сотни пудов уходили под снег. Улежалые дикие груши вкусны и питательны. У нас сушили и мочили их. Из сушеных зимой готовили взвар или сыпали их в кулагу. А мешки с яблоками-лесничками закладывали в одонья, которые оставлялись для зимней молотбы. Добравшись до яблок, извлекали их. Убитые морозом, они становились душистыми, сладкими с кислинкой.

Лесные мышки на зиму заготавливали лещиновый орех. Охотники «мышковать» поздней осенью выгребали из нор по 10–15 фунтов отборного ореха!

Так наш небольшой лес щедро прокармливал и скот, и людей...

Я и мои сверстники водили лошадей и на парину, что прилежала к шляху между Старым Осколом и Тимом. Это место тоже привлекало нас. Особенно в межпарье. Тогда освободившиеся от ранних весенних работ крестьяне с котомками и посохами шли небольшими группами и длинными колоннами на богомолье в Киев, Воронеж и Задонск. Шли туда и оттуда. Усталые и разомлевшие от жары, они разногласо пели:

– Христос воскрес из мертвых, смертью смертью прав, и сущим во гробах живот даровав.

Эта невиданная картина так взволновала наши детские сердца! Богомольцы, идущие издалека, несли в своих котомках сдобные сухари, а у нас в сумках лежал черный ржаной, зато свежий хлеб. Его хотелось паломникам, и мы охотно вступали с ними во взаимовыгодный «товарообмен»...

Там, где теперь развернулся гигантский Стойленский рудник, в годы моего детства тянулся меж горами длинный лог – ложе высохшей реки. Каждой весной протекали через него талые воды, наволакивая слой плодородной земли.

Издавна стойленцы сеяли в логу картофель и подсолнух. Картофель шел на еду, а подсолнух – на продажу. Он составлял значительную доходную статью в хозяйстве каждого стойленского двора.

Картошка у нас выращивалась редкостная: крупная, в кулак и больше, белая, рассыпчатая. Почему-то она называлась «императорка». Когда она разваривалась в чугуне, то рубашка ее разворачивалась завитками во все стороны, а из-за нее виднелось белое, как кипень, ядро с искринками

крахмала. Съешь две картофелины с ржаным хлебом – и сыт. А печеная «императорка» – просто объеденье!

Подсолнухи в логу выростали высокие с толстыми будильями и листьями с лопатку. Головы их стойленцы называли «решетами». Влага в подсолнухах сохранялась целое лето, и травы в них было невпроворот. Женщины и подростки таскали ее мешками и вязанками на подкормку коров, телят и лошадей. А семечки подсолнуха были величиной почти с лошадиный зуб! Грызовой подсолнух.

На поле, против нашего участка в логу, мне сделали курень. Я с утра шел в лог рвать траву. Вечером за нею приходили взрослые. Пропадал я в логу от тоски и одиночества... Но вот приходила пора цветения подсолнухов – и весь лог вспыхивал золотым пламенем. Я поднимался на увал и, как зачарованный, часами смотрел на золотую реку, дышавшую горячим терпким подсолнечным благоуханием. Никогда после я не видел такой дивной картины природы!..

Обогнув село Бродок, капризная реченка Осколец разделилась на две ветви. Барин Калмыков соединил их плотиной, устроив пруд, поставил водяную мельницу с крупурушкой и толчеею для обработки льна и конопли, а от мельницы пропустил арык.

Недалеко от Стойла ветви Оскольца и арык сливались, образуя широкий и глубокий омут, обросший со стороны луга осокорником, камышом и осокой. Летом пониже ому-та речка сплошь покрывалась зеленой ряской и казалась неподвижной.

Разнесся по Стойлу слух, что в омуте, под зарослями осокорника живет водяной, и что люди не раз видели, как он выныривал, хлестал по воде хвостом и исчезал...

Над южной стороной Оскольца высились меловые горы, а над самым берегом пролежала извилистая тропинка, по которой ходили на мельницу и в Бродчанскую церковь.

Дно Оскольца вблизи ому-та, усыпанное меловой осыпью и заволоченное тиной, кишело раками и мелкой рыбой.

Зная детскую страсть к утехам на речке, отец и ее превращал в доходную работу. Он связал мне маленький сак с длинной карной. К концу ее прикрепил кирпич, чтобы она не всплывала на поверхность воды. Сетку сака приделал к

полуобручу. Бродить саком приходилось вдвоем: одному несподручно...

Я дружил с соседской девчонкой Акулькой, на год старше меня. С нею мы ловили на Оскольце раков и рыбу. Акулька – отчаянная голова. Тонкая, высокая, жилистая, сильная. А глазищи лупастые, черные, как у цыганки. Она ничего не боялась. Ребят-ровесников колотила почем зря!

В Стойле каждый двор, помимо фамилии, имел дразнильную кличку. Наш двор дразнили – Кисели. Однажды Акулька сказала мне:

– Эй, Кисель, на коленки присел! Идем ловить коло омута!

– А водяной?

– Да мы же не по омуту будем бродить, – успокоила меня Акулька, – а по мели, подальше.

Пошли. Как пробредем поперек речки и обратно, так полна карна тины и раков. Топырятся они, шебаршат клешнями, точно ведут шепотом разговор. Бредем снова по тому же следу – и опять полно раков. Откуда они только брались!

– Ну, еще раз – и будя, – решила Акулька.

Побрели по новому месту. И только стали вытаскивать сак на берег, как вздувшаяся карна начала подпрыгивать и шлепать по воде.

– Черт! – завопил я в испуге и побежал от берега.

– Рыбина! – верещала Акулька. – Большая рыбина! Сюда! Скорей сюда! Дави ее!..

И сама пузом упала на карну. Вижу, вместе с Акулькой сеть по-прежнему трепыхается, но все тише, тише. Наконец стало все спокойно. И тогда я робко подошел к Акульке.

– Эх, ты! – сказала она. – Испужался!

Оттащили мы сак от воды и принялись выбирать из него добычу. И что же? Запутавшись в тине, лежала здоровенная, с аршин, щука! Вся мшистая и седая. Должно быть, очень старая. Она уже еле ворошилась. Весть о таком трофее быстро разносилась по селу, многие приходили дивиться. Акулька торжествующе рассказывала о своем подвиге и беспощадно обличала мою трусость. Щуку она все-таки разделила пополам, но мой рыболовный авторитет рухнул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ, РАДОСТИ И ПРОКАЗЫ

Многие хаты, погреба, выхода, пуньки и сараи стойленцы строили из мела. Меловая хата гигиенична и тепла. Стены ее не нуждались в побелке. На них легко накладывались разноцветные орнаменты доморощенных художников. В горах мелоломы делали огромные выемки, напоминавшие древние руины без крыш. В их стенах воробьи сверлили дыры и вили гнезда.

Всех стойленских юных озорников, в их числе и меня, неотвратимо тянуло бродить по просторным белым «залам» и «коридорам», разорять воробьиные гнезда, искать «чертовы пальцы», «громовые стрелы» (окаменевшие моллюски).

Теперь меня поражают безжалостность и садизм, с какими дети уничтожали воробьиные яички и птенцов. Некоторые ученые считают детскую жестокость явлением атавизма. Так ли это?..

Любимой нашей забавой на меловых горах был запуск круглых глыб с высоты в речку. С замиранием сердца смотрели мы, как такая махина, чем ближе к речке, тем быстрее и быстрее катилась. Восторг наш достигал предела, когда она бахалась в воду, раздавая вокруг себя огромный круг брызг. На горах мы и состязались: чья каменюга обгонит и раздаст самый широкий круг. Тысячи проклятий посылали нам мелоломы: немало их тяжелых трудов ребячню пустила в воду.

А игра в «четкетку» разве не спорт? Ею в Стойле увлекались и малые и старые. На берегу речки «спортсмены» выбирали плоские камешки, становились в ряд и по очереди метали их по поверхности воды, еле касаясь ее. Выигрывал тот, чей камешек «напекал» больше «блинов», т.е. делал кругов на воде, пока не потонул. Играли даже на деньги...

Гать, перекинута через широкий разлив Оскольца у села Стойла, в летние праздничные дни кишела народом. Мужики и бабы, парни и девки, мальчишки и девчонки, надев лучшие наряды, сходились и съезжались сюда на веселье. Купались сами, купали лошадей, пели, заводили на лужайке хороводы, плели венки из белых и желтых кувши-

нок, из луговых трав и цветов. Вся гать казалась шумным цветником.

Делая гать, мужики навалили под нее кучи дромю, в котором жили теперь голавли. В солнечную погоду они выбирались из-под гати на мель – греться. Медленно и важно плавали, чуть пошевеливая хвостами. А вода здесь – слеза!

Голавли – рыба чуткая, осторожная. Бросишь камушек в воду – и они мгновенно серебряными стрелами летят под гать, в дром. Но один раз Савка Мижуев перехитрил их.

Собрался на гать народ. Савка попросил его затихнуть на несколько минут. Стая голавлей разгуливала на мели. Савка тихо-тихо подкрался на лодке с противоположной стороны гати и пересек сетью речку перед самым дромом.

– А ну, кинь кто-нибудь камушек в голавлей, – попросил Савка.

Кто-то кинул. Голавли стрельнули под гать, – и все до единого застряли в сети. Выбирает Савка сеть, а серебристые рыбы висят в ячейках, трепещут, стараясь вырваться от смерти. Красивая картинка!..

Помню и еще одну интересную охоту на голавлей. Обедневший помещик Софрон Ермолаевич Мещеряков всегда бродил с ружьем. Увидел он с гати больших голавлей на мели и наметил одного.

– Смотрите: сейчас он будет мой!

И выстрелил. Голавль моментально всплыл, повернувшись брюшком вверх...

У барина Николая Егоровича Калмыкова служил мельником некто Иван Максимович Куцев, отец многодетного семейства. Его в Стойле числили за «благородного». Низенькая, толстая жена его ходила вразвалку, как утка. Сыновья носили ситцевые рубахи, «городские» штаны и умывались духовитым мылом. Единственная дочка Куцевых, Оленька, с деревенскими девками не водилась, а была вхожа к господам. Рослая, стройная блондинка с золотистой косой, румяная, как свежеиспеченная пшеничная шанежка, она пленила Сеньку Лапина из деревни Букреевки. Этот ловкий и смазливый паренек, отслужив солдатскую в Петербурге, попал в лакеи к какому-то царедворцу. У нас же пустили молву, что он служил лакеем у самого царя.

Женившись на Оленьке, Сенька увез ее в столицу. И потом каждое лето чета Лапиных приезжала гостить к мельнику. Ее приезд будоражил все Стойло. В жаркий день Сенька в шавровых сапогах, в шляпе, в подтяжках, в нижней рубашке, но с медалями – важно шествовал по селу, ведя под руку Оленьку, разнаряженную по-господски, в белых перчатках и с зонтиком. Толпы любопытных глазели на стольких гостей, волоклись за ними, завистливо перешептываясь. Чтобы окончательно поразить стойленцев, царский лакей брал из кулька леденцовые конфеты и швырял их в толпу – «на драку»...

Барин Николай Егорович Калмыков был не родня паразитам. Приземистый, чернявый, худой и горбатый (мужики прозвали его за глаза «горбачом»), с длинными, ниже колен руками, он вставал раньше своих батраков. Еще до солнца носился по обширному зеленому двору, отдавая сердитые распоряжения. Позже я понял, что свое имение он хотел сделать очагом культурного сельского хозяйства.

Первым во всей нашей округе горбач завел породистых коров, свиней, кур, уток, индеек, цесарок, павлинов. Первым применил на пахоте однолемешный плуг, а на косьбе хлебов – лобогрейку. Сначала сам управлял ими, потом только доверил работникам. Ребята из Стойки, Песчанки, Бродка гурьбой бегали за плугом и косилкой. И не было конца их разговорам о барских диковинках.

На заболоченном лугу горбач велел прорыть каналы, осушил его, и луг покрылся обильным разнотравьем. После снятия отавы здесь пасся помещичий крупный скот. Было чему дивиться: коровы сытые, лоснящиеся, вымя у каждой с пуд. А на быков смотреть страшно: лбищи широкие, курчавые, глазищи злые-презлые, подбрудки висят чуть ли не до земли.

Но будто стена стояла между барином и мужиками: не верили они ни в новинки его, ни ему самому. Даже когда он сам предлагал, не покупали на развод ни телят, ни поросят, ни породистой птицы. А на машины и денег не было ни у кого. Так и получилось, что культурное имение не оказало никакого влияния на хозяйство окрестных деревень.

Только однажды пришлось мне увидеть близко горбача, и это стало для меня уроком надолго. Была у нас комо-

лая нетель Белка, вредливая и лукавая тварина. Но бабка Мавра ждала, что из нее вырастет добрая корова. У нее, вишь, все признаки удожности – кожа тонкая, между ребрами свободно ложатся три пальца, репица кончается не шилом, а лопаткой, и на ней густо налеплено желтых чешуек.

Белка часто убегала из стада, и где ее носит, трудно было угадать. Поиски возлагались на меня. И вот один раз я нашел ее в барской ниве. Со страха обомлел. Пшеница густая, что море, а по ней плавает окаянная Белка. Я опрометью кинулся выгонять ее на дорогу, а она, язва, как нарочно, все глубже забиралась в пшеницу. Гоню с хвостинкой за нею, сам тряусь. И вдруг меня что-то жигануло по спине...

Я оглянулся, а это – горбатый барин верхом на жеребце! Белка – от меня, я – за ней, барин – за мной, и все полосует и полосует плетью. Всю спину исхлестал! Я упал, успел заметить бешенные его глаза, но тут он бросил меня – устремился за Белкой. Тоже исстегал и загнал ее к себе на двор.

Пропала, думаю, моя голова. Завтра надо нести барину полтину или целковый за потраву, иначе не выпустит Белку. Отнесли-таки горбачу целковый. И отец задал лупку мне не хуже бариновой. А за что?.. Случай этот преподавал мне еще один, весьма чувствительный урок политграмоты. Он был прописан плетью по моей спине...

Старооскольские купцы, братья Поваляевы, имели в городе магазин сельскохозяйственных товаров и лучшую в уезде вальцовую мельницу. Кроме того, ежегодно в конце августа Поваляевы ездили по селам «пчел бить». Их приказчики и рабочие запрягали диких коней в длинные дроги, на которые водружали такие же длинные бочки для слива меда.

Приезд Поваляевых в Стойло был желанным событием, сильно возбуждавшим детский мир. По всему селу в те дни звенели ребячьи голоса:

– Поваляевы приехали пчел бить!

Варварское «пчел бить» ни у кого не вызывало возмущения. В Стойле записным пчеловодом был Прокоп Мижуев, высокий чернородый мужик, всегда мрачный и загадочно молчаливый. В ложине у речки стояла его пасека – дуэлянок тридцать или сорок. Посредине пасеки – крытая

лубком божница с образом святых Зосимы и Савватия, покровителей пчеловодства. На кольях плетня вокруг пасеки Прокоп понадевал лошадиных черепов: по народному поверью, они оберегали пасеку от всякого худа.

Прокоп строго запрещал приближаться к пасеке. Только издали люди видели, как он, надев на голову сетку, бесшумно и плавно расхаживал между колодками.

Рамочных ульев он не знал, выкачивать мед из сот не умел. Пчел действительно убивал дымом, чтобы взять мед. Трутни плавали в бочках.

Стойленскую детвору Поваляевы баловали. Маленькие лакомки уже знали, что надо дома брать краюхи хлеба и стоять около бочек с медом. Поднося новое ведро с ним, рабочий, с разрешения приказчика, звал:

– Кунай, ребята, хлеб в ведро! Лиж мед!

И ребята «кунали» и «лизали». Но домой никому меду не давали. Спустя недели две поваляевские приказчики развозили по селам дешевый, сладкий, нехмельной воронок, – ополоски при переработке меда и вощины. Ржаной хлеб с воронком – любимая еда стойленцев. А пышки, заведенные на воронке, – мечта!..

Крайняя бедность большинства сельчан вынуждала их расчетливо расходовать каждую корку хлеба, каждую картофелину. Долго и мучительно соображали во всех семьях, сколько лошадей, коров, овец, свиней и птицы можно оставить на зиму, чтобы они не подошли с голоду. Собак тоже держали с расчетом. Старых и уже бесполезных убивали.

Остарел наш верный Лохмач. Он все время лежал под сараем на соломе, в углу, и поднимал мохнатую, добрую голову лишь тогда, когда я окликал его и кидал что-нибудь поесть. Он уже ни на кого не лаял, шерсть на нем свалаялась в плотные лепешки. И отец вынес ему смертный приговор:

– Андрияшка, собирай своих оглоедов – Лохмача убивать.

И ведь я любил, жалел старого пса – помню это отчетливо, но помню, к сожалению, и другое. Так как убийство ненужных собак почиталось в Стойле делом похвальным, тут же я с готовностью побежал созывать друзей:

– Айда к нам Лохмача убивать!

Охотников навалило пропасть. Накинули на шею собаки петлю и потащили со двора. Чужое недоброе, Лохмач немощно и жалобно поскуливал и слабо упирался. Вокруг валила толпа подростков с дреколем. Следом торопились детишки, даже самые малые. И я тоже бежал со всеми и кричал, как все.

Жертву подвели к краю оврага за селом. И принялись молотить палками, потом скинули на дно оврага. Туда же пошвыряли и поганое дреколье. Возвращать палки домой не полагалось.

Родители спокойно взирали на жестокость своих детей.

– Кума Федосья, чтой-то ребятишки у оврага гомозятся?

– Да ето они киселевского Лохмача убивают.

Никому даже в голову не приходило, что их дети, убивая собак, и сами звереют... Никто не учил детей любить и жалеть все живое.

Стойленская педагогика была жестока, как сама жизнь.

Городок Старый Оскол растянулся на «борове». На всех четырех сторонах он оканчивался обрывами, к которым прилепились слободы: на востоке – Ямская, на западе – Казацкая, на юге – Стрелецкая, на севере – Ездоцкая. По старым географическим справочникам, в городке до революции числилось всего-навсего семь тысяч жителей, а церквей – шесть! Что и говорить: богомольный был городок! И очень красивый! В солнечный день летом из Стойленского леса вся западная часть Старого Оскола виделась, как на ладони. Даже окна домов.

На самом высоком юру стояла двухъярусная Никольская церковь. Ее позолоченный крест сверкал путникам за много верст издали...

Отец и дядя Степан брали меня с собой в город – карулить лошадь. Они останавливались на нижней площади, как раз против Никольской колокольни. И однажды привелось мне видеть тут незабываемое событие.

Базар шумел... Но вот послышались пение хора и рвущий бас дьякона. Это служили молебен о поднятии нового колокола на Никольскую колокольню. На ней проворно копошились несколько человек, что-то прилаживая. Звонкий мужской голос подал какую-то команду, – и длиннейшие толстые канаты пересекли всю площадь пе-

ред церковью. Над толпой прозвучал возглас дьякона – и головы мужчин обнажились. Все закрестились. Затем снова команда – и сотни мужиков и баб ухватились за канаты и потянули. Канаты поднялись над землей и по ним легко, без запинки пополз вверх огромный колокол, блестя на солнце. В широком проеме колокольни он на минуту, как бы задумавшись, остановился и затем спокойно вошел внутрь. Там люди и подвесили его на толстущих перекладинах. И вскоре с колокольни полились могучие, надсадно-тяжелые, будто подземные звуки, от которых все дрожало. Новый колокол весил пятьсот четыре пуда! С тех пор его голос застилал и душил трезвон всех церквей городка.

Фашисты разрушили почти весь Старый Оскол. Недавно, ходя по его руинам, я взбирался и на груды обломков Никольской церкви. И грустно вспомнились волнующие минуты далекого детства...

Кажется, в 1900 году жители села Сокового выхлопотали постройку своей церкви. О закладке ее десятские оповещали во всех соседних селах. При этом они добавляли:

– Булки будут давать всем.

В воскресный день из Старого Оскола наехали в Соковое иереи и протоиереи, дьяконы и протодьяконы, псаломщики. На выгоне поставили столы, а на них – иконы, кандию* с водой и кропилом; положили крест и Евангелие в серебряном окладе. Все это убрали цветами, вышитыми полотенцами и сосновыми ветками.

Священнослужители облачились в парчовые одежды – и началось молебствие. Пел великолепный хор Старооскольского собора. Народу собралось множество!

По окончании молебствия священнослужители пошли кругом по линии будущего фундамента церкви. Первопредстоящий протоиерей кропил канаву, а рабочие в нескольких местах положили первые кирпичи. Закладка храма совершилась. Приспело главное, ради чего сотни ребят прибежали на торжество – раздача булок.

В старооскольских пекарнях для многолюдных торжеств пекли гигантские подовые булки – три пяди в нижнем поперечнике!

* Кандия – большая открытая посуда для освещения воды. – А.Т.

На повозках привезли такие «горы» из города в Соковое на закладку церкви. Женщины разрезали их на куски в три фунта весом. Возле столов стоял священник с крестом. Люди прикладывались к кресту и тут же получали по куску мягкой, душистой булки.

Через 62 года после этого события я посетил свою родину. Осмотрел и Соковскую церковь, на закладке которой я впервые в жизни видел, как бедный люд ел вволю белый хлеб. Только ныне в ней хранят зерно Соковского колхоза...

Большим храмовым праздником в Стойле почитали аспос – Рождество Пресвятой Богородицы. В эту пору, в сентябре, у нас еще стояло солнечное бабье лето. Гости съезжались поздно вечером, празднество длилось три дня. К нему готовились задолго, запасали еду. Водку брали в казенной винной лавке четвертями, а четверть – это три литра.

Улица в Монастыре неровная, много спусков и подъемов. На них ребята-озорники устраивали «смехотворище». В темноте они снимали с плетней вал, развешанный бабами на просушку, и переплетали им всю улицу. Гости на спуске гнали лошадей рысью – и попадали в паутину. Озорники ликовали.

Нашим коноводом был Терешка Рубцов, низенький, толстый, рябой парень лет двенадцати. Что он велел, мы, малыши, делали беспрекословно. И никто не смел противиться ему. На второй день Аспоса, когда по всему селу неслись пьяные песни, Терешка собрал Мишку, Карпушку и меня и приказал:

– Налейте из четвертей по бутылке, и пойдём к Киселям в омет соломы. Будем гулять, как мужики и бабы!

Четверти хранились в погребках. Мы забрались туда и утащили по бутылке сивухи. Засели в омете. Терешка, подражая взрослым, налил водку в стакан:

– Будьте здоровы! С праздником!

Полночи мы, три молокососа, провалялись в соломе, пока нас не нашла бабка Мавра...

Мало у стойленских ребят было зимних и весенних игр и развлечений: лодыжки (бабки), катанье на салазках, коньках и кругляках, карусель, карты – вот и все. В лодыжки играли на улице и на речном льду. Кон ставили поперечный и продольный. Били свинчатками и железками. Для

изготовления свинчатки брали самую большую лодыжку, сверлили в дне ее дырку и наливали туда расплавленного олова или свинца. Свинчатка становилась тяжелой и удобной для швырка.

Ловкие ребята наколачивали лодыжек за день по полной сумке и продавали их – на копейку шестерку.

Коньки из дерева стойленцы-спортсмены делали сами. Подбивали их подрезами, привязывали к лаптям конопляными оборками* и прикручивали палочками. Катались здорово! Гор и холмов в Стойле много: и крутых и пологих, и высоких и низких, и длинных и коротких. Выбирай – кто какие любит!

Салазки строили разные – с задком и без задка, простые и расписные. А гольтепа, вроде меня, каталась на кругляках. Из замерзшего коровьего навоза вырубали топором круг, а в нем – лунку для сиденья, обливали водой – и на мороз. Буравцом просверливали дырку, а в нее поводок – катайся на здоровье! На кругляке удобно было кататься: он скользил лучше, чем салазки, упасть с него нельзя, а когда он несся с горы, то вертелся как бес!

Весной стойленская детвора знала лишь одну игру – в лапту. А на Пасху всю неделю кружилась на приезжей карусели и трезвонила на колокольне Бродчанской церкви. Ребята побольше – те дулись в карты на деньги да на леденцовые конфеты, что покупали в лавке купца Иванова...

От хронического недоедания почти у всех стойленских детей развивались малокровие и истощение. Они по пальцам считали дни, нетерпеливо ожидая Масленицу.

Весь год бабка Мавра копила в корчажках сыр и коровье масло, которые сберегала к Масленице. Со среды до заговенья мы лакомились блинами. На молоке и масле стряпали нам и «орешки», нечто вроде коржиков. Но в один какой-то, не помню год, все детские надежды на Масленицу в нашей хате рухнули. Зять бабки Абрам, переселившийся в Омскую губернию, сильно разбогател. И пожаловал к теще в гости на Масленице.

Ростом Абрам – под матицу. Белобрысый, пухлолицый, в суконной поддевке, в черных кукморских пимах, выши-

* Оборка – тонкая веревочка. – А.Т.

тых красными нитками, в плисовых шароварах. Вылитый купчина! Он бахвалился:

– У меня теперя шиснадцать дойных коров, семь подтелков, двадцать чetyре упряжных лошади, три нанятых работника, oprичь своих; сорок свиной и две сотни овец...

Посадила бабка желанного зятка за стол блины есть. Ребятишки – все на печь – смотреть, как бабка будет потчевать сибирского гостя. Думали, по-нашему: растопит в черепушечке масла, возьмет помазок из куриных перьев, шоркнет по блину раз-два – кушай зятек! Ан, нет! Он по-сибирски ел блины: свертывал из них трубки, зачерпывал ими масло – и сразу в рот! Так он за один присест и слопал все масло из черепушки, сбереженное для всей семьи. Прощай, наша Масленица! Нам достались блины с простоквашей...

А «орешки» в тот год пекли уж не на масле, а на обpате.

На середине Великого поста приходился день сорока мучеников... В этот день пекли детям «жаворонков», которые были дополнительным питанием.

С нетерпением ждали ребята великопостное говенье. В пятницу говельщики шли вечером в церковь на исповедь. Ребят священник исповедовал группами. В темном кутке церкви, освещенном одной свечкой, в таинственном полумраке, он подводил ребят к аналою, на котором лежал крест, накрывал епитрахилью головы «грешников» и ясным шепотом сыпал вопросы: «Почитаешь ли родителей? Не ел ли скоромное в среду и пятницу? Молишься ли богу? Не сквернословишь ли? Не крал ли чего?»

На все эти и другие вопросы мы отвечали одно: грешен. Батюшка делал перстами крестообразно чetyре надава поверх епитрахили, читал молитву, из которой я понимал, что все наши грехи прощены. Мы целовали крест и руку батюшки, клали ему по три копейки, довольные, что очистились от грехов, бежали за ограду, где в то время стояли сани с кренделями и булками. Все говельщики забивали ими свои «мамоны». На говенье ребятам дома давали по пять-шесть копеек, а то и по гривеннику. На все эти деньги они покупали бублики и булки и пожирали их в церковной караулке, запивая холодной водой. Это был настоящий пир! Ели сверх всякой меры, зная, что скоро в церкви

прочтут «Правила» – и тогда уж в рот ни крошки хлеба, ни капли воды до завтрашнего причащения. А причащаться тоже выгодно было: ведь дьячок давал говельщикам запивать вином из серебряной чашечки и заедать кусочком профоры. При этом он беспрестанно пел: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите».

И опять же говельщики, у кого оставались деньги, бежали за ограду, покупали и ели булки. Вот за что мы любили говеть в Великий пост!..

Терешка был диктатором в компании монастырских ребят, но все они всячески старались втереться к нему в друзья. Однако он приблизил к себе лишь троих: Карпушку, Мишку и меня. Терешка уже два лета подряд стерег калмыковских свиней. За проворство полюбили его господа и подарили ему старые сапоги, две рубахи, портки и картуз с барчонка. А дочка Николая Егорыча, Анечка, нет-нет да и совала Терешке то белый пирожок с печенкой или рисом, то конфетку, то сладкий рожок*.

Примерно за неделю до рождества Терешка собирал нас, и мы приступали к репетициям. Он нигде не учился грамоте, но от кого-то знал наизусть тропарь и кондак – церковные песни, посвященные празднику. И мы их пели до хрипоты.

С Терешкой выгодно было ходить. Он мог надавать конкурентам, а их по селу водилось немало. И мы пробивались даже к господам, а там уж каждому приходилось по пятиалтынному деньгами, по пирожку с печенкой да еще по гусиной булдыжке. Это – обязательно.

Под самое Рождество шла у нас генеральная репетиция. Не смыкали глаз, чтобы не проспять и первыми проскочить по селу еще до звона к заутрене. Первым христословам, известно, больше давали! Мы в каждый поход набирали копеек по пятьдесят на брата да еще конфеты, пряники, орехи. А последний наш поход окончился плачевно.

Урвав хорошую добычу у господ Калмыковых, Терешка вздумал провести свой квартет кратчайшим путем к Сухотиным. Махнули не по дороге, а через поле, через небольшое озеро, покрытое тонким льдом. И все провалились,

* Рожок – плод дерева.

искупались в ледяной воде, а не утонули только потому, что воды там было по грудь. Обледеневшие, пустились домой, кляня вожака и его затею. Все христославы схватили воспаление легких. У Карпушки оно перешло в туберкулез, который и свел его в могилу...

В этой главе я рассказал о некоторых сохранившихся в памяти наиболее типичных и «светлых» эпизодах из своего детства. И уж по ним можно судить, сколь же тускла, бедна и безрадостна была жизнь молодежи дореволюционной русской деревни, которую извечно душила «власть тьмы»...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ПОЭТИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТСТВА

Осколец – совсем немудрящая речушка. Но сколько поэтичных уголков на ней и около нее встречается летом! В одном месте она капризно изогнулась, образовав тихую заводь, покрывавшуюся толстыми темно-зелеными «блинами», а над ними горели бесчисленные желтые и белые огоньки – лилии.

На левом берегу ее, вблизи мельницы, раскинулась ольховая барская роща с неумолчным грачиным граем. По правому берегу легла длинная мочежина с густыми кустами черной смородины, колючей куманики и тонкими стеблями хмеля. Зайдешь, бывало, в эти кусты – и рвешь душистую смородину и куманику, сколько душе угодно! А от аромата – в голове круговерть!..

Мимо ольховой рощи тек ерик. В нем ребята купались, залезали руками в норы, вытаскивая из них раков и линей. За калмыковской мельницей, над самой стежкой, что вела в село Бродок, возвышалась гора, вся поросшая лещиновым орешником, яблонями, грушей и калиной. Бродишь по этой горе – и слушаешь, не слушаешься иволг, горлинок, соловьев, кукушек и разных мелких пернатых певуний.

С горы виден пруд, окаймленный буйными камышами – пристанищем дичи. И каждая камышинка к концу лета увенчивалась темно-коричневой бархатной продолговатой головкой.

На влажной стежке, на солнцепеке, свившись в клубки, грелись ужи. В нескольких местах из-под горы пробивались холодные ключи с кристальной водой. Зачерпнешь ее горстью или картузом и пьешь, как мед. До чего вкуса! И холодна так, что зубы ломило, а простуды от нее – никакой!

А если поплывешь на лодочке по Оскольцу вниз, к Старому Осколу, и будешь держаться ближе к берегу, то над твоей головою часто будут висеть ветки садовых яблонь, груш, бергамотов, слив и гирлянды хмеля!..

Бытовая картина старой курской деревни невозможна без нищих с надетыми на плечи крест-накрест сумками, без слепцов-лирников с маленькими поводырями. Нищие все до единого пели, и пели не как-нибудь, а согласно, на два, на три, на четыре голоса, да еще под аккомпанемент жужжащей лиры. В их жалобном «Милосердия двери отверзи нам» я чувствовал своеобразную гармонию и неизъяснимую красоту. Какая-то сила влекла меня шагать и шагать за нищими, пока не обойдут все село. Я слушал бы их бесконечно.

Сторона Курская – истари певучая. Недаром моих земляков в шутку зовут «курскими соловьями». И правда что: в Стойле, например, пели все, начиная с детей младшего возраста. А истые любители вокального искусства зимой по будням устраивали вечеринки с состязанием певцов: солистов, дуэтов, трио, квартетов и хоров. На Монастыре это происходило у портного Федора Топорова, на Середке – у Прохора Черникова, на Бугрянке – у Митрофана Прасолова, на Луганке – у Андрея Чунихина. Хаты, где состязались певцы, набивались слушателями до отказа...

Во всех церквах Старого Оскола пели прекрасные хоры. Богатые купцы привозили из Москвы и Петербурга хороших регентов, платили им солидные деньги. А купцы, братья Шараповы, торговавшие скобяными изделиями, сами пели октавой в соборном хоре. Могутные были эти Шараповы. Ростом – богатыри! Шеи бычи. Глотки – трубы иерихонские...

Мало-мальски грамотные стойленские энтузиасты «партезного» пения ходили в город к обедне, чтобы послушать настоящие хоры. Иной раз увязывался за ними и я. Возвращаясь из города, мужики всю дорогу делились впечатле-

ниями, оживленно наводили критику на исполнение «херувимских», «верую», «милость мира», концертов и прочих песнопений. В их разговорах я впервые услышал имена композиторов Бортнянского, Турчанинова, Строкина, Архангельского, Давыдова, Березовского, Львова, Галуппи, Соколова, Смоленского, Кастальского и др.

По праздникам в зимнюю пору к сестре Катерине собирались в хате девки и парни. Помимо частушек про миленка, они пели и протяжные песни: «Ой, да ты, Калинушка», «Коробушка», «Клен-деревцо наклонилось» и много иных.

Танцевали кадрили, польку, краковяк и лезгинку. Парни отхватывали барыню, камаринскую и перепляс без названия, но под зазорную потешную припевку:

*Ходи, хата, ходи, печь,
Хозяину негде лечь...*

Мне особенно полюбилась игра девок и парней в «Дрему», сопровождавшаяся очень мелодичной песней. Посредине хаты на скамейку садилась девка и изображала дремлющую, а все другие участники, взявшись за руки, ходили вокруг нее и пели: «Ты целуй, Дре-ма, целуй Дре-ма, кто понравится тебе».

И девка-Дрема, поднявшись со скамейки, целовала избранника или избранницу, которые садились на ее место, и игра продолжалась.

Свадьбы в Стойле справлялись большей частью в мясоед. Достаточные крестьяне нанимали оркестр, тут они и играли на морозе – три скрипки, труба, контрабас, барабан.

Свадебный поезд на гулянке состоял из пяти-шести саней, заполненных ее участниками. На задках саней – цветастые ковры, под дугами – колокольцы и бубенцы, а сами дуги обвиты вышитыми полотенцами, в гривы лошадей вплетены разноцветные ленты.

Мужики в сапогах и суконных поддевках, в нагольных полушубках с оторочкой и расшитой грудью, а бабы – в саках и шубках с хорьковыми воротниками, в ярких платьях, платках и шалях.

В лучших санях, на высоких подушках восседают «молодые», мило беседуют и счастливо улыбаются. Поезд не-

спешно движется по улице и часто останавливается. Его окружают толпы зрителей. На остановках подвыпившие гости пляшут под музыку, а дружка, перевязанный наискось полотенцем с махрами, балагурит, держит в левой руке штоф с водкой, а в правой стакан, «подносит» всем, кто попадает ему на глаза. А поддружье горстями подбрасывает над толпой конфеты, пряники, медные монеты.

Музыканты – все цыгане из Гусевки, окраинной улицы Старого Оскола. На ней жили одни оседлые цыгане, так она и звалась «цыганской». И эта улочка подарила миру знаменитого скрипача Михаила Гавриловича Эрденко. Отец его, дед, прадед тоже были скрипачи, сам он с пяти лет выступал в концертах, позже окончил Московскую консерваторию, совершенствовался у Эжена Изаи в Брюсселе, был знаком с Л.Н. Толстым, всю жизнь посвятил пропаганде искусства в народе. Мне посчастливилось быть на его концерте в Москве в 1936 году.

Но первый скрипач, которого я слышал в жизни, был наш стойленский сосед – бондарь Гаврила. Видимо, цыгане воодушевили его на изготовление скрипки. И этот молчаливый богатырь, чужак с душой кроткого ребенка, забросив надолго кормное ремесло, сделал-таки неуклюжий инструмент и «лучок» из горбатой березовой палки. Вместо струн натянул какие-то жилы, но скрипка звучала – это я помню. Вечерами он усаживался на завалинке, склонял набок голову и наигрывал плясовые мотивы. Слушатели сбегались со всего Монастыря и даже с Середки!

Нынешним детям не понять времени, когда только так мы и знакомились с искусством. Ни кино, ни телевидения, ни радио не было, концертов в клубах мы не знали, да и самих клубов не ведали. Хотя и то замечу, что уж, когда дорывались до музыки, пусть самой примитивной, то слушали. А теперь, глядишь, лучшие музыканты страны и мира входят, благодаря голубому экрану в наши дома, а молодежь и головы к ним не повернет. Да и само телевидение не особо оглядывается, слушают его или нет...

В страстную неделю Великого Поста мысли и чувства всех стойленцев сосредотачивались на «страстях Христовых». Сострадание мифическому мученику за грешный род человеческий внушали и детям.

С трепетом ожидал я воскресения Христа, которое понимал как победу над всеми злодеями мира...

К чистому четвергу бабы старались прибрать все в хатах, побелить их внутри и снаружи. Взрослые вечером шли со свечами к «стоянию». Это была самая трогательная, скорбная служба, на которой читались двенадцать Евангелий, изображающих страсти Христовы. При чтении страсти молящиеся возжигали свечи, после чтения – тушили их. И так – двенадцать раз. После чтения каждой страсти – на колокольне звонили столько раз, сколько Евангелий было прочитано.

Все ходившие «к стоянию» должны были приносить домой горящие огарки. А чтобы в пути они не потухли, их бережно несли в бумажных и стеклянных фонариках, заранее купленных в городе.

Шествие с этими фонариками – дивное зрелище! Ради него я не спал до поздней ночи. Садился у окна и напряженно всматривался в темноту. По Бродчанской горе полукругом спускалась дорожка. По ней возвращались из церкви люди с фонариками. Пояс из синих, зеленых, красных, голубых и желтых огоньков, извивался, будто волшебное живое существо. Не мог я оторвать глаз от окна до тех пор, пока огнистый пояс не потухал где-то под горой!..

Пришедшие домой со священным огнем богомольцы коптели им кресты на дверях, матицах, божницах и окнах хат. Эти кресты почитались стражами против нечистой силы...

Меня и ныне поражает тысячелетняя живучесть легенды о Христе. Сколько искусств оплодотворено ею! И в этом – ее исключительное значение в общечеловеческом прогрессе...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. БРОДЧАНСКАЯ ШКОЛА

Ученье мое началось 1 сентября 1900 года.

Школы в Стойле не было. Приходилось ходить за шесть верст – в церковно-приходскую школу села Бродка. Школа – сущая изба на курьих ножках. Три отделения ютились

в одной комнатухе. Сидели по пять-шесть человек на одной длинной парте.

Наглядных пособий – никаких, кроме разрезной азбуки, таблиц «коренных слов» с ненавистой буквой «ять» да картинок, изображающих события двенадцатых праздников. Картинки были изданы по-лубочному красочно, зазывно. Всем ученикам выдавали аспидные доски, грифели, тетради, ручки, чернила и прописи.

Первачки учились читать по букварю, а считать – по задачнику Гольденберга. Объяснительное чтение велось по книгам «верноподданной и благочестивой» любимицы синода Клавдии Лукашевич. Начатки грамматики проходили по учебнику Некрасова. Больше всего зубрили молитвы.

В старшем отделении грызли Псалтырь царя Давида и премудрости Часослова. Приходилось изучать «чины» различных служб и обрядов, названия церковной утвари, богослужебных одежд патриарха, митрополита, архиепископа, епископа, протоиерея, иерея и так далее.

Возрастной состав учеников был чрезвычайно пестрым. В одном и том же отделении разрешалось сидеть хоть до женитьбы. Поэтому рядом с девятилетними мальчишками сидели иногда верзилы, способные ворочать бревна. Вдалбливали молитвы наизусть, скандировали хором слоги из учебника церковнославянской грамоты Ильминского: «Бра – вра – гра – дра – жра – зра – кра...» – к сочетанию «РА» надо было прибавлять все согласные буквы. Или «Бри – ври – гри – дри – жри...»

Учил нас дьякон Михаил Аушев, изгнанный из духовной семинарии за усердное пьянство. Высокий, атлетически сложенный, с синими глазами и золотистой копной волос, он выглядел писаным красавцем и покорила в приходе сердца многих девиц и молодых жен, за что ему не раз попадало от попа. Во время богослужений в каждом рассчитанном движении дьякона, в каждой интонации его баритона чувствовался даровитый артист.

Служил он не только богу, но и мамоне – по совместительству занимал должность управляющего у помещицы Шамшевой. Две ее дочки, Сонечка и Наташа, весной или погожей осенью заходили в школу. Их галантно встречал дьякон, а мы дружно, как он нас научил, гаркали:

– Здравсте!

Барышни усаживались на парты возле ребят. Они были прелестны. Наташа – розовощекая брюнетка, Сонечка – светловолосая, близорукая, в пенсне со шнурочком. Иногда она подсаживалась и ко мне. Водя тонким пальчиком по строкам книги, тихо шептала:

– Прочти это... А это?

Я читал, тоже шепотом, она утвердительно кивала головой, улыбалась, и меня рапирала радость от этой улыбки. Девипцы приходили в одинаковых платьях – то в нежно-зеленых, то в голубых, то в розовых. Они казались нам призрачными, невесомыми, на всю школу разливалось от них благоухание тонких духов, которые, по словам дьякона, получали они из Парижа.

При барышнях он делался ласковым, мягким, и мы всегда ликовали, увидев в окно, что Сонечка и Наташа идут к нам на урок.

В прочие дни дьякон бывал суров, но нередко приходил в сильном подпитии, и тогда школяры прыгали от радости: занятия отменялись, за уши он никого не драл, без обеда не оставлял. Наш наставник болтал без умолку, шутил, пел. Свои «выступления» заключал любимым своим хореографическим номером, исполняемым под бессмысленную припевку:

*А чувиль-мачувиль,
Чувиль-навиль,
Виль-виль-виль!..*

Тут дьякон неистово кружился на одной ноге, и его подрясник превращался в круг, наподобие «оперения» у балерины. Когда танцор изнемогал от круговерчения, мы, не зная слова «бис», орали по-деревенски:

– Отец дьякон! Еще!

– Давай!

– Еще!

Дьякон Аушев писал очень красиво, бисерным почерком. Мне это нравилось, я старался ему подражать. Иногда, должно быть сам утомившись от бесконечных молитв, он читал нам басни Крылова, сказки Пушкина. Читал однажды

«Тараса Бульбу». Глубокие интонации его голоса, точные жесты и мимика раскрывали перед учениками всю прелесть живописного слова.

Кроме того, дьякон учил нас петь по нотам, а иногда, под настроение, интересно рассказывал о великих русских композиторах – Глинке, Чайковском, Рубинштейне, Римском-Корсакове, Даргомыжском, Бородине. И не только рассказывал, но мастерски пел их произведения: в духовной семинарии умение петь ценили высоко.

Ученики Бродчанской школы любили подпраздничные спевки хора. На них собирались в церковную караулку дети и взрослые. Певцы тащились и в сильные дожди, и в зимнюю стужу из самых отдаленных сел прихода. Под управлением дьякона и его подручного – Дмитрия Ивановича Золотых, нестерпимо рыжего, курчавого стойленского мужика, обладавшего пронзительным тенором, певцы по целым ночам разучивали «партесные» песнопения. Напевшись досыта, они ложились вповалку прямо на холодном кирпичном полу, чуть притрушенном соломой. А ночевали в караулке затем, чтобы завтра хор не опоздал к началу заутрени...

Что привлекало простых деревенских людей к церкви? Меньше всего, ответил бы я, религиозные догмы и священные тексты, написанные на чуждом, непонятном им языке. Влекли содержащиеся в службах крупницы искусства, тяга к которому присуща и заскоружлым людям. В бродчанской церкви были и элементы архитектуры, и живопись, и лицедейство, и музыка. Все это нисколько не походило на крестьянские лачуги, где всю жизнь мои односельчане тонули в грязи и зловонии, где неизбывная нищета, болезни, ругань терзали глаза, уши и сердца обитателей.

В школе нас учили читать, похуже – писать, еще хуже – считать. А главным предметом был закон божий. За мою памятьливость законоучитель отец Александр Фирсов благоволил ко мне. Иногда зазывал в «учительскую» – маленькую каморку с двумя табуретками, кривоногим столом и замызганным диваном. На стене висели старинные часы, за обсиженным мухами стеклом качался маятник, похожий на полную луну. В школу отец Александр являлся прямо с

обедни и приносил в узелке «всякое благое даяние» – булки, крендели, курятину, блинцы.

– На-ка вот, Адриан, поешь.

Мы с ним ели молча, и я сделал для себя удивительное открытие: батюшка жевал и глотал пищу так же, как и я, как все люди! Длинный, худой, с прямыми волосами, он всегда был печален. Ведя занятия, тяжело шагал по проходу и все думал о чем-то... и вдруг вспоминал об уроке:

– Никулин Емельян! Прочитай мне молитву святому духу.

Емельян барабанит текст, а отец Александр, забыв о нем, повторяет последние слова молитвы:

– И спаси, блаже, души наша... Так... И спаси, блаже, души наша... И спаси, блаже, души наша... Так... Ну, садись, Емельян.

И опять шагает, шагает молча.

А горевать и задумываться нашему вероучителю было о чем. Завелись у него деньги, и купил он двухэтажный дом в Старом Осколе. Дочь отдал в прогимназию, попадая переехала в город, чтобы за нею приглядеть, а сам батюшка остался в Бродке, лишь изредка наведываясь к ним. Гонясь за деньгами, сдал второй этаж своего дома уездному воинскому начальнику, бравому полковнику. А матушка-то была красавица, как в песне поется – белолица, круглолица. И дочка удалась в мать. Вот и стряслась беда: полковник уехал с попадьей невесть куда, а следом и сын полковника, студент, исчез с поповной из Старого Оскола. И остался отец Александр с десятилетним сынишкой да с престарелым родителем, заштатным протопопом. Потому и печалился.

Во флигеле большого поповского дома доживал заштатный протопоп Василий, девяностолетний старец. Совершенно облезшая его голова напоминала надутый бычий пузырь, от когда-то густой бороды остался один клинышек. Ходить за ним было некому, и отец Александр решил водворить меня в приживальщики к ветхому священнослужителю. Мой отец, понятно, обрадовался: еще бы, сбыл с хлебов на всю зиму! К тому же и честь: не всякого возьмут в дом к попу, это тоже надо понимать.

Так я и прожил зиму со старцем. Никаких разговоров мы не вели, в покоях его всегда стояла гнетущая тишина.

Мое место было в передней, там и читал – одно церковное. Ночью доносилось из комнаты старческое кряхтение, невнятный шепот молитв. Кухарка кормила меня вечными щами и пшенной кашей, изредка совала сайку; саяк этих, приношений прихожан, был полон амбар. Протопопа она кормила отдельно. Ранней весной он отдал богу душу, и я получил свободу...

Приходские школы инспектировали редко. Уездный наблюдатель появлялся раз в год, а уж приезд епархиального был событием чрезвычайным. Едва он отбывал из Курска, как по всей епархии летела весть:

– Протоиерей Каплинский едет!

Священники и дьяконы дрожали от страха, до темна натаскивали школьников, репетировали заранее вопросы и ответы. В мою бытность учеником Бродчанской школы всего лишь один раз накатил в нее протоиерей. И случился на уроке закона божьего скандал.

Во втором отделении на задней парте сидел шестнадцатилетний Сеня Легалов, оболтус и лентяй. На вопросы учителей он вовсе не отвечал, на него махнули рукой, в старшее отделение перевели только потому, что отметок у нас не ставили. И вот дернула нелегкая отца Александра задать нам мудреный вопрос:

– Кто мне назовет три ипостаси божества?

А мы и слова такого не слышали – «ипостаси».

– Ну, кто же скажет?

Молчание. Учителя наши смущаются, краснеют. Приезжий протоиерей сердито уткнулся в книгу. И вдруг Сеня Легалов поднял руку. Батюшка просиял:

– Вот видите, детки, Сеня знает. Он сейчас скажет, сколько ипостасей у божества, а вы его послушайте и хорошенько запомните. Ну, говори, Сеня.

– Дозвольте в нужник!..

На святках в Бродчанской школе устраивали елку. Средства на нее давали благотворители. Они же на празднике были почетными гостями.

Елку украшали довольно богато. Увенчивалась она фигурной верхушкой; на веточках горели правдишные свечи и висели бумажные хлопушки, барашки, козлики, коровки,

лошадки, орешки, яблоки, покрытые порошковой бронзой и серебром.

Под руководством дьякона школьники выступали с аттрализованным чтением басен Крылова, с декламацией стихотворений и хоровыми номерами. Ходя вокруг елки, они пели простодушно-сентиментальную песенку:

*Из бумажки петушка
Мама смастерила,
Разукрасила бока,
Гребень приклеила.
И, любуясь петушком,
Лидочка присела
И веселым голосом
Песенку запела...*

Дальше в этой песенке говорилось, как Лидочка просила петушка полететь к бедным детям, сесть к ним на окошко и тем порадовать их немножко...

А для увеселения гостей-благотворителей школьный хор исполнял комическую песенку под названием «Артисты»:

*Мы – славные артисты,
На всем играть умеем,
У нас есть кларнетисты,
Так же и флейтисты.
Вот, например, вот, например,
Вот вам флейта.
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Вот вам флейта!*

Подобные куплеты пелись затем про кларнет, трубу, скрипку и турецкий барабан. В припевах подражали кларнету – «Ту-ту-ту», трубе – «Тра-та-та», скрипке – «Ти-ли-ли», турецкому барабану – «Бум-бум –бум!». В заключение добавляли две строчки:

*Вот, вот, вот,
Вот так мы играем!*

Теснота помещения не позволяла затевать никакие игры. Танцы считались непристойностью. Музыки не было.

Заканчивалось торжество раздачей ученикам кульков с конфетами и пряниками. А игрушки с елки разыгрывались по жеребьевке. Мне сверх доставшейся по жребию игрушки – за лучшие успехи в лицедействе и декламации – вручили верхушку. Это – вроде нынешних спортивных кубков. Верхушка с елки почиталась в моей семье реликвией. Ею гордились и ставили на божницу рядом с иконами...

В Стойле жил богатый и многосемейный мужик Дмитрий Павлович Золотых. Две половины его дома разделяли просторные сени. В комнатах – деревянные крашенные полы, стулья, шкаф с чайной посудой, ведерный самовар. В «святом» углу горницы – иконостас, а перед ним – угольник, накрытый «городской» скатертью. На парадной кровати – гора перин и подушек. Стены обклеены обоями.

Сам Дмитрий Павлович «ходил» подктитором Бродчанской церкви. Значит, человек высокочтимый во всем приходе.

Я учился уже в третьем отделении, как зимой умер отец Дмитрия Павловича. Похороны намечались торжественные, с певчими.

Дьякон прервал занятия в школе, собрал весь приходской хор. Учеников повели в Стойло. Оттуда в сильный мороз несли покойника в церковь – отпевать. Всю дорогу хор пел «Святой Боже», «Со святыми упокой» и другие песнопения на каждой литии*.

А эти литии в пути повторялись через каждые 50–100 шагов. Чем богаче покойник, тем чаще причт останавливался и правил литию.

Пока несли покойника, пока отпевали его в церкви и на кладбище, наступил вечер. Уже в темноте певчие возвращались в Стойло на поминки. Я весь изморозился, устал и зверски проголодался. Зная, что попаду на обильные поминки, я утром дома не завтракал и в школу не взял и куска черного хлеба. Словом, – «подготовился».

И вот мы, певчие, засели за столы. Бабы-приспешницы завалили их старооскольскими калачами, холодцом с квасом, белой лапшой с гусятиной и сахаром, жареной свиной, курятиной, утятинной...

* Лития – заупокойное молебствие. – А.Т.

Я ел без меры и разбора. Но едва добрал до своей хаты, как почувствовал мучительные схватки в животе. Влез на печь и взвыл от нестерпимой боли и рвоты.

– Перехамкал! – определил дядя Степан причину моих мук.

Меня крючило все сильнее и сильнее. Бабка и мать мочили тряпку в холодной воде, терли ею по моему вздутому пузу и кричали:

– О, господи! Вот грех-то еще какой! Да с чего ж это тебе подеялось?!

– Да как же ты не поберегся?! Нутре так можно повредить...

Мучился я долго. Насилу отходили меня... И до сих пор помню тризну по богатому покойнику...

Ночевки в церковной караулке доставляли мне несравненное удовольствие. Сторожа Иван и Андрей – люди бывалые, разговорчивые. Чего они только не рассказывали! Лежишь на печи и слушаешь их бесконечные истории. А утром рано, еще до звона к заутрене, обязательно приходил в караулку пономарь Егор Иванович – седой старик, такой же грузный, как чугуевский протодьякон на картине И.Е. Репина. В приходе он слыл заядлым охотником-зверобоем. Если бы его рассказы записать, то получилась бы книга, вроде приключений барона Мюнхаузена.

Наряду с охотничьими выдумками, Егор Иванович рассказывал много интересных былей из жизни, когда он учился. Не могу забыть его рассказ о том, как бурсаки изобретали искусственные способы запоминания «восьми» гласов, т.е. напевов «Господи, возвах к тебе, услыши мя...». Эта молитва пелась на каждой службе на один на определенный «глас» и задавала тон всем остальным песнопениям. Прежде чем начинать заутреню – причт сверялся с богослужебным уставом, на какой «глас» сегодня петь.

Ученики церковных школ должны были уметь петь на все восемь «гласов». Это служило мерилom успеваемости. А Егор Иванович знал потешные способы легкого запоминания «гласов».

– Ну, вот слушайте, – говорил он, – я спою вам на пятый «глас».

И сотрясая бороду, ревел корявым басом:

*Идет мужик с граблями,
Сидит сова на яблоне.
Сова кричит: Не бей, не бей,
Дам тебе пару голубей.*

Ночевки в караулке приманивали меня и моих товарищей еще и потому, что сторожа Андрей и Иван позволяли нам лазать на колокольню – звонить и трезвонить, а туда, брат, не всякого пускали! Дядя Иван учил нас вызванивать на колоколах разные плясовые песни, даже камаринскую.

В церковной ограде сохранился старинный белокаменный сарай с ямой, прикрытой толстой железной полосой. Это – склеп помещика Пущина. Сказывали, что гроб с мертвецом висит в яме на цепях. В углу сарая лежал древесный уголь для кадила. За этим углем и посылал нас Иван. Входить ночью в склеп было и жутко и любопытно. За помощь ему дядя Иван лакомил нас медом. Те богомольцы, которые поминали родителей, приносили в церковь сайки, крендели, блинцы, рисовую кутью с изюмом и мед. В чайную чашку с медом втыкали копеечную свечку. Перед окончанием обедни старушки в церкви ходили по народу и предлагали: – Помяните родителей.

Поминальщик выдергивал свечку, облизывал ее и втыкал обратно в чашку.

Оставшийся мед домой не уносили, а сливали его в специальную медовницу, стоявшую на панихидном столе в церкви. Этого сливного меду накапливались фунты. Им-то и угощал нас дядя Иван. Не зря мы ходили в церковь. Был прок. В дни праздников панихидный стол заставляли всякой съедобной всячиной.

Ловкие ребята ухитрились к одной и той же старушке подойти и помянуть раза по три. А это – три чайных ложечки кутьи с изюмом да три слиза меду со свечки, да кусочек просвирки! Походишь таким манером по всей церкви – и сыт. Да тем сыт, чего дома никогда не съешь!

Для черпания кутьи мы придумали лукавый прием: ложечку совали не в россыпь риса, а поддевали ею комки. Так больше в рот попадало.

А старушек мы внимательно изучали. И поняли, что к свежей и востроглазой подходить опасно: осрамит. Я одна-

жды нарвался на такую. Кутья у нее была крупная, изюму – густо, блюдо глубокое и ложечка – почти суповая! Подошел я к старушке второй раз, а она мне и брякнула:

– Ты, мальчик, уже поминал у меня. Иди с богом!

Я и умылся... Юркнул от нее в толпу, притулился около свечного ящика, стою. Я вижу: налево от меня молится барыня – жена офицера Алексея Николаевича Калмыкова. Бабы говорили, будто он ее в Москве отхватил: ядреная, красивая!.. Заметил я у барыни в руках большую подрумяненную просвирку, ничуть не ломанную. Думаю: как бы отломить кусок от этой просвирки? Решил я испытать свои «представленские» способности. Опустился на колени, сделал жалостное лицо. Крещусь с нажимом пальцев на лоб, на грудь, на плечи, возвожу очи горе, бью земные поклоны, вздыхаю, а сам кошу левый глаз на барыню. Она пристально и сочувственно смотрит и смотрит на меня. Пронял-таки я ее: отломила она от просвирки головку и подала мне:

– На, мальчик.

А я сейчас же размахнулся широким крестным знаменем и произнес:

– Царство небесное родителям!..

– Нет, нет, мальчик... Помяни за здоровье Алексея и Нонну.

Артистический дебют мой удался...

Деление людей на классы продолжалось и после их смерти. В Бродчанском приходе бедняков хоронили на окопанном участке среди голого поля, за версту от церкви, а богачей и духовных лиц клали в церковной ограде. Тут же погребли и старую Калмычиху. Сыновья водрузили на ее могиле невиданный в наших краях памятник – беломраморную скульптуру скорбящего ангела. Сотни раз стоял я перед этим ангелом, трепеща и восхищаясь искусством неизвестного мастера. До этого ангела я не видел ни одного истинно художественного творения. И в эту минуту я мысленно вижу калмыковского скорбящего ангела, и сердце обливают сладостные волны...

Ни одна религия мира не получила бы могучей власти над душой народа, если бы ее голые догмы не были облечены в поэтические формы всех искусств. Религиозные мифы также,

как и все иные, щедро оплодотворяли творчество величайших зодчих, поэтов, живописцев, скульпторов, музыкантов всех времен и народов. Но чуть ли не самым мощным источником, из коего черпали вдохновение гении, создавшие бессмертные шедевры искусства, был миф о Христе.

В обрядах православно-христианских праздников – что ни говорите – море поэзии. В этих обрядах пленяет не только религиозная сущность, но и поэтичность. Мы достаточно культурны, и потому хорошо понимаем их происхождение. Знаем и то, что они – вариации древнеязыческих празднеств, посвященных радостным и животворным явлениям природы. Недаром знаменитый русский композитор Н.А. Римский-Корсаков досконально изучал все ритуалы православно-христианских праздников, видя в них образное отражение древнего мировоззрения народа Великой Руси...

В детстве наибольшее впечатление производили на меня два «годовых» праздника – Крещение и Троица. Состоя певчим в церковном хоре, я близко наблюдал все оформление этих праздников.

В Крещение после обедни, подняв иконы и хоругви, люди под пение хора и притча, шли на Пущинский пруд – на иордань. Сквозь морозный туман на пруду виднелся прозрачно-синий ледяной алтарь с расписными «царскими дверями» и аркой со словами: «Во Иордани крещающуся тебе, Господи...».

Все ледяное сооружение окружали гирлянды из сосновых ветвей. Перед алтарем лежала длинная крестообразная прорубь.

Богатые мужики, лавочники и помещики на крещенское водосвятие съезжались на породистых жеребцах, заложенных то в парадные санки с ковровыми задками, то в узенькие зеркально-полированные бегунки с загнутыми, как шеи арабских коней, передками.

Отслужив чин водосвятия, священник погружал в прорубь крест. Хор громко пел тропарь. Кто-то выпускал вверх голубя, кто-то давал пять-десять выстрелов в воздух.

Люди кидались к проруби наперебой, зачерпывали в посуду «священную» воду – и расходились и разъезжались в разные стороны.

А дома у нас, еще натошак, бабка Мавра одевалась в вывернутый овчинный полушубок и брала икону с зажженной перед нею свечкой. Отец держал в одной руке черепушку с крещенской водой, а в другой – мочальное кропило. Следуя за бабкой, он окроплял весь выпущенный из закут на двор скот. По вере народной, это спасало его от болезней и падежа...

А Троицын день – красота невыразимая! Земляные полы, коники и лавки в хатах застилались любистком, дягилем и другими душистыми травами, цветами и ветками.

Церковь наполнялась темно-зеленым сумраком от множества трав, цветов и ветвей. В ограде ее, между утренней и обедней, важно, что павы, расхаживали сияющие девки и молодые бабы, разодетые в пестрые шелковые, атласные, кашемировые платья и платки. В руках и волосах у них – цветы. А по всей ограде разливала аромат рясно цветущая сирень! Дух захватывало от такой картины!

Весной 1903 года подошли выпускные экзамены. Дьякон Аушев даже пить перестал, нервничал все больше и нас изводил. Особенно стало тяжело, когда ученики приступили к писанию «прошения». О, эта процедура – мука мученическая! Дьякон раздал нам новые перья, нелинованные листы бумаги, транспаранты, промокашки. По образцу на классной доске мы выводили прошение:

*«В испытательную комиссию
Старооскольского отделения Курского
епархиального училищного совета
ученика 3-го отделения Бродчанской
церковноприходской школы (имярек)*

ПРОШЕНИЕ

Покорнейше прошу подвергнуть меня испытанию в знании курса обучения на предмет окончания Бродчанской церковноприходской школы.

(Подпись, дата)».

Дьякон свирепо требовал, чтобы на листе все буквы «смеялись», стояли бы, как солдаты в строю, чтобы между словами аккуратно укладывался ноготь среднего пальца, чтобы заглавные буквы были ровно в два раза

выше малых, чтобы поля отрезались как по нитке, и так далее.

Хоть одно из требований да нарушишь, и тут уж дьякон беспощадно рвал испорченные листы, бросал их в печку, опять заставлял все делать наново. Никто из нас не обошелся без слез. Прошение писали несколько дней подряд и жутко завидовали счастливым, которые, сдав бумагу, могли наконец убежать на волю.

Для экзаменов соединили две школы – нашу и Лебединскую (сейчас знаменит Лебединский рудник, открытый в том селе). Ученики прибыли в Бродок со своими наставниками – священником и дьяконом. Наш дьякон был красив, но приезжий затмил и его. Наш – светловолос, а тот – черный, лицо – матово-белое, с дергающимися мускулами. Окладистая борода сверкала, как антрацит. Не дьякон, а царь ассирийский!

Оба они оделись в новые чесучовые рясы. Собрали нас и увели за церковную ограду. Был чудесный весенний день на пасхальной неделе.

– Садитесь на траву! – сказал «царь ассирийский».

Мы сели.

– Слушайте. На экзамене диктовать буду я. Голосом знаки препинания показывать запрещено. Но вы внимательно смотрите на меня, я покажу вам все знаки. Смотрите и запоминайте!

Мы уставились на него в ожидании занимательного фокуса.

– Где нужна точка, я нажму пальцем на левый глаз – вот так... Двоеточие – нажму двумя пальцами на оба глаза, многоточие – три раза ткну себя в щеку. Запятая – дерну себя за ус, вот так... Вопросительный знак – сделаю крючок из указательного пальца. Если понадобится восклицательный знак, то поставлю палец торчком и потру им по щеке вверх-вниз. А если под носом тереть влево-вправо, смело ставьте тире. Запомнили?

– Запомнили, отец дьякон!

– Так... Вот ты повтори, как я покажу двоеточие?

– Будете колоть оба глаза.

– А тире?

– Станете шоркать под носом.

- Усвоили, значит?
- Усвоили, отец дьякон.
- Ну, ладно. Смотрите у меня! Не грешить!

Грозный взгляд его черных глаз трудно было выдерживать. И мы усвоили, что экзамены делают нам для профформы, грамота – не обязательна, обман – не грех.

Нас усадили за парты. Сторож дядя Андрей затеплил лампадку перед образом спасителя. Поднялся из-за стола приехавший из города протоиерей кладбищенской церкви. На голове его была фиолетовая камилавка, поверх рясы сверкал золотой наперсный крест. Сладко щурясь, он сказал:

– Чада мои возлюбленные! Вам надлежит дать отчет о душеполезных и душеспасительных познаниях, кои вы восприняли от своих наставников и попечителей. Вознесем же моление господу богу о даровании вам разумения и благопоспешения.

После общей молитвы мы бодро написали диктант, следя в основном за тем, как лебединский дьякон расставлял знаки препинания на своем лице. Устные испытания заключались в том, что ученики снова читали по очереди молитвы. Затем, поздравив нас с окончанием школы, протоиерей подарил всем по Евангелию. Мне, сверх того, выдали за успехи «Похвальный лист». Дома он произвел такое впечатление, что отец повесил его на самом почетном месте – возле картины «Святая гора Афон».

Однако когда дьякон Аушев посоветовал отдать меня в Каплинскую второклассную школу – тоже церковноприходскую, но уже учительскую, – отец, хоть и был фанатично религиозен, уперся:

– Знаю я этих «ученых», – ворчал он. – Хозяйство проучит, родителей поставит ни во что и бога забудет. Пойдет в работники – и все!

То же говорили дядя Степан, тетка Варвара, и лишь неграмотная, забитая, бессловесная мать тайно шептала мне:

– Уходи, сынок, из этого провалища. Уходи, учись... я хоть у братьев в Липягах выпрошу – у кого ведро картошки, у кого шматок сала, у кого махотку пшена, полпуда муки. Проживешь как-нибудь в Каплине... Уходи, учись!

Но делать было нечего: остался...

Еще учась в школе, я помогал пономарю Егору Ивановичу читать часы, паремии, каноны и прочее. А читал я четко, звонко, даже с элементами художественности. Во всем приходе я считался дошлым грамотеем. Односельчане просили меня то записать в поминанье сродственников за упокой и за здравие, то прочесть солдатские письма, то написать на них ответы. По всем этим делам я перещеголял своего отца. Писал бойко, тем более что сочинять тут ничего не полагалось. Письмо матери к сыну составлялось, например, всегда по одному трафарету:

«Его Высокоблагородию Гавриилу Афанасьевичу ЛУКАШИНУ. Пущено письмо 21 октября 1903 года из села Стойла, Казацкой волости, Старооскольского уезда, Курской губернии. Еще кланяется Вам мать Ваша Мария Степановна Лукашина от белого лица до черной земли. Живем мы ничего, того же и Вам желаем. А ржи нынче намолотили три осьмины и телушку продали в Песчанку за четвертную. Еще кланяется Вам сестра Ваша Дарья Афанасьевна Бугрова от белого лица до черной земли. А девчонка ее Ариша померла под Спиридона. Царствие небесное! Ждем с нетерпением от Вас ответа. Остаюсь известной Вам матерью Вашей Марьей Степановной Лукашиной».

Я писал эти письма, меняя лишь имена, но в одном случае здорово нарвался и пошатнул свой ученый авторитет. Марья упросила меня послать ее сыну на военную службу рубль серебром. И я взялся это сделать, а как – не знал. Но сознаться, что не знаю, не посмел. Принял от бабы серебряный рубль с профилем Николая Второго, вложил в конверт и опустил в почтовый ящик. Долго не получала Марья благодарности от сына и все спрашивала меня:

– Аль ты послал целковый Гавриле?

И я божился, что послал, но видел, что она не особенно мне верит.

Другой удар по моему авторитету нанесла тетка Варвара. Она была самолюбивая, умела шить, кроить, ткала тонкие узорные холсты, в семье хотела верховодить, дядю Степана называла «телялюем», даже с отцом вступала в споры, а уж мои познания не ставила ни во что. Как-то в воскресенье, отобедав, бабы точили лясы у дороги, я проходил мимо, и тетка окликнула меня:

– А нехай «ученый» скажет, в какой день придется Пасха на лето?

По-стойленски «на лето» означало – на следующий год.

– Скажи, скажи, Андриян! – закричали бабы.

– Объясню, – сказал я не без важности. – Подождите немного.

Достал карандаш, бумагу, занялся вычислениями. Наконец объявил:

– В пятницу.

Бабы залились смехом.

– Ты, должно быть, отуманел! – торжествовала тетка Варвара. – Пасха всегда живет в воскресенье. Хоть на сто лет вперед!

Я был посрамлен.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. КАПЛИНСКАЯ БУРСА

И все же в Каплинскую школу мне удалось попасть. В 1904 году отец меня учиться не пустил, но поздней осенью он простудился и умер в земской больнице. А на следующий год, в августе, я не признал над собой власти дяди Степана и ушел пешком в Каплино. От Стойла это большое село в двенадцати верстах, от Старого Оскола – в шести, на север.

Не забуду моей первой ночи в Каплине. Я хорошо выдержал вступительный экзамен, меня даже зачислили в хор, но пристанища не дали. И после спевки (была суббота) я долго бесцельно ходил по селу. Длинные улицы его разбежались во все стороны, и сверху, с горы, оно казалось большим пауком. Стемнело, а я все бродил и бродил. Устал и пошел в поле на огонек. Три мужика варили что-то на костре. Я присел неподалеку. По запаху определил: суп с бараниной. Пустой желудок урчал, но они не позвали меня, а я не подошел.

Мужики поели, потушили костер и ушли. Надо спать. Но где? Я высмотрел кулигу высоких, уже иссохших колючек, залез в нее, вытоптал себе местечко, лег и уснул. К полночи мне стало холодно в одном пиджачишке. Я продрог и проснулся. Мир обняла голубая лунная ночь. Ее тишина

наводила на меня жуть. Я выбрался из колючек и зашагал к церкви, надеясь доспать в караулке до утра.

Широкая дорога вела мимо имения помещицы Баклановой. Пирамидальные тополя, как великаны на страже, стояли на валу, образуя живую ограду барской усадьбы. Прошел я мимо них, добрел до церкви и в окне караулки увидел белое лицо женщины с испуганными глазами. Впустив меня, она в страхе всплеснула руками:

– Мамоньки мои! Да как же ты прошел мимо Бакланихи? Да она же зався спускает с цепи меделянских кобелей, они тут рвут всех, кто проходит. Увидела тебя в окно, да ажно сердце захолонуло. Ох, думаю, сей минутой они мальчишку расхватают!

– Не слышал я ни одного бреха...

– Ох ты горе луковое! А откуль же будешь?

Я рассказал о себе.

– Ну, бог с тобой. Ложись на лавку, спи.

Утром в церкви нашел меня дядя Фатей (Липяги были Каплинского прихода) и отвел к своей дочери Анисье, жившей замужем за каплинским мужиком. Первый ее муж погиб на русско-японской войне, и она, миловидная и добрая, вышла за угрюмого детного вдовца Артема. Здесь и дали мне квартиру, за которую я платил «натурой» – качал и нянчил их меньшого, Саньку, спал на русской печи, на распаренной пеньке, которую они брали у купцов для домашнего витья веревок, – в Каплине многие занимались этим промыслом.

Жить бы у Анисьи можно, да крикливый Санька надоел мне за долгую зиму. Бывало зубришь непонятное из церковно-славянского: «бях, бяше, бяхове, бяста, бяхом, бясте, бяху...» – или из арифметики (не более понятное): «чтобы разделить простую дробь на дробь, нужно первую дробь разделить на обратную вторую...» – а чертенок Санька вопит над ухом. Болтаешь его в зыбке до онемения рук, а он орет и орет, хоть что с ним делай!

Вдобавок Артем люто невзлюбил меня. Все его раздражало – мои книги, тетради, неведомые ему слова, которые я повторял. Время от времени мать приносила продукты, но все равно он ворчал, что я объедаю их. И меня тоже воротило от его осадистой, квадратной фигуры, от злого лица

и горшкообразной лысой головы. Но деться было некуда, и я так бы и жил у них, если б не проявился у меня неожиданный талант.

Открылся у меня голос – альт, и регент Сотников поставил меня в хоре солистом. А богачи приглашали этот хор петь на свадьбах и похоронах, за это платили, и солисту положена была повышенная ставка. Оказалось, этих денег хватало на уплату за содержание в школе на полном коште. И я переселился за высокий дощатый забор, получил койку на втором этаже, где жили подобные мне приезжие ученики. Переселился с радостью, не понимая еще, что забор этот надолго оторвет меня от настоящей жизни...

Полвека спустя, будучи на родине, видел я и эту школу, она уцелела, стоит, как новенькая. Здание хорошо отремонтировано, чисто, омоложенный сад расцвел, в комнатах, где я и мои соученики спали, ели, одолевали непонятные тексты и зубрили молитвы, разместились богатые физический, химический, биологический и другие кабинеты, спортивный зал, мастерские по труду. И глядя на веселых школьников, невольно сравнивая прошедшее и нынешнее, я с волнением видел великое преобразование своей страны.

Второклассные церковноприходские учительские школы, эти своеобразные бursы, были детищем обер-прокурора священного синода Победоносцева, отъявленного мракобеса. Много позже узнал я убийственную эпиграмму, которой заклеил его поэт-сатирик Л.Н. Трефолев:

*Победоносцев – для синода,
Обедоносцев – для двора,
Бедоносцев – для народа,
И Доносцев – для царя.*

Каплинская бурса состояла из трех классов, в каждом не более тридцати пяти человек. Учились преимущественно дети попов, купцов, чиновников и очень немногие способные крестьянские дети. Из них-то Победоносцев намеревался создать низший слой подпорок под трон русского монарха. Подготовить учителей, которые учили бы народ вере и послушанию.

Утром – завтрак: пшениный кондер с ржаным хлебом. Изредка варили белые галушки. В скоромные дни – щи с кусочком мяса и каша пшениная, реже – гречневая, с подсолнечным маслом. В среду и пятницу питались постным. В рождественский и великий посты ели квас с плохой рыбой, пустые щи или похлебку и кашу. В 4 часа – чай, в 9 – ужин: опять щи или похлебка с хлебом. Весной иногда давали на второе блюдо кашу с молоком. Но раз в год, на Покров, бурсаки получали по двухфунтовому пшеничному пирогу с рисом!..

Перед принятием пищи пели молитву:

«Очи всех на тя, господи, уповают, и ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши ты щедрую руку твою и исполниеши всякое животно благоволения».

После еды пели другую молитву:

«Благодарим тя, Христе боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия».

Перед занятием обязательное богослужение, его правил приземистый и пучеглазый отец Владимир, заведующий школой. Потом все мы подходили под благословение, целую его пропахшую турецким табаком десницу. После каждого урока – опять молитва.

Кроме географических карт, никаких наглядных учебных пособий школа не имела. Не слышали наши бурсаки ни о какой художественной самодеятельности, не читали ни газет, ни журналов. Школьная библиотека состояла из нескольких десятков книг художественной литературы. Популярно-научных произведений в ней не полагалось. Библиотечные книги читали пять-шесть человек.

В Каплинской бурсе ученики получали жалкую толику трудового воспитания. Это в продолжение учебного года – переплет книг, а осенью и весной – работа в саду: рытье ямок под яблони, тополя, березы, сирень и другие насаждения. Сад около школы вырос хороший.

Что до самих занятий – вот, к примеру, урок по катехизису православной веры. Он изложен в форме вопросов и ответов, и знать их полагалось наизусть, без всяких «отсебятин». Отец Владимир спрашивал:

– Топоров Адриан, как читается седьмой член символа веры?

– И паки грядущего со славой судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца... – барабанил я.

– Так, садись... Теперь Анпилов Василий: как читается двенадцатый член символа веры?

Сколько времени прошло с тех пор, десятки лет, а вбито в голову крепко. Могу и сегодня, в глубокой старости, выпалить без запинки все слова с буквой «ять», которыми мучили нас без меры. Пожалуйста: «верно», «редко», «непременно», «где», «отменно», «вне», «совсем», «вовсе», «некогда», «негде», «иже», «кроме», «вдалеке» и т.д. Сочинения из года в год задавали нам на одни темы: «Лето», «Осень», «Зима», «Польза воды», «Счастливым день моей жизни». Старшеклассники писали хрии на пословицы, тоже одни и те же: «Терпенье и труд все перетрут», «Корень учения горек, зато плод его сладок», «Что посеешь, то и пожнешь» и прочие.

Казалось бы, можно интересно написать. Хрии – это рассуждения. Но «рассуждать» полагалось по строго определенной схоластической схеме. Ни одного вольного слова, ни единой свежей мысли. Свободному творчеству не было места. Так учили нас, а за забор не выпускали, выйти можно было только по особому разрешению, если надо что-то купить в сельской лавке. Живя в деревне, мы и свежего воздуха в сущности не знали, прогулок не полагалось, скука нас душила тюремная...

Я поступил в бурсу в самый бурный год «репетиции великой революции», а наши ученики не слышали ее грозы. Но в конце того учебного года в образцовую школу прислали нового учителя – Сергея Григорьевича Архангельского, за вольнодумство сосланного из какого-то духовного училища. Он обходился с воспитанниками запанибрата, запросто беседовал с ними, загадочно улыбался. Это нас приятно удивляло.

С пяти часов вечера до девяти ученики готовили уроки. Поужинав, пели молитвы «на сон грядущим» и уходили из спальни. Раз как-то, подойдя к своей койке, я заметил, что на ней, укутавшись с головой одеялом, лежал человек. Я оторопел. И вдруг услышал ясный шепот:

– Т– ш – ш! Не бойся!..

Это был Сергей Григорьевич.

– Ложись со мной. Сюда...

Я лег. И он рассказал мне и моим соседям о революционном пожаре, который бушевал в России.

– Но... Никому-ни-ни! Я у вас не был. Поняли?

И он ушел. Ребята обещали молчать. Припомнилось мне вот что. Я учился уже в третьем отделении Бродчанской церковной школы, умел читать... Мы с дядей Степаном возвращались домой из Старого Оскола. Ревела метель. На Казацком спуске, нагибаясь всем телом против ветра, встретился нам человек в пальто и шапке-ушанке. Поравнявшись с розвальнями, он швырнул в них какой-то сверток и пошел в город.

Дядя Степан схватил сверток и заховал его за пазуху. В хате развернул его – там листовка!

– Читай, Андриян! – заинтересовался дядя.

Содержание листовки стерлось в моей памяти, но слова «зверь царь и грабители министры» живы в ней и поныне. Заслышав эти слова, дядя выхватил у меня листовки, унес во двор и заткнул их в солому под застрехой.

Что листовки были революционные и что подбросил их подпольщик – это стало мне понятно лишь в ночном разговоре с Сергеем Григорьевичем...

Здоровенный и отчаянный сорвиголова Ваня Кледиеенко, наслушавшись Сергея Григорьевича, немедленно загорелся желанием «внести свой вклад в революцию».

Его отец, пиротехник, научил сына делать ракеты. И скоро Ваня показал свои успехи.

Небольшой выгон отделял нашу бурсу от имения богатого помещика Иванова. В один из благоуханных майских вечеров 1906 года сад Иванова заливала разноцветная иллюминация, гремел в нем духовой оркестр, пели, хохотали, визжали гости, звенели бокалы. Господа пировали по случаю именин единственной дочери помещика.

А Ваня Кледиеенко как раз в разгар пира пошел в надворный клозет, взлез на его крышу и с этой позиции начал запускать ракеты в сторону сада Иванова. Там поднялся переполох. Замолк оркестр, завизжали женщины, заорали мужчины.

– Мятеж! Окружили!

– Где стражники?! Стражники!!

Пир был сорван. Ваня, довольный и возбужденный, вернулся в спальню и рассказал близким друзьям, какую суматоху он поднял в барском саду.

На следующий день по селу Каплину и по нашей бурсе разнесся тревожный слух, что мятежники напали на имение Иванова и что только отряд стражников спас его от разгрома. Никому из наших педагогов и в голову не приходило, кто был истинный «мятежник»...

И еще одно происшествие слегка всколыхнуло сонную одурь в бурсе. На смену уехавшему учиться в Харьковский университет толковому педагогу Овсянникову нам прислали преподавателя географии, физики и славянского языка Ивана Ивановича Вишневого, потешного плюгаша. Его странная походка с закидыванием ног далеко вперед туловища вызывала всеобщий смех учеников.

Слабо зная свои предметы, он всем бурсакам сначала ставил четверки и пятерки. Даже не вылезавший из-за частокола единиц Сашка Боярченко, сидевший в каждом классе по три года, получил по славянскому языку пятерку, хохотал над собой, как ошалелый, бегал по классам и коридорам и бахвалился в восторге:

– Во! Я всю лапу по славянскому схватил!

При этом он показывал растопыренные пять пальцев.

Подковавшись немного по физике, географии и славянскому языку, Вишневский стал чересчур придирчив. Классные журналы он теперь испещрял единицами и двойками. Это обозлило бурсаков, и они решили отомстить ему.

В день его дежурства, поужинав, все запели обычное: «Благодарим тя, Христе боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ...». Иван Иванович стоял в переднем углу столовой, возле иконы. И внезапно в его голову сочно шмякнула мякоть ржаного хлеба, обмоченная в щи. Пение оборвалось. Мгновенно обернувшись к ученикам, педагог взвизгнул:

– Кто это?!

В ответ ни звука.

– Я спрашиваю: кто?!

И опять ни звука. Трясаясь от возмущения, Иван Иванович обтер шею носовым платком и пулей вылетел из столовой. Через три дня педагогический совет во главе с отцом

Владимиром заседал в канцелярии, вызывал по одиночке всех бурсаков на допрос, допытываясь, кто и за что учинил хулиганство. Но все попытки оказались тщетными. Бурсаки в один голос отвечали:

– Не знаю.

Старший учитель Петр Матвеевич Сотников догадывался об истинной причине бунта и очень хотел, чтобы кто-нибудь сказал о ней педагогическому совету при Вишневском. Но никто не говорил. Вызвали и меня. Я и брякнул:

– Причина одна: Иван Иванович за пустяки лепит ребятам единицы и двойки. Ребята обозлились – и отомстили ему. А кто шлепнул его хлебом – не знаю.

Вишневский заерзал на стуле. Отец Владимир и учитель русского языка и литературы Фома Иванович Мягкой смутились, а Петр Матвеевич улыбался в усы. Я прочел в его глазах: «Молодец!».

Меня ничем не наказали.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА НИВЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Как ни тянулось время, а пришел день, когда мне выдали свидетельство на звание «учителя школы грамоты». И в один из августовских вечеров 1908 года – страшно вымолвить: семьдесят лет тому назад! – я уже трясся на попутной телеге из Старого Оскола в село Лапыгино, к месту моей первой работы. Отсюда и взял начало мой учительский путь.

С каким же багажом я вышел из Каплинской школы? Вижу теперь, как ни тесали меня, а все же до конца не обтесали. Веру в бога (а я верил) не только не укрепили во мне, но, напротив, подорвали самым основательным образом. Знания были получены очень малые. И даже строптивость характера осталась при мне.

Буду, однако, справедливым: случались у нас среди бесконечной муштры и светлые моменты. Как это ни удивительно, а второклассная школа располагала своим оркестром. Имелось сорок пять новеньких циммермановских скрипок, и нас в обязательном порядке учили играть на

них. Музыка, пению, управлению хором придавали особое значение. Выпускникам бурсы, не осилившим нотной грамоты, не умевшим играть на скрипке и управлять хором, учительские места предоставлялись в последнюю очередь.

Все учащиеся без исключения пели в хоре. Вы спросите, пожалуй, а как же те, у кого слуха нет? Отвечу: таких в учение не брали. Не зря я сразу после вступительных экзаменов попал на спевку. Иные богатые недоросли, изгнанные из городских гимназий и коммерческих училищ за полную безнадежность, «доспевали» во второклассных школах. Но слух и у них был. В каждом классе им разрешали киснуть по три года, и потому в нашем хоре пели не только альты и тенора, но и усатые басы. По выходе из школы они сразу женились.

Главный хормейстер и учитель пения Петр Матвеевич Сотников, всегда подтянутый, стриженный «под ежа», ходивший как солдат на параде, был очень строг. Но музыку любил, ноты читал с листа и сам пел серебристым баритоном. Управлять хором по очереди заставлял нас всех. Мне это пришлось по душе, и когда я был очередным регентом, он, случалось, вовсе не приходил на спевку. Если бурсакам не давалась какая-нибудь трудная партия, предупреждал:

– Жрать не будете, пока не осилите! Марш в класс! А ты, Топоров, и ты, Саплин, учите этих идиотов!

Кляня свою участь, я и Афоня Саплин маялись до вечера. А грозный наставник, отобедав и поспав, спускался к нам и лишь после этого разрешал:

– В столовую!

Репертуар наш, конечно, составляли в основном духовные песнопения. Но ради того, чтобы развить в воспитанниках чувство высокой музыки, Сотников включал и светские творения Чайковского, Римского-Корсакова, Бортиянского, Кастальского, Гречанинова... А законы гармонии для светской и для духовной музыки – одни.

Каплинская церковь роскошью убранства могла поспорить с храмами Старого Оскола, да и хор не уступал городским. Купцы из города, дворяне, поповичи, торгошники и зажиточные крестьяне из окрестных сел приезжали венчаться в Каплино. Участие нашего хора в церемониях бракосочетания помнится, как одно из отраднейших впечатлений.

О предстоящих браках дьякон делал оглашение в церкви, поэтому в часы их совершения она набивалась толпами глазееющих. Ее заливал свет от подсвечников и люстр. Посредине ставили аналой и столик с венцами и прочими принадлежностями.

Весь причт наготове. Хор тоже. От входных дверей к аналою постлана дорожка. Жених и его шафер уже в церкви, а невеста еще за входными дверьми. Но вот открываются двери – и невеста, осененная цветами и шелковой фатой, делает первый шаг по дорожке. Шафер несет ее полутораметровый шлейф фаты. Хор поет величественный концерт:

*Гряди, гряди от Ливана, невесто,
Гряди, голубице моя!..*

Жених со своим шафером идет навстречу невесте, берет ее под руку и подводит к аналою. Совершается обряд бракосочетания. Важнейший момент его – трехкратное хождение брачующихся вокруг аналая. Священник ведет их, шаферы несут над их головами венцы, а хор поет новую торжественную песнь: «Исаие, ликуй»...

Как хотите, а в этой церемонии много поэзии!.. До сих пор ничего красивее не придумано для художественного оформления бракосочетания молодых людей...

Любовь к музыке и была в моем учительском багаже, хотя скрипкой, по бедности, я тогда еще не обзавелся. По той же причине и книг почти не вез с собой, хотя вкус к чтению уже ощутил. Учитель русского языка и литературы Фома Иванович Мягкой установил у нас добрый обычай: за три-четыре дня до рождественских и пасхальных каникул зубрежка отменялась. С трепетом ожидали мы, когда придет он не с журналом, а с томиком Антона Павловича Чехова. Негромким голосом читал нам рассказы: «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Винт», «Злоумышленник», «Певчие», и казалось, что класс наливается светом, даже воздух свежел. Сам учитель как бы светился изнутри, отзываясь на наш залиvistый смех.

Я вознамерился писать сочинения «литературно», тузился изо всех сил, но выше трех с половиной баллов под-

няться не мог. Замечу, что Фома Иванович никогда не объяснял прочитанного, понимая, должно быть, что объяснять Чехова – только портить впечатление. И я сам дошел до мысли, что улучшить свой косолапый язык смогу лишь с помощью чтения – другого способа нет. А где взять книги? В Стойле, куда я приезжал на каникулы, библиотека была одна – у горбатого барина. Рассказывали, книги у него сплошь в полированных шкафах, в сафьяновых корешках, с тиснением и позолотой. Разве ж он даст мне? Долго я мучился сомнениями, но однажды все же подошел к нему:

– Здравствуйте, Николай Егорович!

– Здравствуй. Здравствуй, чего тебе?

– Хочу читать, – выпалил я, – а книг нет. Дайте, пожалуйста, из вашей библиотеки.

Он спешил куда-то, но тут даже остановился. Оглядел меня с ног до головы. И я понял, что забыл барин, как стегал меня плетью за телушку Белку.

– А ты чей?

– Топоров... Стойленский.

– И хочешь читать?

– Хочу!

– Гм... Ну идем.

В дом все же меня не пустил, оставил ждать у порога. Но вынес том Пушкина.

– Книгу не пачкай, иначе не дам больше. Кто не бережет книги, тот варвар. Слышал про варваров?

– Учил... Дикае люди.

– Вот-вот. Прочтешь, приходи еще.

И я принялся читать запоем. От книг приятно пахло. Помню, я даже принюхивался к ним. За лето перечитал все го Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Глеба Успенского... Как-то забылся за чтением, лежа в траве у дороги, и вдруг слышу:

– Эй, малый, подь сюда!

Смотрю: урядник на дрожках. Остановился, увидя крестьянского парня за таким «диким» занятием.

– Что читаешь?

– Толстого.

– Что?! Это который против царя и анафема? А ну дай сюда книгу!

Выхватил из рук, взялся листать.

– Да это не тот Толстой, – сказал я. – Это Алексей Константинович. Глядите на портрет: бородка лопаткой, а у Льва Толстого бородаща во всю грудь.

– Учить меня будешь! Сам знаю, видел... Ну читай, да, смотри, не того!

И шевельнув кобылу вожжей, поехал дальше...

Набравшись за лето сильных впечатлений от книг и от жизни, я решил писать сочинения «с натуры», да еще с размышлениями. Тему нам дали всегдашнюю – «Как я провел каникулы», – но я отошел от трафарета. Писал легко, слова теснились – так их было много, я выбирал лучшие.

Когда Фома Иванович принес тетрадки, я взгляделся и заметил, что моя в самом низу стопки. Понял: учитель нарочно отложил ее, будет «песочить» меня до звонка. Сижу, жду поспрашивания. А он раздал работы, каждому объявил оценку и, наконец, добрался до моей тетради в синей обложке:

– Теперь творение Топорова Адриана. Прочту вам его целиком.

Я сидел, как на иголках. Не понимал, к чему он клонит. Мне показалось, что слово «творение» прозвучало у него иронически. Но прочел до конца, до точки.

– Видите, все правдиво, ярко. Как в жизни. И написано складно... Прекрасное сочинение!

Камень свалился с моих плеч.

– Поставил я Топорову четыре с половиной.

– Почему не пять? – спросил кто-то из ребят.

– Потому как не верю, что он мог такое написать. А то была бы пятерка. Скажи, Адриан, по правде: сам сочинил?

– Сам! Кто же еще?

Я несколько не обиделся, ибо совесть моя была чиста. Позже уверился, что чтение классических книг, жизненные наблюдения и переживания – чудодейственный источник творчества. И мысль эта легла в основу моего метода обучения детей писанию сочинений даже в начальной школе...

Но до этого надо было еще дожить. Пока что я трясся по пыльной дороге к месту своего назначения. До села Лапыгина мы добрались уже в темноте; я переночевал на печи у мужика, привезшего меня, а утром пошел представлять-

ся священнику, ведавшему приходской школой. Старался держаться солидно: как-никак я учитель, человек уважаемый.

Отец Иван Альбицкий принял меня хмуро. Был он обрюзгший, нечистоплотный, волосатый, с лошадиными челюстями и хриплым, бубнящим голосом. При разговоре двигал зубами туда-сюда, точно никак не мог разжевать кусок недоваренного мяса. Предложил, однако, жить у него, пока не подыщу квартиру. И я согласился, не зная, чем это мне грозит.

Первый учебный день прошел быстро. Я познакомился с детьми, спросил, что они знают, хор даже успел собрать, проверил голоса. Поздним вечером вернулся со спевки, а ворота на замке. Стучу – не открывают. Влезаю на забор, чтобы спрыгнуть во двор. И тут выходит на крыльцо пьяный поп:

– Полкан! Тягай! Урза! Бери его!

Собаки с яростным лаем прыгают на забор, пытаюсь меня достать. Кричу:

– Это я, учитель!

– Ату его! Взять!

Пришлось ночевать в школе. Сторож Семен объяснил мне причину травли: дескать, приревновал отец Иван меня к своей свояченице.

– Теперя знай: почнет тебя глотать.

Предсказание сбылось, хотя я сразу же перебрался в одну из крестьянских изб. Через ночь отец Иван требовал меня в школу и, пьяный в дым, издевался надо мной:

– Учитель, значит? А подай сюда грифельные доски!

Подаю.

– Считай!

Считаю.

– Клади обратно в шкаф!

Кладу.

– А подай сюда грифели! Считай! Сколько их?

– Восемьдесят три.

– Клади обратно!

Развлечения пьяного самодура в рясе вывели меня из терпения. Хорошо еще, детей не было при этом. Но как-то в декабре прихожу на занятия и вижу, что мои ученики по-

чему-то толпятся в сенях. Класс был один на три отделения. Иду туда, а там к стене прилажена длинная жердь с толстой жильной струной. Кустарная волнотепка. И весь пол завален хлопьями уже пробитой шерсти.

– Что такое? Кто разрешил?

– Отец Иван приказал волнотепу Акимке в школе быть, – объясняет все знающий сторож.

Любопытные детские глаза смотрели на меня. Как ни мал был опыт, а я понял, что если и тут смирюсь, то окончательно рухнет мой учительский авторитет. Сорвал со стены «тпрундило», вышвырнул на снег, шерсть ногами вытолкал из класса. И начал урок.

Вскоре примчался разъяренный священник. Всклопоченный, пьяный, орал на меня страшно. Я тоже не остался в долгу, и он пригрозил:

– Завтра же сам вылетишь вон!

И точно: я «вылетел» из Лапыгина. В городе у попа оказалась сильная рука – шурин, влиятельный протопоп. И пришло мне предписание от Старооскольского отделения Курского епархиального училищного совета:

«Учителю школы грамоты Топорову А.М.

С 1 января 1909 года Вы увольняетесь с занимаемой должности, ибо не обладаете характером, достойным звания учителя церковноприходской школы».

Первое возмездие, полученное за строптивый нрав... Все же перевели меня в другое село, в Покровское. Думаю, сыграло роль то, что в бурсе я был из лучших регентов, а это умение ценилось особо. Действительно, хор в Покровском стал при мне лучше петь, что и привело меня к новой беде. Священника здесь тоже звали отец Иван, но этот был невредный, робкий. А попечителем школы и ктиторм состоял богатый помещик, ротмистр Арцыбашев. Во время богослужений стоял в нише, специально сделанной для него. Был всегда в полном военном обмундировании, становясь на колени, звякал шпорами.

Хор он любил и, видимо, мои труды заметил. В первый день пасхи в школу прискакал его гонец и вручил мне конверт, в который был вложен 25-рублевый кредитный билет. Жил я, надо сказать, нищенски, жалованья получал всего десять рублей в месяц. Гонорар за искусство взял, поде-

лился с певчими, и им это понравилось. А к следующему празднику он денег не прислал, мои хористы взбунтовались, не стали петь. Ротмистр пришел в возмущение:

- Почему молчал хор?
- Не желает петь бесплатно.
- Виноваты вы!
- Певцы не в моей воле.

Он вынул из кошелька две золотые монеты:

- Видите?
- Вижу.
- Вы их лишаетесь. Идите!

А к Покрову передал мзду самим певчим. Меня и в селе не было. Вышло распоряжение учителям школ грамоты, чтобы держали экзамен на звание учителей начальных школ. И я отбыл в Старый Оскол. По обычаю, в праздник по всем деревням шла большая гульба, и мои хористы пропили помещичьи деньги. Попойку устроили в школе, а назавтра, как на грех, прибыл ревизор. Да какой! Действительный статский советник из самого Священного синода. Вот как об этом позже рассказывал мне сторож Федор:

– Утресь к крыльцу подкатила бричка, а из нее – генерал, весь в заслугах. «Почему школа на замке?» – «Учитель, говорю, на экзамене в городе. – «Открой!» Я открыл. А в классе вся срамность от гулянки певчих. «Кто заведует?» – «Батюшка, говорю, отец Иван». – «Позвать!» И как я его привел, генерал в крик: «Кто повинен?» Батюшка весь затрусился: я, мол, ни при чем. «А кто?» Учитель, мол. «Как фамилия?» – «Топоров». Генерал велел записать – и айда из села. Только пыль за бричкой...

Объяснений моих никто не спросил, помещик, конечно, не вступился, поп дрожал. Меня не только выгнали из села, но лишили права учительствовать сроком на год «за недопустимое отношение к обязанностям и безнравственное поведение». Второй крах за первый год службы. Не зря, однако, говорено было, что единственное спасение от дурных российских законов заключено в чрезвычайно дурном их исполнении. Я перебрался в соседний Тимской уезд и нашел место учителя в селе Старый Лещин. За что меня отрешили от должности, тамошний священник Солодовников даже не спросил.

Тоже был тип в своем роде. Здоровый увалень, сильный, как бык, но безответный, занимался он в основном своим хозяйством. Таких немало было среди сельского духовенства. Пахал и сеял вместе с мужиками, а служил между делом, с прохладцей. Вдобавок сильно шепелявил и вместо «благодарен еси» произносил «благодарен еши». Трудно было сдерживать улыбку, слушая его «гошподи, помилуй», – возглашать-то это полагалось сорок раз!

Все село знало, что в церкви верховодит не он, а попадья Анфиса, жадная и взбалмошная. Без ее команды поп ни подрясника, ни рясы не мог надеть, а уж договоры на венчания, отпевания, сорокоусты и прочие молебствия заключала с мужиками только она. И безбожно торговалась при этом, выговаривая, сколько кренделей, яиц, свинины, говядины, кур, гусей, уток надо принести сверх общепринятой денежной платы.

Село Старый Лещин делилось на две части, лежавшие на противоположных сторонах реки. Приехал как-то поп на Заречье собирать рожь новину. Взял полный воз, тут хлынул дождь, дорога расхлюстала, а к попову дому вел крутой взлобок. Некованая лошаденка никак не могла вытянуть тяжелый воз, как он не подхлестывал ее под пузо кнутом. Увидела это матушка и принеслась:

– Что надрываешь кобылу зря? Выпрягай!

Он выпряг.

– Лезь в оглобли сам!

И что вы думаете? Впрягся поп и вытянул-таки воз на взлобок. Мне, божась, рассказывали об этом очевидцы. А звали батюшку Иваном. Третий подряд отец Иван на моем пути – это уж слишком!

Учитель я, конечно, был еще никакой. Мог передать детям лишь то, чему самого обучили с грехом пополам. Опыта жизни не накопил, а без этого нет педагога. Детей любил, но был полужнайкой, как и большинство учителей церковноприходских школ. По этой причине об учительской работе не буду писать до поры. Не то беда, что мало я знал, а то, что был убежден, будто иначе и быть не должно. Такими нас готовили, такие мы и нужны были церкви и властям.

О своих «взаимоотношениях» с богом расскажу особо. Просты они у тех, кто вырос в атеизме, кто иного не знал,

не думал об этом. А людям моего поколения думать приходилось, и было это совсем непросто. Мне уже шестнадцать минуло, когда летом решил совершить паломничество в Сомовский женский монастырь Нижнедевичьего уезда Воронежской губернии.

Некая графиня, овдовев, пожаловала свое имение монастырю с условием, чтобы в него принимали только красавиц-аристократок. По ее завещанию, они должны были молиться богу и заниматься изящными искусствами. Все хозяйственные работы в монастырском имении выполняли наемные крестьяне. Сама графиня пожелала пожизненно быть игуменьей монастыря.

Молва разнесла по смежным губерниям, что в Сомовском монастыре обретается святыня – не то палец, не то клочок волос великомученицы Варвары и что в нем паломников принимает ясновидящая мать Антония, узнающая прошедшее, настоящее и будущее любого человека, дающая всем мудрые советы и исцеляющая всякие душевные и телесные недуги...

Троицын день в Сомовском монастыре – храмовый праздник. К этому дню стекались туда тысячи верующих. Накануне праздника и стойленские бабы и девки двинулись в Сомовку. К ним пристал и я. Идти недалеко – около сорока верст.

В селе, от которого до Сомовки – рукой подать, паломники сделали привал. У колодца напились из бадьи студеной воды, отдохнули и тронулись в последний переход. Спешили, чтобы поспеть к всенощной.

По обе стороны малоезженной и поросшей травой проселочной дороги катились тяжкие волны выколосившейся и уже побуревшей ржи. На одной извилине дороги встретила нас девушка, которая возвращалась из монастыря. На левой руке она несла сшитое к празднику платье. Взглянув на нее, я остолбенел: никогда и нигде дотопе я не видел такой красивой девушки.

Далеко ушли вперед мои спутницы, а я, обернувшись, застыл на одном месте и глядел, глядел на русую косу, пока она не утонула в волнах ржи за излучиной дороги. Лениво поднимал я ноги, догоняя спутниц. Богомольные мысли вылетели из головы...

Монастырь раскинулся в роскошном старинном парке. Чуть отступя от вековых аллей, в зарослях прятались уютные сосновые домики с кельями инокинь. В раскрытые двери коридоров виднелись тусклые блики на чистых полах, свежепокрытых масляной краской. Благоприятное в природе наполняло парк густым ароматом сосны, трав и цветов.

Ударили ко всеобщей, из келий поплыли к храму молодые инокини. Я замер у паперти: одна красивее другой! Лица иконописные, чистые... Хор во время службы пел дивно. Всенощная отошла, паломники отправились на ночлег – кто в село, кто на хозяйственный двор. Я остался под соснами на траве; долго лежал без сна, смотрел на ясные звезды. Утром поднял меня шум: у монастырской ограды теснились люди. Какой-то тщедушный, в отрепьях странник истошно кричал:

– Братя, взгляните в стеклышки! Узрите, как будет гореть-пылать белый свет при Страшном суде! Ни отцы не спасутся, ни матери, ни младенцы сосущие. Молитесь, православные!

Давя друг друга, богомольцы лезли к нему, ахали, рыдали, кидали страннику монеты. Протиснулся и я, тоже взвыл от «горящего» неба, но следом увидел, что это всего-навсего красные стекла, вставленные в калитку. Как просто, без затей шарлатан дурачил толпу! Ушел я оттуда, занял очередь к пророчице Антонии. Выходившие крестились, вздыхали:

– Святая! Истинно святая! Всяко место угадывает.

В келье на пуховой белоснежной постели неподвижно лежала седая женщина, только глаза чернели, будто два уголька, брошенные в снег. Молодая послушница терла ее ноги ниже колен. Почему-то и тут я заподозрил обман. Испугался: вот подойду, а она узнает мои мысли и турнет с позором.

– Как тебя зовут, раб божий?

– Адриан.

– Чем занимаешься, раб божий Адриан?

Несколько я приободрился: даже этого не знает. Где ж ей мысли-то угадать?

– Учусь на учителя.

– Покинь это. Покинь! Иди в иноки, раб божий Адриан, больших степеней сподобишься. Иди! Благословляю тебя на сей богоугодный путь.

И дала мне пузырек со святой водой. А я заметил: вся очередь выходила от пророчицы с теми же дарами. Вышел и я, уединился в аллею, которая привела меня к глухой монастырской стене. Посмотрел на пузырек, подумал и швырнул его через стену...

В конце лета 1911 года все курские деревни взбудоражила весть об открытии мощей Иосафа, епископа Белгородского. Служил он еще во времена Елизаветы, позже был причислен к лику святых. Синод затеял торжества, дабы оживить «религиозные чувства» народа.

И вот полетели курьеры по епархии, посыпались распоряжения: все церкви, примыкающие к шляху из Тима в Белгород, должны готовить крестные ходы. Село Старый Лещин, где я работал, тоже стояло на этом пути, значит, и нам предстояло влиться в общий крестный ход.

Зрелище получилось величественное и немного жуткое.

Жаркий сухой день. Со всех колоколен несется беспрестанный трезвон. Наш старолещинский ход подошел к большой дороге и замер в ожидании. Долго пришлось ждать; потом проскакали вестовые, а еще через полчаса задымилась пыль у горизонта, целое облако пыли. Казалось, нескончаемый поток надвигался на нас – ближе, ближе, совсем близко!

Тысячи людей с потными, возбужденными, почерневшими лицами нескладно орали разные молитвы. Блестели хоругви, рясы священников. Скрипели телеги с калеками и убогими, плачущими об исцелении. Плакали и дети, которых взрослые волокли за собой. Раздавались команды конных полицейских. Но толпам не уместиться было на шляху, и многие бежали как угорелые по придорожным овсам, по просу, гречихе, по зеленым всходам ранних озимых.

Вы, должно быть, помните картину И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии». Я эту картину видел в натуре. Видел и то, что осталось назавтра: бедствие! По обе стороны дороги пролегли широкие, черные, мертвые полосы. Уничтожены были посевы на миллионах десятин. Вряд ли где-либо налет саранчи причинил столько убытков, сколь-

ко принес их крестный ход к открытию мощей Иоасафа Белгородского.

Отчетливо помню, что верить в бога я к тому времени уже не мог. И хотя был взволнован – холодным в такие минуты не останешься, – но смотрел на массовое безумие ясными глазами. Можно считать, протрезвел. Сказалось многое, и прежде всего близкое знакомство с самими церковниками. Попадались среди них, конечно, и образованные, умные люди, но куда больше было «отцов Иванов». И сколько же пришлось мне видеть в их среде невежества, корысти, пьянства, разврата!

Одним словом, я свое безверие выстрадал...

Жил в Старом Лещине мужик Константин Ефремович Ноздрин, которого сельчане звали просто Костей, хотя ему перевалило за пятьдесят и он имел внуков. Высокий, плотный, грудь колесом, лоб с завалом назад, седеющая борода кольцами. Голубые глаза его почти всегда смеялись. Я близко сошелся с Костей.

Крестьянскую работу он не любил, уезжал на заработки в шахты, подолгу жывал в Константиновке, Никитовке, но и там дела не делал, а околачивался при церквах, дьячил, пел в хоре. По возвращении домой кормился у сына, а то шел в церковные сторожа или заменял псаломщика Хрисанфыча, который часто кутил на стороне и вообще, как было известно, норовил уйти в полицейские. Словом, жил Костя на легких хлебах, избаловался окончательно.

Я видел, что он ветрогон, но привлекали меня его беззаботный нрав и веселое озорство. Костя уморительно копировал походку, жесты, голоса всех мужиков, мог образить лай каждой старолещинской собаки, мычание коров, ржание лошадей, пение птиц и даже скрип телеги, звон колокола. Лавочник Масленников нарочно зазывал его к себе, чтобы послушать, как он «передражнивает». За это, нахохотавшись, угощал, Костю всякой всячиной до отвала.

Некоторые шутники вызывали его на спор: сможет ли он съесть два десятка бубликов за раз? Аппетит у Кости всегда был волчий, он брался съесть, но с прихлебкой водки. И конечно, выигрывал. Он и не такое мог сделать. Брали стопку водки, покрывали ее кружком колбасы, а сверху

накладывали еще кус хлеба. Все это «артист» обязывался проглотить, не жуя, единым духом. И проглатывал. Только из горла его вырывался тоненький писк. Зрители смеялись:

– Все жерело у Кости луженое!

При мне, на спор с унтером, вернувшимся с военной службы, он вызывался сжевать оконное стекло. Заложившись на полтину – сумма серьезная. Номер обставлен был с некоторой торжественностью. Костя сел, приосанился, потребовал у лавочника скло, изломал пальцами до мелких осколков, осторожно затолкал в рот – и захрупал. Вокруг все притихли. Минуты через три вывалил себе на ладонь сероватую кашицу.

– Во! – ахнули мужики. – Нисколь не порезался!

В церковной караулке, когда сторожем Костя, дым стоял коромыслом – питье, шум, песни, розыгрыши. Хаживал туда заштатный пономарь Порфирий Кузьмич, человек степенный, живший в собственном доме с маленькой женой Анютой, которая боялась его до страсти. Деньжата у них водились, он запил от безделья и скуки, и некогда мощный голос его стал хриплым и глухим.

Однажды темной слякотной ночью, дойдя до «высокого градуса», Порфирий Кузьмич схватил Костю за грудки: всех, мол, передразниваешь, а меня не сможешь. Тот в ответ: смогу! Заспорили. Условлено было, что Костя войдет в дом к пономарю и его голосом потребует у Анюты «красненькую» (десятирублевку), спрятанную на божнице. Костя скрылся во тьме и через некоторое время – принес. Позвали на расправу бедную Анюту:

– Ты кому отдала красненькую?

– Вам, Порфирий Кузьмич!

– Бесу ты отдала, а не мне!

– Господи Иисусе! Я ж и не знала, где искать. Сами сказали, что на божнице.

– А ты меня видела?

– Так вы свет не велели зажигать.

Общий хохот.

– Костюшке Ноздрину ты отдала, а не мне!

И Костя повторяет тем же сиплым басом:

– Ноздрину, а не мне!

Анюта ахает:

– Вот аспид-то! Порфирий Кузьмич, ну ваш голос и ваш. Свесь – не развесь. Ох, бес! Попроси он, что хошь – отда-ла бы без сумления.

Пьянчуги требуют на стол выпоренную водку.

Вот такой это был человек – отчасти бездельник, отчасти шут, отчасти даровитый артист. Вдобавок ко всему природа одарила Костю необычайным баритональным тенором, таким приятным, что и при фальшивых звуках он ласкал слух. Но пел он верно, а когда в церкви, читая «Апостол», взбирался постепенно на высокие ноты, звук был такой силы, что казалось, будто тысячи пуль бьют в стены и отскакивают от них. За голос я ему все мог простить.

Жил в Старом Лещине крестьянин Афанасий Архипович Воробьев. Был мне особенно знаком, потому что жить меня поставили в его избе. Тоже личность примечательная. Худ, пучеглаз и плешив. Когда улыбался, у него вывертывалась толстая верхняя губа. Тем не менее считался завзятым ухажером. Иначе, как Афоней его в селе не называли. Видимо, за то, что и он был законченный лодырь, отлынивал от всякой работы, взвалив хозяйство на свою дородную жену Матрену, на сына-подростка и свояченицу-вековуху. Когда-то пел Афоня в курском архиерейском хоре, с той поры и разболтался, но бас имел мощный и хорошо знал ноты. С Костей они друзья – не разлей водой. Их объединяла неискоренимая любовь к пению.

Жила в Старом Лещине Дуня Криволапова, рослая, остроглазая девушка, с румяными щеками. Никто не мог сравниться с нею ни в песнях, ни в плясе, ни в веселье. Когда заневестилась, парни закружились вокруг, а родители, гордясь дочкой, давали ей воли больше, чем надо. И обольстил Дуню какой-то из «благородных», сам скрылся из села, ославил ее на всю округу. И никто не засылал к ней сватов. Отец и мать от сраму погнали ее в монастырь, прожила она там года три, потом не выдержала, сбежала. А куда деваться? Вернулась домой. В монастыре научилась петь по нотам. Сильный ее, грудной голос окреп, очистился. Заслушаешься!

Костя и Афоня приманили Дуню к себе. Так образовалось в Старом Лещине редкостное вокальное трио: тенор, бас и сопрано. Послушать их пение приходили люди из

дальних мест. Сам викарный архиерей Иоаникий, щедуш-
ный, длинный сухарь в очках с золотой оправой, во время
посещения нашей церкви восхищался их пением (песнопения
они исполняли на греческом языке). Пели, конечно, и
прекрасные русские песни, романсы.

Перед вешним Николой, когда все в природе цвело и
благоухало, наши артисты отправлялись в поход на храмовые
праздники. В церквях пели «духовное», в домах – «свет-
ское», и везде их принимали, как самых дорогих гостей. За-
таскивали в гости нарасхват, угощали, поили, да еще и на
дорогу снабжали снедью. От церковей тоже, глядишь, пере-
падало по трешке, а то и больше.

Пображничав в одном селе, шли дальше, а храмовых
праздников на их долю хватало. То Ахтырская божья мать,
то Казанская, то Илья-пророк, то первый Спас, то второй
Спас, а там Успенье... Сытые и беспечные идут к исходу дня
странствующие певцы между овсами, пшеницей, рожью.
И разливается над полями их чудесное трио:

*Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля.
Тебе поем мы песню,
Вечерняя заря.*

Почти все лето бродили по селам. Про сенокос и про
жнитво не думали. Пусть все сгниет в земле – им и горя
мало. Конечно, Афоня, Костя, Дуня были одного поля яго-
ды. Все трое не любили крестьянскую работу, бежали от
труда, но в душе это были истинные поэты.

А вскоре распалось трио. Афоня оказался хитрее дру-
гих и, подкупив волостного старшину, добился должности
сельского старосты. Петь для него стало занятием несо-
лидным, зазорным. Костя снова махнул на шахты, да так и
сгинул там. Должно быть, окончательно спился. А Дуня за-
чахла без пути-дороги.

Вспоминая этих талантливых самородков из народа,
я часто думал, что в иное время они могли бы засиять в
искусстве яркими звездами...

Как старый пень обрастает опенками, так и село Старый
Лещин обсели помещичьи усадьбы. Снова я видел то же,

что и у себя в Стойле: лучшие луга, пашни, леса, сады, пруды, мельницы принадлежали барам. С востока подступали обширные владения гордого пана Сверчевского, с запада – уголья богача Афросимова, их соединяло ожерелье мелких поместий Лебедевых, Ешиных, Киреевских.

Я, понятно, не был к ним вхож. Сад Киреевских виднелся по ту сторону реки как раз напротив Афониной избы. Среди цветущих деревьев стоял изящный и легкий дом, окрашенный голубой краской. На зиму он заколачивался, а летом приезжала старая помещица с дочерьми. Были они образованные музыкантши, и вечерами из раскрытых окон лились манящие звуки рояля. Фортепьянной музыки я до того вовсе не знал и, бывало, часами слушал, затаившись внизу. И сейчас в моих ушах звучит чей-то ажурно-лирический дуэт в исполнении сестер Киреевских:

*Крики чайки белоснежной,
Запах моря и сосны...
Неумолчный, безмятежный
Плеск задумчивой волны...*

Попроситься к ним мне и в голову не могло прийти. Куда там! Вижу себя тогдашнего – кургузого, неловкого, тощего, плохо остриженного, одетого по-мужичьи, да и речью мало чем отличающегося от мужиков. Вам не понять сегодня, как держались и выглядели учителя приходских школ – те самые, которым вверено было мелкое лукошко российского просвещения, кто должен был учить крестьянских детей, то есть подавляющее большинство народа. Приличные господа с нами не якшались. Я не знал, как и подойти-то к ним, как с ними заговорить.

До какой степени простиралось мое тогдашнее невежество, можно судить по скандальному эпизоду, о котором стыдно вспоминать, но грех умолчать...

Вернулся с военной службы сын старо-лещинского мельника Иван Онисифорович Субботин. Хорошо зная грамоту, он получил в армии звание военного фельдшера. Одевался с шиком: тужурка со стоячим воротничком и ясными пуговицами, штаны навывпуск, хромовые ботинки. Лицо бледно-матовое с глубоко сидящими черными, как

смоль, глазами, усики завиты колечками, а над лбом устремился вверх волнистый кок.

Говорил Иван Онисифорович не спеша, с деланным апломбом; никогда не шутил, не смеялся.

Привез он с военной службы с десятков книг и брошюр о магии, гипнотизме и спиритизме, которые усердно пропагандировал в селе. И меня он взял в обработку. Начитался я про «непостижимые» тайны и силы природы и глубоко поверил в них. Рассказал мне Субботин и о волшебной дощечке английского профессора оккультных наук Алексиса Токала, державшего агентуру в Петербурге. Послал к этому Токалу шесть рублей и получил от него «волшебную» дощечку со всеми наставлениями, как ею пользоваться. Наставления убеждали, что дощечка отвечает на все заданные ей вопросы.

Она имела форму и цвет большого чугунного утюга. На носу ее вставлена стекляшка в виде полушарика. Под носом приделана жестяная трубочка для карандаша. Под широкой частью дощечки, слева и справа, колесици, на которых она свободно двигалась.

Для получения ответов от «волшебницы» требовалось на первых сеансах строго соблюдать таинственную обстановку: полночь, наглухо закрытое помещение, занавешенные окна, абсолютная тишина, еле мерцающая лампочка. Человек должен был подложить под дощечку чистый лист бумаги и вставить карандаш. Затем четко задать дощечке вопрос, наложить на нее ладони и напряженно смотреть на стекляшку, не думая ни о чем постороннем. Через пятнадцать минут дощечка начинала слегка двигаться, а карандаш писать ответ.

«Кем я буду?» – задал я «прорицательнице» первый вопрос. На листе я прочел несусветную чушь: будешь знаменитым писателем, создашь такие творения, которые затмят Шекспира, Гете, Пушкина, Гюго...

Я осатанел. Хотелось уничтожить эту шарлатанскую выдумку, но все же?!.. Иногда она изводила меня. Я задавал ей вопросы, а она писала: «Ты сегодня не серьезен. Брось меня... Иди на реку, освежись».

Я послушно бежал на мостки, мочил голову водой и опять принимался допрашивать капризную «пифию».

Дерзнул я, наконец, испытать ее пророческую способность на практике. Случай к этому выпал. У моих знакомых мужиков из ночного увели пять лошадей. В самую страдную пору! Что ты будешь делать?! Пришли несчастные мужики ко мне и давай умолять христом-богом – спросить у дощечки, где и как разыскать лошадей.

Была душная июльская ночь. Я заперся в хате Афонии и приступил к делу. Тишина... Только сонные мухи, облепившие густой черной сеткой стены и потолок, шелестели от потревожившего их тусклого света семилинейной лампешки...

Дощечка зашипела. Написала подробные указания: *«Пусть мужики идут в волостное село Никольское. Становой пристав даст им в помощь полицейского. С ним они направятся в село Мироновку, Обоянского уезда. В трех верстах от этого села есть лес, в лесу овраг. Там и возьмут мужики своих лошадей...»*

Я дрожал от радостного сознания, что, может быть, раскрыл важную тайну. Опротетью кинулся на гумно, где лежали мужики на свежей ржаной соломе, томительно ожидая ответа моего «оракула». Я прочел им ответ – и вручил «священный» лист. Назавтра они отправились на розыски. Меня колотила лихорадка ожидания...

Через семь дней вернулись мужики, печальные, усталые и острогавшиеся с горя.

– Не видели мы никакого пристава и полицейского в Никольском. Нет и села Мироновки в Обоянском уезде... Все – брехня!

От стыда и жалости к мужикам я готов был провалиться сквозь землю! Тут же я грохнул об пол жульническую дощечку Алексиса Токала. Засверкала покотившаяся к порогу стекляшка!

Так я покончил со своим нелепым суеверием. Дружба моя с Иваном Субботиным лопнула...

Анализируя свое психическое состояние во время сеансов с дощечкой, я заметил, что какие-то искры моей мысли всегда предшествовали движениям карандаша. Но как научно объяснить шарлатанство Алексиса Токала, – я и поныне не знаю...

А вот в имени Афросимова все же бывал, но только по единственной причине, что сам он в деревне появлялся

редко. Был у него знаменитый конный завод: конюшни – дворцы, лошади – чистокровные орловские рысаки. Как же грациозно ступали они, перебирая тонкими, сухими ногами! На бега их отправляли в Петербург, Москву, Киев, Харьков, путешествовал и барин-спортсмен, жывал в столицах, а покои его пустовали. Вот управляющий и впускал меня иногда.

Дворец Афросимова был построен с фантазией. Помню, как поражали мое воображение витражи в окнах, веранды, балконы, балкончики, высокие стрельчатые башни. В одном зале – старинная – с инкрустациями мебель, в другом – всевозможные образчики оружия, огнестрельного, режущего, колющего, русского и иноземного, древнего и новейшего. Идешь дальше по наборному паркету, а на стенах висят десятки картин-подлинников. В кабинет хозяина я был допущен лишь однажды: там покоилась в зеленом шелковом чехле скрипка старинного итальянского мастера Гранчино. Так гласила этикетка на нижней деке, и я долго смотрел на нее не дыша. На этой скрипке никто не играл, к картинам никто не допускался – такова была первая художественная галерея, виденная мною в жизни.

А к седовласому, усатому магнату Сверчевскому я обязан был являться «по должности». Гордый седовласый магнат Василий Ионыч Сверчевский жил бирюком. Ни к кому в гости не ездил, а к нему приезжал только сын с женой – тоже владелец крупного имения в другом селе. На широкой усадьбе Сверчевского расселись длиннейшие конюшни, похожие на пожарные депо. В них выкармливались и выхаживались сотни битюгов с массивными крупами и копытами величиной с тарелку. Каменные, толстостенные округлые строения Сверчевского делались на века. Рогатый скот у него – симменталы, собаки – сенбернары.

Длинный одноэтажный дом его смахивал на конюшню. В нем жили трое: сам барин, его верный холоп, седоусый старик Федор, исправлявший одновременно должности лакея, повара и управляющего, да баба Устинья, прибиравшая в комнатах.

Как водилось в старину, Сверчевский числился ктитором в Старо-Лещинской церкви, хотя посещал ее редко, в торжественные дни. Тогда он становился, как монумент, за

высоким свечным ящиком и собственноручно продавал свечи.

Под Рождество притч служил всенощную у него в доме, а на Пасху, после обедни, являлся к нему первому с молебствием и поздравлением. Обязательно было и мое присутствие. К этому дню непременно прибывал и сын Сверчевского с женой, чопорной барыней. К столу подавали традиционные зеленые щи с облупленными целыми яйцами и тоненькие вкусные колбаски со слащавым капустным гарниром.

С попом Сверчевский обращался снисходительно-фамиллярно, под благословенье к нему не подходил, жал руку и называл Иваном Ипполитычем. Батюшка очень боялся Сверчевского. Тот имел вес у губернатора и архиерея. И потому легко мог съесть не полюбившегося ему человека в селе. Раболепие попа перед Сверчевским доходило до смешного. Вот иллюстрация.

В то время при церквах организовывались общества народной трезвости. Каждому обществу присваивалось имя какого-либо святого. Организовывалось такое общество и в Старом Лещине. Возглавил его отец Иван. И меня обязали вступить в члены общества, хотя я никогда не пил водки.

Отслужили молебен избранному святому – Целителю Пантелеимону, дали клятву перед крестом и Евангелием – не брать в рот ничего хмельного в течение года.

Вскоре подоспели Пасха и обязательный визит к Сверчевскому. За обедом сын его, Леонтий Васильевич, налил всем присутствующим, кроме своей жены, по рюмке коньяку.

– Прошу, господа!

Отец Иван залепетал:

– Но... как же?! Мы же дали клятву не пить... члены общества трезвости...

– Ничего, ничего, Иван Ипполитович, – успокаивающе похлопал его по плечу старый барин. – Ничего... Мы тоже члены разных богоугодных обществ, но ради праздничка можно... Прошу, Иван Ипполитыч, прошу...

И, ежась под взглядом Сверчевского, как кролик перед пастью удава, батюшка опрокинул рюмку в рот...

За обедом Сверчевский, как ярый поклонник черносо-
тенных зубров из Государственной Думы – Маркова Второ-
го и Пуришкевича – презрительно хулил Льва Николаевича
Толстого.

– Опять Левка Толстой колобродит... Воду мутит...

А между тем в зале дома Сверчевского висел портрет
великого писателя, тот самый портрет, на котором Лев Ни-
колаевич стоит босой, поддев руки под пояс...

На дьяков, учителей и певчих Сверчевский смотрел
свысока, как на нелюдей. Хоть и сажал их за общий стол,
но не обращал на них никакого внимания, как будто их тут
не было.

Не зная правил великосветского этикета, я однажды
при встрече со Сверчевским протянул ему руку:

– Здравствуйте, Василий Ионыч!

Его аж передернуло. С ядовито-надменной интонацией
он бросил мне:

– А ты, молодой человек, не суй руку вперед. Подожди,
когда тебе подадут руку старшие...

И отвернулся от меня. «Ах ты, чертова фря!» – подумал
я. И в следующий раз на всюнощную в его доме не явил-
ся. Слышал я, что он бесновался по этому поводу. Но мне
на это было начихать: намечался крутой поворот в моей
жизни...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

В том же Старом Лещине я познакомился в 1910 году с
человеком в своем роде замечательным – Леонидом Пет-
ровичем Ешиным. С ним и его прекрасной семьей. Тоже
были дворяне, но совсем не такие, каких я видел прежде.
Все их имущество состояло из нескольких десятин земли,
простых надворных построек, двух лошадей, одной коро-
вы и десятка кур, которых держали ради детей. А главной
ценностью, заполнявшей весь небольшой, но уютный дом
Ешиных, была старинная фамильная библиотека.

Они тщательно сберегали тысячи томов художествен-
ной и научной литературы, хранили полные собрания
журналов «Отечественные записки», «Вестник Европы»,

«Русское богатство», «Русская мысль», «Былое» – всего мне не перечесать. В их семейном архиве я видел позже и читал письмо Л.Н. Толстого боевому товарищу по Крымской войне – майору Петру Ешину, отцу Леонида Петровича. По своему недомыслию не понял ценности реликвии, копию даже не догадался снять, а она где-то погибла... Но как бы то ни было, прослышав о богатой библиотеке, я однажды преодолел робость, постучался в дом Ешиных и был принят, обласкан, да так и прилепился к этой семье.

Тогда Леониду Петровичу уже перевалило за полвека, но вся его стройная корпулентная фигура дышала энергией и бодростью. Большие серые близорукие глаза в очках излучали неотразимо привлекающий свет. Едва произнесил он несколько слов, как новый собеседник оказывался во власти его обаяния.

Поражала его энциклопедическая эрудиция. Он хорошо был знаком с В.Г. Короленко, Н.Г. Михайловским, П.Л. Лавровым, П.Ф. Якубовичем-Мельшиным, С.Я. Елпатьевским и многими другими известнейшими литераторами, учеными, художниками. По образованию был юрист и, готовясь к адвокатуре, проштудировал речи выдающихся судебных и политических ораторов. Сам блистал красноречием, изумительно декламировал, играл на сцене, мог петь, танцевать, устраивал домашние живые картины и спектакли, сочинял фельетоны и очерки для газет, отменно рисовал, писал картины акварелью и маслом. Как говорится, при рождении его поцеловали все музы.

Когда мы сошлись с Леонидом Петровичем поближе, когда он присмотрелся ко мне, поверил, то рассказал однажды, что он – революционер и был на каторге...

Через много десятков лет после описываемых событий я ввязался в одну дискуссию. Ее начал в «Литературной газете» мой ученик, прекрасный алтайский учитель Степан Павлович Титов. «Если не любить...» так называлась его статья о формальном преподавании литературы в школе. Я не удержался, откликнулся, и моя статья – «Когда есть любовь» тоже была помещена в газете. Теплым благодарным словом помянул в ней Леонида Петровича Ешина и его семью: они были моим подлинным университетом.

Дальше было вот что. «Литературная газета» получила телеграмму, адресованную мне:

«Недавно с большим волнением всей семьей читали твою статью. Сообщи адрес. Крепко обнимаю – Андрей Ешин».

Писательница Екатерина Лопатина опубликовала очерк «По следам телеграммы», в котором рассказала о встрече с ее автором. А я ведь дружил с Андреем, старшим сыном Леонида Петровича, начиная с 1910 года! Связь с ним прервалась в бурные годы гражданской войны, и после никак не мог его разыскать.

Теперь, найдя друг друга, мы завязали оживленную переписку, очень хотели встретиться, но, к прискорбию моему, вскоре Андрея Леонидовича не стало. Сын его Валерий Андреевич, заведующий кафедрой Ростовского финансово-экономического института, увлекшись историей, сумел основательно познакомиться в архивах с «Делом 21», по которому проходил в царском суде его родной дед, а мой незабвенный наставник Леонид Петрович Ешин.

В бытность свою студентом-юристом Харьковского университета, он вступил в организацию «Народная воля», стал одним из сподвижников знаменитого революционера Германа Александровича Лопатина. Как известно, Лопатин вел непримиримую войну с самодержавием, его схватили, он бежал из ссылки, сблизился за границей с Карлом Марксом, был избран в Генеральный совет I Интернационала, стал первым русским переводчиком «Капитала», тайно вернулся в Россию, пытался организовать побег Н.Г. Чернышевского, снова был схвачен – история его жизни читается как роман! По Лопатинскому процессу, по «Делу 21», и проходил Ешин вместе с поэтом Якубовичем-Мельшиным, Кирсановым, Яхонтовым, Петровым и другими.

Германа Лопатина приговорили к смертной казни, замененной потом одиночным заключением в Шлиссельбургской крепости. Остальных погнали на каторгу в самые отдаленные и гиблые места Сибири... В рукописном отделе Пушкинского дома в Ленинграде хранятся воспоминания А.И. Хлебникова, где рассказано и о Леониде Петровича:

«...Из Петербурга летом (в июле) 1887 года П.Ф. Якубович и Л.П. Ешин с товарищами были доставлены в тю-

ремной повозке в Москву. В Нижнем нас посадили на баржу до Перми, затем по железной дороге – до Тюмени, затем опять на барже до Томска и т.д. Во время пути по Иртышу и Оби обязанности повара взял на себя наш товарищ Л.П. Ешин. В отношении денег у нас была полная коммуна, кормовые также шли в общую кассу, передавались Ешину, который покупал провизию и стряпал нам в солдатской кухне.

В Томске нам предстояло расстаться с Ешиным. Решили поднести ему книгу «Стихотворения» Матвея Рамшева (псевдоним П.Ф. Якубовича). На последней странице Якубович написал в честь Ешина следующее юмористическое стихотворение:

*Когда сокрылся край родной
За дальними горами,
Ты из провинции гнилой
Нас угощал пирами.*

*Когда Иртыш кругом струил
Холодные туманы,
Ты карасями нас кормил,
Хотя и без сметаны.*

*Варил из уток диких суп,
Туманящий рассудок,
В кулеш без меры сыпал круп,
Чтоб наш смирить желудок.*

*Хвала тебе, наш хлебодар,
Пестун наш благородный!
К тебе наш не остынет жар
И на Каре холодной...»*

Кара и Актуй – места, где им предстояло отбывать каторгу в Сибири. Считаю своим долгом отметить, что выдержки из этой рукописи я заимствовал из разысканий доцента Тамбовского пединститута В.Н. Двинянинова, который долгие годы изучал творчество поэта П.Ф. Якубовича-Мельшина. О своем обширном исследовании он любезно

сообщил сыну и внуку Ешина, а те написали мне. Впрочем, я и лично слышал от Леонида Петровича о революционной борьбе народовольцев, об их жизни на каторге и в ссылке, а с одним из его «однодельцев», Василием Петровичем Петровым, сам не раз встречался в Барнауле и Бийске.

Так и случилось, что на старости лет я вновь был возвращен памятью к моему учителю и другу, которому я многим обязан.

Во всем облике его я впервые увидел глубоко порядочного русского интеллигента. Не только по причине образованности (хотя он очень много знал) и не только по причине воспитания (хотя он необыкновенно был деликатен и мягок), но прежде всего потому, что отличали его прямота, желание добра, внутренняя честность. Меньше всего человек думал о личном преуспевании, но всегда хотел быть полезным своему народу.

Вижу теперь, что был он отчасти прекрасодушен, в чем-то наивен даже, но в то же время деятелен, тверд, предан идее. В конце концов, к беднякам его не отнесешь, он происходил, как говорили тогда, из хорошей семьи, был по-настоящему талантлив, имел связи в столицах, владел профессией, которая могла бы принести ему немалый доход. И ничем решительно не поступился, чтобы облегчить участь свою и своей семьи. До конца сохранил гордую самостоятельность мысли, верность своим воззрениям – долгу перед страной и народом, как он понимал.

Как же мне повезло, что едва ли не на пороге самостоятельной работы я увидел, узнал, имел перед глазами пример такой жизни!

Но вернемся на шестьдесят восемь лет назад...

Отбыв каторгу, Леонид Петрович попал на вольное поселение в Сибири, надолго там застрял, женился по любви, но через несколько лет овдовел, имея четырех малолетних детей. Вот и привез их, как это только было дозволено, в село Старый Лещин, к своей младшей сестре Александре Петровне – на воспитание.

Она боготворила брата. В молодости была, говорят, очаровательна, любила лошадей; как-то скакала по селу, из подворотни выскочила собачонка, лошадь шарахнулась, всадница упала наземь. И загубила жизнь: ей выбило глаз.

Она не вышла замуж, навсегда надела темные очки, была ко времени нашего знакомства седеющей дамой, но не утешалась неистощимой жизнерадостности.

Есть семьи, которые притягивают к себе окружающих. Такой семьей-магнитом были Ешины. По существу, членом семьи была старинная подруга Александры Петровны – учительница Евгения Георгиевна Карпова, прекрасной души человек. Поселилась в этом доме, да так и не захотела вернуться к родственникам, богатым аристократам. Членом семьи стал и студент Макарий Животовский, приглашенный готовить Андрюшу Ешина к экстернату в курской классической гимназии. Умница, остряк, знаток литературы и отличный художник. Одно время вместе с Андреем занимался у него и я в качестве «прилепыша».

А вот старшая сестра Ешиных, Варвара Петровна, как-то чуралась деревенских единокровных родственников, жила в Курске, имела свою, частную женскую гимназию, входила в высший свет. Приезжая в Курск, Леонид Петрович, останавливался в дешевых номерах, а к сестре даже не навещался. Никогда и Варвара Петровна не бывала в Старом Лещине.

Желание бескорыстно делать добро было душевной потребностью Ешиных. Помню, как с утра Александра Петровна и Евгения Георгиевна, ходили «в народ», выискивая больных по всему селу, оказывая им первую медицинскую помощь. Если находили в избах способных к учению ребят, то брали их к себе, бесплатно кормили, воспитывали и определяли в учебные заведения. Александра Петровна выписывала для этого литературу, ездила летом на Фребелевские курсы, слушала крупнейших отечественных педагогов. И взрослым любознательным людям – учителям, приказчикам, псаломщикам – Ешины помогали продолжать образование. Тоже, разумеется, бесплатно.

Таким-то образом они и приняли меня, как родного, взяли в семью, и я увидел, какая чистая может быть жизнь, какие бывают споры без ругани и веселье без водки. Книжки, беседы, чтения, игры – вся атмосфера этого дома сослужила мне в будущем великую службу. Я ведь и сам учил впоследствии не только детей, но и взрослых, тоже читал книжки вслух, тоже ставил с крестьянами спектакли.

Все население дома Ешиных сплотилось в дружный коллектив. Издавали иллюстрированный журнал «Мозаика», редактором которого был Андрияша, а сотрудниками – все, начиная от Леонида Петровича и кончая младшими детьми: Ленчиком, Лизой и Верой. Стал корреспондентом «Мозаики» и я, пробуя свои силы в стихах и прозе и выслушивая добродушные подтрунивания веселого семейства, на которые нельзя было обижаться.

Забываясь о моем серьезном образовании, Леонид Петрович говорил:

– Ты – бедняк. Средств у тебя нет для продолжения учебы в гимназии или городском училище. Ты не клерикального рода-племени. Значит, и в духовные семинарии вход тебе закрыт. Да и возраст не тот. Остается для тебя один путь: самообразование, а дальше – народный университет Шанявского. Туда тебе и надо держать курс. Читай, учись, готовься. А там видно будет.

Он составил план моего чтения и указал разумные методы работы в этом направлении.

Только в семье Ешиных я понял, для чего на свете писались и пишутся книги. Это она взрастила во мне те зерна, что заронили дьякон Михаил Аушев и каплинский учитель Фома Иванович Мяжкой...

В летние вечера в садовой беседке или в старинной липовой аллее Леонид Петрович читал вслух художественные произведения. На стол ставили лампу под зеленым абажуром. Члены семьи и гости, облепив чтецов, слушали не шевелясь. А читал Леонид Петрович бесподобно. Собственно, не читал, а и г р а л произведения. Он находил такие проникновенные интонации, которые иглами вонзались в сердце. И персонажи из книг вставали перед слушателями, как живые, реальные люди, со всеми характерными внутренними и внешними особенностями. До смерти не забуду, как слушал в его исполнении пьесу А.П. Чехова «Дядя Ваня». Когда он дошел до последнего монолога Сони, то сам задохнулся от слез, и тихо плакали мы все.

И в тот вечер мне впервые стала понятна непреоборимая сила художественной литературы, возникающая при ее мастерском чтении – в деле общего образования, эстетического и гуманитарного воспитания человека...

Существовали Ешины на скудный адвокатский заработок главы семейства. А известно, какой это был доход в деревенской глуши, вдали даже от такого «культурного центра», каким был до революции городишко Тим. Но, совсем не думая о накоплениях, они при любой возможности отправлялись в Москву, усердно посещали музеи, театры, галереи, выставки. Привозили оттуда новые книги и журналы, альбомы с портретами артистов, музыкантов, ученых, писателей, монографии о спектаклях, театральные программы, репродукции картин великих живописцев. А рассказам о впечатлениях не было конца.

Экспансивная, как девочка, Александра Петровна прерывала их восторженными восклицаниями:

– Ах, Собинов, Собинов! Что он делает с публикой! Он шел по цветам на сцене Большого театра, как по снегу. Когда он выходил из театра, слушатели на руках несли его до кареты. Один раз даже каблучком стукнул меня по макушке!.. А в Художественном, господи, – ну все живое, все настоящее! Просто забываешь, что ты в театре! Пустили на сцене дождь. И такой это был натуральный дождь, что моя соседка в зале всполошилась: «Ах, я забыла дома зонтик! Как домой идти?» А спектакль-то был зимой!

Надо ли говорить, что я впитывал все как губка. Летом 1911 года Ешины сговорили меня ехать с ними в Курск – послушать оперу, о которой я знал только по их рассказам. Это было целое путешествие; меня поразил шум губернского города, толпища народа. (Теперь-то сказали бы о старом Курске, что был он мал и не так уж многолюден и шумен). Вечером давали оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Оркестр, пение и игра настоящих артистов так ошеломили меня, что я потерял ощущение грани между поэтическими созданиями и реальной жизнью. И даже в эти минуты всплывает в моей душе сладостный восторг, какой пережил я в тот давний удивительный вечер.

Ранней весной 1912 года, когда еще лежали последние снега, я прочел в губернской газете объявление, что в Доме курского благородного дворянского собрания (ныне Дом Советской Армии) состоится концерт знаменитого скрипача Бронислава Губермана. А мне давно хотелось услышать

большого музыканта. И решил я во что бы то ни стало по-
пасть на концерт. Бросил служебные дела.

Запряг парень Степа свою сытую могучую кобылу
Машку в розвальни, и мы поехали на станцию Солнцево
Южной железной дороги. От нее до Курска езды два часа.
Я рассчитывал, что приеду в Солнцево к вечернему поезду,
с которым как раз и поспею на концерт. Но когда до станции
оставалось версты две, у нас случилась авария: порвалась
одна завертка в санях, а запасной веревки мы не захватили.
Пропала моя мечта из-за ничтожной завертки! Сани пош-
ли поперек дороги, а дорога – земля!.. Слышен уже гудок
паровоза. У меня замирает дух. Ох, опоздаю! Степа хлещет
Машку бичом изо всей мочи. Подъехали к станционной ко-
новязи. И поезд – у станции. Я мигом с саней – к вагону, без
билета. Какой тут билет?! Сунул кондуктору полтину...

К концерту я не опоздал, но все билеты в кассах были
проданы. Опять беда! Лечу к администратору! Умолил: он
дал мне входной. Слава Аллаху! Я, стоя, слушаю мирового
скрипача!!

Своей игрой он довел зрителей до исступления. В ар-
тистическую комнату ему приходилось проходить через
зал, в левую дверь. Зрители (и я тут же) образовали живую
стену и не хотели выпускать его, требуя играть на бис еще и
еще. Низенький, слегка раскосый и гордый виртуоз, утом-
ленный до предела, наконец сердито крикнул:

– Не буду!!

И силой прорвал живую стену.

Концерт Бронислава Губермана раскрыл мне неизъяс-
нимую и непонятную дотоле прелесть игры на скрипке и
понудил продолжать изучение этого инструмента...

И еще одно музыкальное потрясение, которого мне
никогда не забыть. Курская духовная семинария устроила
в летние каникулы 1912 года регентские курсы для народ-
ных учителей. Руководил ими известный в те годы москов-
ский деятель хоровой культуры Алексей Николаевич Кара-
сев. Уроки скрипичной культуры давал нам Вилкомирский,
тоже замечательный музыкант. И вот, представьте себе эту
лекцию – огромный зал, в котором поют четыреста учите-
лей, а им подыгрывают две сотни скрипачей. Я и поныне
ничего подобного не слыхивал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. В БАРНАУЛЕ

Жизнь моя была исполнена теперь нового смысла; казалось, и мечтать мне не о чем, но часто в доме Ешиных возникали разговоры о далекой Сибири. То ли недостаток средств был причиной, то ли преследования местных властей – не знаю точно, – но они хотели переселиться туда. Положение каторжанина не помешало Леониду Петровичу полюбить этот край непочатой земли, необъятных просторов, неисчислимых природных богатств, свободолюбивых и сильных людей.

Из его рассказов Сибирь рисовалась нам сказочной страной, и постепенно вся семья Ешиных, а с ними и Евгения Георгиевна, и Макарий Животовский, и я возмечтали о путешествии. Сняться с места им было, конечно, тяжело, мне же – проще простого. Поговорка «ни двора, ни кола» вполне обрисовывала мое положение. Фанерный чемодан с одежкой, тощая связка книг и дешевая скрипка, которой я успел обзавестись, – вот и все мое тогдашнее достояние.

Вечерами под зеленым абажуром раскладывалась карта, все отчетливее рисовалось переселение, все меньше смахивало на фантазию и в августе 1912 года сбылось.

Так я попал в Сибирь, связав с ней жизнь на долгие годы.

Мы «осели» в Барнауле. Леонид Петрович устроился на работу в Земельном отделе Алтайского округа кабинетских владений. Евгения Георгиевна хозяйничала, Александра Петровна и Животовский давали частные уроки, Андрюша, Вера и Лиза поступили в гимназии, а я получил место учителя в Соборной Петропавловской церковноприходской школе, в самом центре города...

По недостатку необходимых для того специальных знаний, я не могу дать полной экономической характеристики Барнаула тех лет, но, по-видимому, он был богатым городом. Через Бийск и Барнаул, по могучим водным артериям – Ка-туни, Бии и Оби направлялись за границу грандиозные потоки «даров Алтая» – сливочного масла, мяса, пушнины, кож, меду, рыбы, пшеницы, муки, сала и проч.

На Барнаульской пристани протянулись длиннейшие склады торговых представительств Англии, Голландии, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии. В зимнюю морозную пору к ветеринарно-санитарной станции по многим улицам шли бесконечные ряды саней, заваленных тушами мяса – для клеймения.

На базаре пролегли целые «улицы», на которых вместо домов высились штабеля замороженной рыбы – стерлядей, сомов, нельмы и др. Покупатели выбирали рыбины, а продавцы вытаскивали их из штабелей, как сутунки дерева! Площадь за собором в базарные дни покрывалась тысячами бочонков со сливочным маслом... В длинном подвале на Пушкинской улице торговал колониальными товарами татарин Бахтияров. В этом подвале круглый год продавали виноград разных сортов и стран, апельсины, лимоны, мандарины, персики, бананы, винную ягоду, дыни, арбузы, груши, сливы, яблоки, вишни, кокосовые орехи, урюк, сладкие рожки и т.д. В обжорном ряду на базаре за три копейки торговли кормили клиентов «от пуза» пельменями и другими мясными блюдами.

А универмаги Второва, Морозова, Смирнова могли бы стоять на любой центральной улице Москвы или Петербурга. Магнату Второву принадлежали огромные торговые дома еще и в Бийске, Томске и прочих сибирских городах. Пароходовладельцы – братья Мельниковы и Илья Фуксман, пимокат и шубник Поляков, единственный в городе «электрический и мельничный король» Платонов, купцы Суховы и Федулов, заводчики фруктовых вод братья Ворсины – тоже были крупными капиталистическими тузами в Барнауле...

Уже в начале этого века Барнаул входил в ряд культурных центров Сибири. Культуру принесли в него многочисленные политические ссыльные. С ними был тесно связан путешественник, исследователь Центральной Азии, ботаник, этнограф, географ и фольклорист Григорий Николаевич Потанин, а также второй не менее крупный исследователь Сибири, археолог и писатель Николай Михайлович Ядринцев, открывший развалины древней столицы Монголии – Каракорума и доказавший существование в Центральной Азии древнейшей самобытной письменности. За

географические, этнографические и археологические труды Н.М. Ядринцев получил золотую медаль от Русского географического общества. В культурной жизни Барнаула Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев оставили глубокий след. Не могу не отметить удивительного факта. С 1912 года до Октябрьской революции в фойе Барнаульского Народного дома (теперь – краевого театра) висели три прекрасных портрета: социалиста-революционера Василия Константиновича Штильке, Григория Николаевича Потанина и Николая Михайловича Ядринцева.

В.К. Штильке и был инициатором создания в городе Народного дома и учительской библиотеки при нем. Как с этим мирилось царское начальство, – остается загадкой! Политические ссылки добились открытия в Барнауле общегородской библиотеки, которая помещалась на Бийской (Никитинской) улице, 90. Ныне здесь работает телефонная станция. Заведовала библиотекой политическая ссылка Ульяна Павловна Яковлева, женщина энергичная, широкообразованная и самоотверженно преданная делу народного просвещения. Сын ее Александр до самого ухода на пенсию занимал пост директора городского училища, а его жена, Ольга Павловна, учительствовала в общеобразовательной школе. Мы с нею в январе 1925 года входили в состав Алтайской губернской делегации на Первом Всесоюзном учительском съезде в Москве.

И ныне стоит на Никитской улице Барнаула домик под номером 145, в котором 57 лет тому назад поселились Ешины и я. Он принадлежал некоему Боброву, управляющему предприятиями купца Федулова.

В семью Ешиных стекались самые интеллигентные люди города: литераторы, артисты, адвокаты, композиторы, певцы, политические ссылки, хормейстеры и дирижеры оркестров, художники, лучшие преподаватели учебных заведений. Эти собрания посещали и либерально настроенная жена заместителя начальника Алтайского округа Мария Николаевна Андреева, и начальница частной женской гимназии Мария Флегонтовна Будкевич, ее муж Эдуард и дочери. Супруги Будкевич когда-то эмигрировали в Швейцарию, как революционеры. Дети их получили высшее образование в Цюрихе.

Разговорам и дебатам по разным вопросам науки, политики, литературы и искусства не было конца в квартире Ешиных! Я, как губка воду, жадно впитывал их, пополняя свои скудные знания, вынесенные из церковных школ.

Взяв курс на народный университет имени Шанявского, я усиленно готовился к поступлению в него. В школе я вел только один класс. В час дня занятия кончались. Времени свободного оставалось у меня уйма. Общественной внешкольной работы – никакой! После обеда я уделял час-два переписке нот: в них нуждались хоры и оркестры, которых в Барнауле и тогда было немало. Я писал ноты, как печатал (спасибо Каплинской школе!), а потому имел заказов по горло! Зарабатывал на переписке нот изрядно. Копил деньги на учебу в Москве. Вел спартанский образ жизни. Продолжал учиться игре на скрипке, беря уроки у лучших скрипачей города. Не пил, не курил. Посещал только театры, кино и концерты. С четырех до семи вечера регулярно работал в городской библиотеке: читал, делал выписки, конспектировал. Здесь моей наставницей была Ульяна Павловна Яковлева, опытный «лоцман по книжным морям». Она приучала абонентов вдумчиво и добросовестно работать над книгой. С этой целью учиняла с ними выборочные собеседования, своего рода экзамены по прочитанному. Не раз и я попадал к ней на такие экзамены. Принесешь, бывало, книги на обмен, а она поманит тебя пальчиком в свой кабинетик и начнет допрос:

– Ну, что прочли?

– «Новый органон» Франциска Бэкона Веруламского.

– Ага... Поняли что-нибудь?

– Понял.

– О чем же он говорит в этой книге?

– Об опытном, индуктивном методе познания мира. Он и открыл этот метод.

– В чем же он заключается?

– В том, что все предметы и явления внешнего мира познаются нашими внешними чувствами, опытом, а их восприятия проверяются нашим рассудком...

– Так, так... А покажите-ка выписки из книги.

Показываю.

– А как до Бэкона философы познавали мир?

– Умозрительно, без опытных доказательств, или эмпирически, то есть накапливали факты, не проверяя их собственным рассудком...

– А покажите-ка самую важную выдержку, в которой содержится эта новая идея Бэкона Веруламского.

Я читаю выдержку:

«Те, кто занимались науками, были или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только собирают и пользуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, из самих себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ, она извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собственным умением. Не отличается от этого и подлинное дело философии...»

Итак, следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до сих пор не было) союз этих способностей, т.е. опыта и рассудка...»

– Ну, идите, меняйте книгу...

Эта маленькая женщина в больших темных очках, делавших ее похожей на летучую мышь, давала всем читателям полезнейшие советы о самообразовании. Если нужных книг в городской библиотеке не доставало, то по особому заказу Ульяна Павловна добывала их даже из-за границы. Конспектов, записных книжек, читательских дневников и карточек для библиотеки цитат, вырезок из газет и журналов у меня накопилась куча! Они были неизменными спутниками и помощниками в моей массовой культуре.

В Барнауле я проработал множество первоклассной научной литературы: сочинения Дарвина, Уоллеса, Тимирязева, Костомарова, Дрепера, Моргана, Ключевского, Трачевского, Ляйеля, Мечникова, Пирогова, Сеченова, Плеханова, Лаврова, Михайловского, Бебеля, Тисандье, Умова, Спенсера, Мальвера, Бэкона Веруламского, Песталоцци, Ушинского, Яна Амоса Коменского, Локка, Жан-Жака Руссо, Лая, Меймана, Марии Монтессори, Фребеля, Поттебни, Буслаева, Мейе, Овсяннико-Куликовского, Фортунатова, Богородицкого, Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и десятки иных.

О художественных произведениях уж не говорю: я «проглотил» их невесть сколько!

Из педагогических сочинений мне в высшей степени полезной показалась книга П.Ф. Лесгафта «Школьные типы». В Барнаульской городской библиотеке она имелась в единственном экземпляре. Я переписал ее от слова до слова в свои общие тетради. «Школьные типы», по-моему, тот самый магический инструмент, с помощью которого вдумчивый педагог может увидеть всю глубину души любого своего питомца. Я до сих пор не могу понять, почему одни современные педагоги мало интересуются великой книгой П.Ф. Лесгафта, а другие, коих большинство, даже ничего не слышали о ней.

Леонид Петрович убедительно разъяснил мне, что учитель, по самому роду его профессии, – публичный оратор и что поэтому он должен правильно и красиво читать и говорить. Мой пестун часто повторял излюбленный афоризм из знаменитой книги французского академика Легуве «Чтение как искусство»: «Голос – это такой толкователь и наставник, который обладает дивной, таинственной силой».

И я, сколько позволяли силы и способности, учился ораторскому искусству; учился упорно, ежедневно штудирую книгу О. Озаровской «Школа чтеца» (хрестоматия для драматических, педагогических и ораторских курсов); сборники речей судебных и политических корифеев – Плевако, Кони, Урусова, Маклакова, Тесленко, Андреевского, Спасовича, Карапчевского, Линкольна, Жореса, Гладстона и др.

Сам себе давал уроки выразительного чтения, запираясь в своей комнате. Воображал персонажей из прочитанных книг, искал их жесты, мимику, интонации голоса, размечал в тексте логические ударения, психологические паузы, разгадывал подтекст. Стоя перед зеркалом, произносил обвинительные речи против Иудушки Головлева или, скажем, городничего из «Ревизора». Начитавшись антирелигиозных сочинений Мордовцева, Ростиславова, Мальвера, обличал корыстолюбие, ханжество, роскошь иерархов. А однажды яростно защищал на воображаемом суде Катюшу Маслову.

Все добытое в этих изнурительных упражнениях пригодилось мне потом при чтении книг детям и взрослым, а первый опыт публичного выступления запомнился надолго: необычна была сама аудитория.

Зима 1913–1914 года... Барнаульское филантропическое общество собрало беспризорников в школе при Богородицкой церкви. В программе значилось: назидательное слово о детском благонравии, художественное чтение, хоровое пение и чай с мясными пирожками. Устроители предложили мне прочитать детям какое-нибудь сочинение посерьезнее. Я выбрал «Приключения барона Мюнхгаузена».

И вот стою перед страшной аудиторией. Грязные, озлобленные лица, лохматые головы, немислимое тряпье. Юное человеческое «дно» гудит, рычит, толкается в ожидании пирожков. Назидательную проповедь священника никто и не слушал. Настал мой черед. Читаю о попытке барона залезть на луну по бобовому стеблю – слушатели начинают затихать. Читаю о скачущей половине лошади – смеются. Приступаю к истории об утках, зажаренных на лету, – хохочут вовсю. Все, закрываю книгу.

– Дядь, еще, еще читай!

– Хочь одну!

– Ой, баско!

– Хлопает, а интересно!

– Давай еще!

«Хлопает» – по-сибирски «врет», «баско» – значит «хорошо». Дошло мое чтение. И я отдал ребятам книжку, а после купил вместо нее для библиотеки другую.

В мое время в Барнауле выходили две газеты: «Жизнь Алтая» и «Голос Алтая». Первую их них издавал либеральный купец Вершинин, торговавший головными уборами и имевший типографию. Сын его был членом Государственной Думы. В 1912–13 годах газету редактировал известный сибирский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков, эмигрировавший во Францию, а затем в Америку, где и скончался в 1964 году.

Вслед за Гребенщиковым «Жизнь Алтая» редактировал социалист-революционер, бывший учитель Акиндин Иванович Шапошников. Наиболее талантливым сотрудником газеты был социал-демократ, юрист по образованию, поэт и краевед Порфирий Алексеевич Казанский, печатавший свои ядовитые стихотворные фельетоны под псевдонимом «ПРЕМУДРАЯ КРЫСА ОНУФРИЙ».

Был он маленький человечек с бледным лицом и пискливым голосом, но на литературных диспутах с особым вниманием слушали его остроумные речи. С ходу, без особой подготовки он мог прочесть лекцию о Рафаэле, Паганини, Рубенсе, Бетховене, Шаляпине, Репине, о материалистической диалектике Маркса, о поэзии Шекспира, Гете, Мильтона, Блока... Казанский знал и любил Сибирь, посвятил ей много краеведческих работ и два сборника стихотворений, изданных в Барнауле: «Песни борьбы и надежды» (1917) и «Родному краю» (1918). Они теперь прочно забыты, и совесть моя не мирится с этим.

Полны пламенного патриотического пафоса стихи из поэмы «Сибирь»:

*Я твой, родимый край! К тебе любовью полный,
От дальних берегов вернулся я домой.
Шумите для других, синеющие волны, -
В моей душе шумит тайга земли родной...*

В последних стихах поэмы слышится пророчество расцвета Сибири:

*Ты всех в одно сольешь, на жизнь благословляя,
И бодро в мир войдешь, судьбой закалена...
И сын иной земли, о жизни размышляя,
Промолвит о тебе: «ВЕЛИКАЯ СТРАНА!»*

Ажурной словесной живописью, и звонкой внутренней рифмой, и виртуозной техникой пленяет читателя и просится на музыку «Иней»:

*В неподвижности мороза
Встала солнечная греза,
И зарделась, заалелась, раньше мертвенно бела,
Улыбнулась, распахнулась перламутровая мгла.
И под ясными лучами
Утомленные ночами,
Глубиною, синевую засветились небеса,
Розовея, будто млея, стали сказкою леса.
Ветви голые одеты*

*Будто прелестью привета,
Как угрозы серой прозы в мягких, ласковых словах,
В снежно-чистых, нежно-мшистых,
серебристых кружевах.*

Трудно цитировать стихи Порфирия Алексеевича: не знаешь, что из них брать – все они так хороши! Все значительны по содержанию, задушевные, образны и общепонятны. Лексика их точна, а формы разнообразны, классически строги и безупречны.

Совість не мирится с преждевременным забвением одного из талантливейших певцов Сибири. Черный 1937-й год был и для него роковым...

На чьи средства издавалась газета «Голос Алтая», трудно сказать, но основной штат ее сотрудников тоже подобрался из политических ссыльных – социалистов-революционеров и социал-демократов. Подставным редактором числился некто В. Досекин, а активными сотрудниками были Леонид Петрович Ешин и ссыльный Лашкевич. Фельетоны и публицистические статьи Леонида Петровича, подписанные псевдонимом NEMO (Никто), имели большой успех у публики. Проведав настоящую фамилию NEMO, читатели аплодировали ему при встрече в саду или фойе Народного дома.

К сотрудничеству в «Голосе Алтая» Леонид Петрович привлек и меня. Я начал с рецензий на спектакли и концерты.

Бедная редакция газеты помещалась на Томской улице, на втором этаже кривого и трухлявого домишки. Было опасно подниматься по прогнившей лесенке в затхлую комнатуху, в которой, утопая в табачном дыму, сидел над рукописями щупленький морщинистый редактор В. Досекин.

Недолго протянул «Голос Алтая» – и замолк навсегда. В «Жизни Алтая» я опубликовал одну большую статью «Драма», в которой излил негодование по поводу самоубийства сельского учителя, затравленного жандармами. Читатели хвалили эту статью, но из-за нее я попал в неловкое положение. Когда я пришел в редакцию за гонораром, мне сказали:

– Гонорара вам не положено.

– Почему?

– Вы в рукописи не указали, что желаете получить за статью гонорар. Поэтому и не платим его...

Я и облизнулся! Так встретила дореволюционная печать мое первое более или менее серьезное «публицистическое выступление».

Недалеко от угла Пушкинской улицы и Соборного переулка (Социалистического проспекта), в небольшом домике приютился единственный тогдашний в Барнауле книжный магазин Василия Кузьмича Сохарева.

Низенький, красно-рыжий, юркий, с узенькими и стреляющими во все стороны глазками – Василий Кузьмич был кипучим коммерсантом культурного типа. Он вышел из сельских учителей и, подобно всесибирскому миллионеру Петру Ивановичу Макушину, бросил школу и занялся книжной торговлей, стремясь на этом поприще принести больше пользы делу народного просвещения.

Имея только двух подручных, он орудовал довольно солидным делом, вникая во все его детали. Постоянно и внимательно следил за лучшими литературными новинками, непременно читал их, критически оценивал, и потому каждому покупателю давал полную характеристику любой книги. Плохих книг он не продавал. Покупатели это хорошо знали, верили его рекомендациям и никогда в этом не раскаивались.

Как человек, интересовавшийся широким кругом вопросов общественной жизни, науки и культуры, Василий Кузьмич изучил эсперанто, и даже написал и на свой счет издал в Барнауле учебник этого международного вспомогательного языка.

В магазине В.К. Сохарева сходились со всего города книголюбы и заводили свободные беседы, жаркие споры по разнообразным вопросам жизни, науки, литературы и искусства. Разумеется, я бывал завсегдатаем магазина, заядлым участником всех этих словопрений, ибо и они в сильной степени расширяли мой кругозор. Я всегда с благодарностью вспоминаю книжный магазин В.К. Сохарева, как одну из благодетельных школ, встретившихся на моем жизненном пути...

Мужская классическая гимназия, реальное училище имени Николая Второго, Мариинская женская гимназия, две частные женские гимназии – Будкевич и Красулиной, два городских училища, высшее женское начальное, коммерческое и духовное училища – вот все те учебные заведения, в которых получала образование барнаульская молодежь привилегированных и состоятельных сословий. Начальных, министерских и церковноприходских школ в городе было достаточно для охвата всех детей. И занятия в этих школах проходили в одну смену...

Выдающихся педагогов дореволюционный Барнаул дал немного. Первым из них надо назвать историка реального училища Леонида Ивановича Шумиловского. Помимо преподавания, он занимался публицистикой, писал отличные статьи, выступал с лекциями, участвовал в литературных судах и диспутах. В разгар гражданской войны он каким-то образом влип в правительство Колчака с портфелем министра труда и, конечно, бесславно кончил.

Другой педагог реального училища, естествовед Виктор Иванович Верещагин, долго изучал флору Алтая, опубликовал много трудов о результатах своих исследований. Женился он на аристократке, не приученной ни к какому труду. Всегда погруженный в научные занятия, и он мало понимал в житейских делах. Сошлись два сапога – пара!

К Ешиным часто забегал социал-демократ, литератор и профсоюзный деятель Владимир Иванович Шемелев – тихий, застенчивый, близорукий блондин. Он глубоко изучал положение рабочих в историческом прошлом на Алтае и в результате этого написал капитальный труд «Крепостнический Алтай». К сожалению, труд этот до сего дня не издан только потому, что он принадлежит перу бывшего меньшевика (!). Из многих рассказов В.И. Шемелева, документально обоснованных и ярких, оживали ужасающие картины бесправия и жесточайшей эксплуатации крепостных рабочих на бывших кабинетских заводах Алтая. Эти картины я узнал задолго до того, как их изобразили А.А. Караваев в «Золотом клюве», сибирский писатель-фольклорист А.А. Мисюрев – во многих его сказах, П.А. Бородин в повести «Тайны Змеиной горы».

И старый Барнаул не обижал Мельпомену. В нем действовали театры: профессиональный (летний и зимний) Народного дома, Общественного собрания и Управления Алтайского округа.

Первый был общедоступный, второй – преимущественно купеческий, третий – чиновничий. В Народном доме играла сильная труппа антрепренера и артиста Батманова. В Общественном собрании подвизался с самодеятельным кружком бывший артист, а затем любитель С.И. Новоселов, который готовил прекрасные спектакли, не уступавшие по мастерству постановкам в Народном доме.

Но на летней сцене Общественного собрания (на углу Томской улицы и Соборного переулка) нередко «артисты»-проходимцы угощали импотентных купцов, купчих да отставных военных – порнографическими фарсами.

Только на этой сцене выступали в Барнауле и лилипутские труппы.

В театре Управления Алтайского округа играли исключительно высшие чиновники-аристократы. Здесь изредка устраивали и детские спектакли. Ставили даже детские оперы, в которых начали свою карьеру замечательные певцы Шура Ракина и Роза Альперт. Вторая после училась в Петербургской консерватории и стала оперной артисткой.

В театре общественного собрания выдвинулся из рабочей среды лирический тенор Власов. На средства, собранные купцами-меценатами, он учился в Московской консерватории. Приезжая на каникулы, Власов давал концерты, сбор с которых поступал в его пользу. Дальнейшая его судьба мне неизвестна...

Театр – школа всестороннего просвещения и художественного воспитания общества. Эту сложную, благородную и почетную миссию превосходно выполняла многолюдная труппа Батманова. В ней были первоклассные артисты: героиня Маргер-Мирецкая, герой-любовник Сергеев, трагик Варминский, комик Картанов, инженер-комик Перовская, простак Белостоцкий, неврастеник Волин, резонеры Самарин, Лельский и многие другие... Этой труппе были под силу все виды драматических произведений. Она ставила и оперетты. Богатейший репертуар ее составили преимуще-

ственно пьесы высокоидейные, разнообразные по форме, захватывающие по содержанию. Перечислю только те из них, которые запомнились на всю жизнь: «Эдип-царь» Софокла, «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» Шекспира, «Уриэль Акоста» Гюцкова, все драмы и водевили Чехова, «Борис Годунов» Пушкина, «Ревизор», «Женитьба» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп» Л.Н. Толстого, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого, «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Мещане», «На дне» Горького, «Потонувший колокол» Гауптмана, «Привидения», «Кукольный дом» Ибсена, «Соколы и вороны» Южина-Сумбатова, «Осенние скрипки» И. Сургучева, «Савва», «Дни нашей жизни» Л. Андреева, «Гроза», «Лес», «Свои люди – сочтемся», «Волки и овцы» и многие другие пьесы А.Н. Островского, «Тартюф», «Пурсоньяк» Мольера, «Белая ворона» Чирикова, «Трильби» Г. Ге, «Русская свадьба» П. Сухонина, «Кручина» Шпажинского, «Идиот», «Братья Карамазовы» Достоевского, «Горькая судьбина», «Ипохондрик» Писемского и проч.

Изредка проскальзывали на сцену Народного дома и пьесы идейно чуждые, но либо модные, как «Ревность» Арцыбашева, либо слишком нарядные, как «Каширская старина» Аверкиева.

Театр Народного дома я посещал ежедневно, а в праздники – утренние и вечерние постановки.

Все ведущие артисты этого театра и рецензенты бывали частыми гостями у Леонида Петровича Ешина. Я всегда внимательно слушал их разговоры и споры о пьесах, различные варианты толкования их образов и смысла, исполнения ролей, образовательного и воспитательного значения спектаклей для народа. Артисты вспоминали исполнение ролей классиками сценического мастерства и тут же иллюстрировали свои суждения. Подробно, умно и тонко говорили обо всех компонентах, создающих успех спектакля. От разборов поставленных в театре пьес переходили к общей оценке всего творчества того или иного писателя.

Нужно ли говорить о том, какую важную роль сыграли все эти беседы, споры, толкования в моем общем интеллектуальном развитии? Барнаульская квартира Ешиных

явилась для меня высшим курсом литературно-театрального университета.

Вам понятен будет тот и горестный, и сладостный трепет, с каким я 20 июля 1964 года вновь увидел домик № 145 на Никитской улице* через 52 года после первого дня моей жизни в нем! Долго и грустно смотрел я на этот домик. В моем воображении прошла длинная череда незабвенных образов, подаривших мне бесценные культурные сокровища и давно канувших в Лету...

Спектакли в Барнаульском Народном доме шли неизменно с полным сбором. Я не могу припомнить дня, когда бы зрительный зал театра не был перенабит. Так любили барнаульцы сценическое искусство!

В августе 1912 года в Барнаул приехала всемирно известная хоровая капелла русской и славянской песни Маргариты Дмитриевны Агреновой-Славянской. Концерты капеллы вызывали фурор. Пребыванием ее в городе ловко воспользовался Батманов: он поставил спектакль по исторической пьесе П.П. Сухонина «Русская свадьба», в которой между прочим изображается обряд боярской свадьбы.

Все акты пышного произведения Сухонина были перевиты русскими народными песнями. В эпизодах с участием жениха пели тенора и басы капеллы; в сценах у невесты – сопрано и альты. Более волшебного пения нельзя и представить! Что ни номер – то диво из див!

А роль невесты исполняла сама Маргарита Дмитриевна. В жизни статная, круглолицая, румяная, – она была идеальной боярыней на сцене, точно вот-вот сошла с картины Маковского! Головной убор невесты рассыпал лучи не бутафорских, а настоящих бриллиантов! А когда по ходу действия Маргарита Дмитриевна спела проникновеннейшую гурилевскую:

*Матушка, голубушка,
Солнышко мое!
Пожалей, родимая,
Дитяtko свое!*

* В 2003 г. на этом доме была открыта мемориальная доска в память об А.М. Топорове. Событие это было приурочено к 70-летию юбилею Барнаульского педуниверситета. — И. Топоров.

то неистовство в зале прервало действие на несколько минут.

Спектакль «Русская свадьба» на сцене Барнаульского Народного дома был воистину незабываемым событием.

Неслыханное, истинно русское хоровое искусство прославленной капеллы пожелало послушать и все население Барнаула.

Отправили делегацию к Маргарите Дмитриевне. Она любезно уважила просьбу.

Но ни один зал города не мог бы вместить многотысячную массу. Выход из трудного положения нашли. На Московском проспекте, повыше пассажа Смирнова, соорудили высокую эстраду, на которой и выступила капелла. Все окружающее эстраду пространство, крыши, балконы и ограды близлежащих домов заполнили слушатели. Капелла, воодушевленная невиданной аудиторией, пела много, до полного изнурения.

Концерт был настоящим народным торжеством, какого не знала еще история города Барнаула!..

С шумным успехом батмановцы ставили и пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Песню «Быстры, как волны, все дни нашей жизни» горланили в Барнауле повсюду. Но спектакль крепко запомнился зрителям еще и потому, что с ним связывалась одна скандальная история.

Блестящее исполнение роли студента Николая Глуховцева артистом Волиным принесло ему и лавры и беду. Среди экспансивных поклонниц талантливого артиста оказалась и гимназистка, дочь купца-толстосума Федулова. Она навещала Волина в гостинице. Об этом донесли папаше, который и начал дело о растлении девицы. Оно стало в городе притчей во языцах. Волина исключили из труппы за моральное разложение, и он очутился безработным. А через некоторое время, как заклеянный позором, он оставил Барнаул.

Третьей незабываемой постановкой труппы Батманова была трагедия «Эдип – царь» Софокла. Желая возможно ярче и полнее воссоздать стиль и дух древнеэллинического театра, Батманов осуществил эту постановку в городском цирке. Она получилась необычно величественной...

Живо помню и четвертый спектакль в Барнаульском Народном доме, так как он возбудил во мне раздумья по вопросам сценического искусства.

Случилось так, что по окончании театрального сезона в 1913 году артисты труппы Батманова разъехались во все концы страны для заключения новых контрактов. Только комик Картанов все до копейки пропил, и ему с женой, инженеру Перовской, не на что было выбраться из Барнаула. Дело их – труба! Пришли супруги-горемыки к Леониду Петровичу Ешину за советом. И решили поставить «Дядю Ваню» Чехова. Объявили: сбор в пользу любимца публики Картанова.

Дядю Ваню взялся играть сам Картанов, роль профессора Серебрякова поручили Леониду Петровичу, Перовскую, как она ни отбрыкивалась, вынудили изображать Сою. Прочие роли распределили по любителям.

Начались репетиции. Перовская, всегда игравшая наивных, игривых или лукавых девушек, маялась над тяжелой, не подходящей для нее лирико-драматической ролью Сони. Она умоляла мужа заменить ее. Но кем?! Муж был непреклонен: нужны деньги до зарезу!

Готовили пьесу долго. На каждую репетицию Перовская отправлялась, как на костер.

Настал спектакль. С каждым новым актом впечатление от него росло и росло... Идет последняя сцена. Соня плачет «правдышными» слезами. Зал замер... Послышались подавленные всхлипывания и сморкания в платок...

Упал занавес. И через минуту молчания грянули аплодисменты, какие редко-редко слышались в театре Народного дома. Кричали:

– Перовскую! Перовскую! Перовскую!

После актриса говорила:

– Я плакала по-настоящему. Думала: наконец-то отучилась! Чуждая мне роль истерзала меня, вымотала все нервы!..

Да, так было. Перовская плакала неподдельно, и это потрясло зрителей, которые не знали истинной причины слез актрисы, но они видели и чувствовали их «правду».

Много лет спустя, я смотрел «Дядю Ваню» в театрах Новосибирска, Свердловска, Одессы и других крупных горо-

дов. Видел эту пьесу и во МХАТе. Но Сони, подобной Соне-Перовской, нигде не встречал!

Видно, никакие ультраакадемические, искусственные приемы игры, пусть даже по системе Станиславского, не заменят правды жизни. Я смотрел многие спектакли МХАТа. В них каждая деталь характерна, все предельно отшлифовано, все математически рассчитано. Но при всем том ясно чувствовалась точная, холодноватая, машинная работа. Думаю, это от того, что и гениальный артист не может искренне переживать те или иные чувства, играя данную роль 300, 400, 500 и более раз! «Механизация» роли при этих условиях неизбежна.

Вероятно, это мое рассуждение – грубая ересь невежды, но я не нашел оснований для отказа от нее...

Подлинным набатом, призывавшим к революции, прозвучала пьеса «На дне» А.М. Горького. По просьбе зрителей, ее повторяли несколько раз. Во время спектаклей в Народном доме дежурили усиленные наряды полиции. А песня «Солнце всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую популярность...

В семье Ешиных все любили стихи и декламировали их. В библиотеке стояли и полные собрания сочинений поэтов, и несколько «Чтецов-декламаторов», иллюстрированных портретами прозаиков, поэтов и артистов. Мне особенно нравились тонкие лирические стихи, подписанные инициалами «К.Р.». Никто не знал скрывшегося под ними таинственного поэта. Издатели таили его биографию и фото.

В нототеке Ешиных оказался чей-то сентиментальный романс, написанный на слова «К.Р.». Его напевали все члены семьи, даже маленький Ленчик. Подкупали и меня лиризм и гуманизм романса:

*Повеяло черемухой,
Проснулся соловей,
Уж песнью заливаётся
Он в зелени ветвей.
Учи меня, соловушка,
Искусству твоему!
Пусть песнь твою волшебную
Прочувствую, пойму.*

*Пусть раздается песнь моя,
Могуча и сильна,
Пусть людям в душу просится,
Пусть их живет она.
И пусть все им становится
Дороже и милей,
Как первая черемуха,
Как первый соловей.*

Осенью 1913 года в магазине В.К. Сохарева я заметил толстую книгу «Стихотворения». На ее серой обложке вместо полной фамилии автора я прочел таинственные буквы «К.Р.». Но пронырливый хозяин магазина расшифровал мне их: КОНСТАНТИН РОМАНОВ. Точнее: великий князь Константин Константинович Романов, дядя царя Николая Второго, президент Императорской академии наук.

Я купил «Стихотворения» «К.Р.». Читая книгу, встретил в ней и «Повеяло черемухой», и «Молитву», и «Надпись в Евангелие». Два последних стихотворения, не ведая их автора, заучивали наизусть все ученики церковноприходских школ вскоре за прохождением букваря.

Почти все стихотворения «августейшего поэта» относятся к пейзажной, интимной, религиозной лирике. Это – плоды забав высокопоставленного, рафинированного эстета. Но каково же было мое удивление, когда в конце книги я наткнулся на большое произведение, которое вся Россия пела еще в годы моего раннего детства:

*Умер, бедняга!
Долго родимый лежал;
Эту солдатскую жизнь постепенно
Тяжкий недуг доконал.
Рано его от семьи оторвали:
Горько заплакала мать,
Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать...*

Парадокс! Автор – отпрыск царского рода-племени – и вдруг создает самую распространенную, трогательную, архинародную песню-поэму о жизни и смерти простого

солдата! И по теме, и по содержанию, и по всему строю она достойна стоять рядом с некрасовской «Ориной – матерью солдатской».

Полное имя поэта «К.Р.» начали упоминать в общедоступной литературе лишь в связи с его драмой «Царь Иудейский». Помпезную постановку ее разрешили только в Петербурге под наблюдением самого автора. Он играл в драме роль Иосифа Аримафейского. Участвовали и его сыновья. В тогдашних иллюстрированных журналах печатали снимки сцен из «Царя Иудейского» и портреты всех исполнителей спектакля.

Дабы не опозлять «божественный» образ Христа игрой артистов или бедностью декораций и костюмов, Синод запретил постановку «Царя Иудейского» на всех провинциальных сценах! Им разрешалось лишь чтение драмы с условием поручения каждой роли отдельному лицу.

Я присутствовал на таком чтении драмы в Барнаульском театре Народного дома. Через всю стену поставили стол, накрытый траурной скатертью. Чтецы обрядились тоже в траурное. Во всех диалогах, монологах и кратких репликах звучали торжественно-благоговейные интонации. Это было, если не подводит меня память в 1914 году.

Музыку к драме написал великий композитор А.К. Глазунов. Никто в провинции не слышал ее. Но критики, писавшие о представлении «Царя Иудейского» в Петербурге, уверяли, что эта музыка доводила слабонервных зрителей до истерики...

Прошло полвека... И недавно я нашел в Николаевской областной библиотеке роскошное петербургское издание «Царя Иудейского» 1914 года с многочисленными снимками, с режиссерскими заметками и фрагментом из музыки А.К. Глазунова. В подвальных фондах этой же библиотеки хранятся, помимо «Царя Иудейского», и три тома собрания сочинений «К.Р.» Во втором из них – перевод трагедии Шиллера «Мессинская невеста». К обоим капитальным трудам приложены подробные творческие истории, комментарии, примечания. Нельзя не удивиться тому, что августейший поэт был прилежным литературным тружеником. И, может быть, не для красного словца он писал о себе:

*Я баловень судьбы... Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели, –
Рождением к величью я призван.
Но что мне роскошь, злато, власть и сила?
Не та же ль беспристрастная могила
Поглотит весь мишурный блеск,
И все то, что здесь лишь внешностью нам льстило,
Исчезнет, как волны мгновенный всплеск?
Есть дар иной, божественный, бесценный,
Он в жизни для меня всего святей,
И ни одно сокровище вселенной
Не заменит его душе моей!
То песнь моя!.. Пускай прольются звуки
Моих стихов в сердца толпы людской,
Пусть скорбного они врачуют муки
И радуют счастливого душой!..*

Известно, что некоторые русские выдающиеся композиторы писали романсы на лирические стихи «К.Р.» Сейчас передо мною лежит толстенный в синем переплете, роскошный том «Песни и романсы русских поэтов». Изд. «Советский писатель», М.-Л., 1965 г. На титульном листе тома еще сказано: «Библиотека поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. Второе издание». В сборнике 1120 страниц! Маленькая аннотация к нему гласит: «В книге собраны произведения русских поэтов XIX – начала XX века, ставшие песнями популярными романсами. Наряду с выдающимися поэтами здесь широко представлены малоизвестные и забытые авторы, чьи стихотворения прочно вошли в историю русской вокальной лирики».

На последней странице сборника указана редакционная коллегия: В.Н. Орлов (главный редактор), В.Г. Базанов, Б.И. Бурсов, Б.Ф. Егоров (зам. главного редактора), В.М. Жирмунский, В.О. Перцов, А.А. Прокофьев, А.А. Сурков, А.Т. Твардовский, Н.С. Тихонов, С.И. Чиковани, И.Г. Ямпольский.

Так вот на странице 833-й этого сборника приведена краткая биография К.Р. А на страницах 834 – 836 напечатана и самая распространенная народная песня:

*Умер бедняга! В больнице военной
Долго родимый лежал;
Эту солдатскую жизнь постепенно
Тяжкий недуг доконал...*

Августейшего автора не забыли наши авторитетнейшие поэты, литературоведы и критики. А значит, и мне не грешно помянуть его добрым словом...

Недалеко от нынешнего дома редакции «Алтайской правды», возле болотистого пустыря, в Барнауле работал постоянный цирк. Хотя все программы его не отличались чем-либо остро-оригинальным, в нем всегда не хватало мест. Туда особенно трудно было протиснуться в те вечера, когда выступали борцы. А их наезжало в Барнаул чертова прорва! И русских, и иноземных, и мужчин и женщин. Все улицы города облеплялись афишами, с которых глядели тучные, мускулистые, полуголые красавцы – богатыри с немными лицами.

Кроме борцов, публику забавляли дрессировщики собак, кошек, свиней да игра музыкальных эксцентриков на бутылках, смычками на поперечной пиле или на палке с одной струной. Наездницы с прыжками на спинах лошадей и визгливыми вскриками «опля!», клоуны с плоскими остротами – надоедали. Какое-то болезненное неистовство охватывало барнаульцев, когда приезжали на гастроли артисты цирка Коромылова. Любители грубых, но сильных и острых ощущений тогда ликовали! А мне их восторги казались непонятными и смешными.

Полеты артистов под куполом цирка, мучительное сгибание девочкой своего тела в каральку, вкладывание головы укротителя в пасть льву и т.п. номера – заставляли меня дрожать от страха за несчастных людей. Какое уж тут эстетическое наслаждение?!!

Но самое отвратительное зрелище – это борьба женщин. Мясистые, толстозадые, покрасневшие от напряжения и потные, возились они на арене, и парной дух зловония от них разливался по всему цирку!

Если театр воскрешал предо мною живую историю всего человечества, если библиотечные книги сообщали мне крупинки энциклопедических знаний, то Барнаульский

цирк не научил меня ничему, что пригодилось бы в моей просветительской работе...

Другое дело – кино. Первый кинотеатр под названием «Иллюзион» открыла в Барнауле купчиха Лебзина. Стоял он на самом бойком месте города – около собора, на Пушкинской улице. Несколько позже на той же улице почти рядом с ним, по направлению к теперешнему Ленинскому проспекту, в городе построили второй кинотеатр – «Новый мир». Кто был его владельцем, не знаю.

В «Иллюзионе» помещение и обстановка были крайне бедными, примитивными. «Новый мир» привлекал публику и довольно хорошим зрительным залом, и просторным фойе, и буфетом, и столом с газетами и журналами.

Хотя старая кинотехника не может идти ни в какое сравнение с нынешней, тем не менее, в «Иллюзионе» и в «Новом мире» картины демонстрировались очень хорошо. Толково составленные надписи к кадрам делали содержание картин понятным для всех зрителей. Тогдашние авторы киносценариев строили сюжеты фильмов без всяких ребусов и с логичными концами. Уходя из кинотеатра, зрители четко представляли себе все сцены даже в таких сложных картинах, как «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Живой труп», «Крейцера соната», «Отец Сергей», «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Приваловские миллионы», «Дворянское гнездо», «Андрей Кожухов», «Камо грядеши?», «Дети Ванюшина»... А в современном усовершенствованном, цветном и говорящем кино, к сожалению, мы нередко с досадой смотрим картины сумбурные и без концов!

И в «Иллюзионе», и в «Новом мире» все киносеансы сопровождалась скрипкой и фортепиано. Лучшими музыкальными иллюстраторами в городе считались пианист Марцинковский и скрипач Свинкин. К веселым картинам они подбирали музыку из разных композиторов, а к драматическим – играли почти неизменно слащавый романс Л. Попера «В лучшие дни». Благодаря киносеансам мелодию этого романса я и сейчас могу спеть наизусть.

Наиболее любимыми в Барнауле кинозвездами были: Мозжухин, Пудовкин (актер и режиссер), Максимов,

Р. Адельгейм, В. Мейерхольд, Мих. Чехов, Пашенная, Рощина-Инсарова, Вера Холодная, В. Орлова, Мэри Пикфорд, Макс Линдер, Пат и Паташон...

В Барнауле я впервые узнал, что такое «великий немой». Я посещал его так же усердно, как театр Народного дома, концерты и городскую библиотеку...

Оркестрами старый Барнаул похвалиться не мог. Их было всего два: в Народном доме и в Общественном собрании. Оба – симфонические. По составу – малые. В них не хватало таких инструментов, как туба, виолончели, валторны, контрабасы.

В особо торжественные вечера оркестр Общественного собрания пополнялся музыкантами-любителями, которые где-то служили, а в свободное время подрабатывали уроками.

Симфоническим оркестром Общественного собрания дирижировал скрипач Абрам Исаевич Клястер (я у него продолжал занятия на скрипке), – человек вулканического темперамента. Во время концертов оркестра он так энергично и широко размахивал руками, что наутро нес сюртук к портному – пришивать наполовину оторванные под мышками рукава.

Страдал он и страшной рассеянностью, которая осрамила его на большом концерте, посвященном 300-летию дома Романовых.

Нарядился Абрам Исаевич во фрак. Взмошел на дирижерскую подставку, забыв застегнуть ширинку. Кто-то из музыкантов жестом показал ему на оплошность. Поняв знак, Абрам Исаевич мгновенно отвернулся от оркестрантов и стал застегивать ширинку на глазах у зрителей!..

Барнаульские оркестры не играли сложных музыкальных произведений.

В городе существовала единственная, частная, музыкальная школа А.И. Смирновой, где преподавали лишь игру на фортепиано. Ни разу эта школа не отчитывалась перед общественностью. По крайней мере, при мне.

Славился в Барнауле музыкальный кружок высококультурного бухгалтера Управления Алтайского округа Ави́ва Гаври́иловича Басарева, виртуозно игравшего на скрипке, купленной у проезжего и проигравшегося в карты офице-

ра за 3000 рублей золотом. У этой скрипки был изумительно теплый, золотистый тон.

Дом Авива Гаврииловича стоял на Сузунской улице между Соборным и Конюшенным переулками. При постройке его хозяин предусмотрел небольшой зал с эстрадой, на которой струнно-смычковый квартет играл классические произведения. Все барнаульские ценители и любители музыки Бетховена, Моцарта, Гайдна, Генделя, Чайковского, Бородина, Брамса, Шуберта и др. посещали домик А.Г. Басарева. Бывал там и я.

Но превосходный Басаревский квартет почему-то никогда не выступал ни в Народном доме, ни в Общественном собрании. Впрочем, его участники, по горячей просьбе А.И. Клястера, изредка вливались в симфонический оркестр Общественного собрания.

Музыкальное просвещение и воспитание барнаульцев происходило преимущественно в одиннадцати церквях города. В каждой из них пел большой хор. Между хорами бывали даже своеобразные состязания. Регенты переманивали к себе лучших певцов из других хоров, платя им повышенные оклады.

Все православные города ходили молиться в свои изблюбленные церкви: самые богатые купцы – в собор, купцы с сумой потоньше – в Богородскую, служилая верхушка и чиновничья знать Управления Алтайского округа – в Дмитриевскую, которая числилась как бы «придворной» церковью этого Управления. Рабочие, мещане и всякая иная беднота – распределялись по окраинным церквям – Покровской, Знаменской, Кладбищенской. При духовном училище была своя церковь.

Рекреационные залы Мариинской женской гимназии и второго городского училища в праздники превращались в церкви. Части залов занимали алтари. В будни эти алтари отделялись от залов специальными подвижными перегородками.

Управление Алтайского округа не жалело денег на содержание хора Дмитриевской церкви, и потому он первенствовал в городе.

Им руководил пианист, католик Антоний Иванович Марцинковский, премьер-музыкант Барнаула (я его уже

упоминал). Он набирал хористов где угодно, и платил им, сколько они хотели. В его хоре в каникулярное время пели артисты Власов, Роза Альперт и студентки консерваторий.

В Дмитриевской церкви все внушало сильное впечатление. Здание – необычное: огромное, круглое, роскошно украшенное. Священник Иоанн Горетовский – с серебряной, как нимб, шевелюрой; голос крякающий, точно выстрелы коростеля. Дьякон – сущее страшилище с пугающим басыщем. Когда он читал ектению или Евангелие, то казалось, что под полом катались огромные шары!..

Горетовский не запрещал хору петь любые сложные произведения. Пользуясь его либерализмом, А.И. Марцинковский часто ставил целые литургии одного и того же композитора, например, Ипполитова-Иванова, Рахманинова и др. И тогда обедня не была обедня, а настоящая опера, которую ходили слушать совсем не религиозные люди. Где же они иначе могли послушать большую хоровую музыку? Ведь светских хоров в городе не было и в помине!

Если общественные организации устраивали светские концерты в пользу раненых воинов (1914, 1915 годы), то и солисты, и ансамбли брались из тех же церковных хоров. Пели в концертах и сводные церковные хоры.

В качестве солистов выступали: лирический тенор, преподаватель духовного училища Владимир Васильевич Титов, бас соборного хора Сергей Сухов, псаломщик собора, баритон Николай Добросердов, впоследствии артист Новосибирской оперы; сестры сопрано Анна и Мария Кузнецовы и тенор Александр Казанцев – из хора Богородской церкви.

Соединенный хор всех церквей участвовал и в таких драматических спектаклях, в которых были сцены с пением большого коллектива, например, в «Каширской старине» Аверкиева и в «Былых соколах» Писемского.

Кроме хора Маргариты Дмитриевны Агреновой-Славянской, в Барнауле гастролировали знаменитые артисты Роберт и Рафаил Адельгеймы, игравшие фрагменты из трагедий Шекспира, Шиллера и Гучкова. Их выступления проходили на «привилегированной» сцене Общественного собрания. Видимо, они полагали ниже своего достоинства играть на общедоступной сцене Народного дома.

В начале июня 1913 года в том же Общественном собрании концертировал лауреат Лейпцигской консерватории, виолончелист Богумил Сикора при участии скрипача, профессора Якова Соломоновича Медлина и пианистки Тютрюмовой. Эти превосходные музыканты познакомили барнаульцев с классическими произведениями для виолончели, скрипки и фортепиано: Бетховена, Шопена, Изай, Казальса, Брамса, Паганини, Чайковского, Листа и др.

Какие-то ветры загнали в Барнаул и итальянского баритона Рески, уже сильно облысевшего и вышедшего в «тираж» на родине, но еще сохранившего довольно сильный и красивый голос.

Всю программу он пел на своем родном языке, а для «шику» исполнил алябьевского «Соловья» на русском, чем весьма насмешил публику, выговаривая слова так: «Жоловэй мой, жоловэй, голожижтий жоловэй»...

Посетила Барнаул и тогдашняя драматическая актриса и кинозвезда Рощина-Инсарова.

Большим событием в музыкальной жизни Барнаула были гастроли передвижной оперы. Ее спектакли шли в Народном доме под фортепиано и с небольшим хором. Но солисты пели превосходно. Барнаульцы прослушали «золотую серию» опер: «Ивана Сусанина» (прежде называлась «Жизнь за царя»), «Русалку», «Евгения Онегина», «Фауста», «Демона», «Пиковую даму» и «Риголетто».

Заезжали в Барнаул прогрессивные по тем временам центральные деятели культуры: друг Л.Н. Толстого – В. Поссе, критик и литературовед Львов-Рогачевский, публицист С. Яблоновский, профессор Томского политехнического института Некрасов и др.

С живейшим интересом публика слушала глубокие, образные и эмоциональные лекции В. Поссе о браке, семье, школе, о жизни всех общественных классов Западной Европы и России, о вырождении капиталистической культуры, об идеях социализма, проникавших в науку, художественную литературу и во все изобразительные искусства.

Чтения В. Поссе раздвигали перед слушателями широчайшие горизонты жизни, затрагивали самые острые и болезненные проблемы, настойчиво подсказывали «опасные» мысли, хотя лектор ни разу не произнес слово «революция».

Львов-Рогачевский знакомил барнаульцев со всеми литературными течениями начала XX века, как в России, так и за рубежом. На множестве примеров из поэтических произведений он разъяснил, что такое декадентство, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, имажинизм, ничевокизм и прочие «измы». Он рассматривал эти течения как уродливые проявления разлагающегося капитализма, как знак отхода творцов искусства от реальной жизни в бездны субъективизма, бредовых фантазий, галлюцинаций и сновидений... Что же до меня, то я и по сей день разделяю эти его убеждения.

Профессор Некрасов выступал в Барнауле перед выборами в четвертую Государственную Думу – осенью 1912 года.

Это его выступление имело явной целью искусно завуалированное восхваление либеральной буржуазии и ее политических партий. Сам Некрасов попал в члены последней Государственной Думы. Во Временном правительстве перед Октябрьской революцией он был министром путей сообщений...

Любили в старом Барнауле литературные суды и диспуты. Их устраивали обычно в Народном доме. Для участия в них приглашались наиболее известные в городе «цицеры»: присяжные поверенные Гольдберг, Новиков, Камов, Лепехин; литераторы Казанский, Шапошников, Ешин, Курский, Лашкевич; педагоги Шумиловский, Сохарев, Симанин; артисты Батманов, Сарматов, Лельский.

Особенно жаркие дебаты разгорались на судах по пьесам «Гроза» Островского, «Екатерина Ивановна» Леонида Андреева, «Ревность» Арцибашева и «На дне» Горького (судили Луку).

Словопрения следовали за постановкой пьес на сцене, по свежим следам. На литературных судах полностью воспроизводилась процедура государственных судов. И это очень нравилось зрителям.

Так как и старый Барнаул все же не был чужд музыке, то Анатолий Иванович Марцинковский открыл в нем музыкальный магазинчик с подходящим названием «Эхо». Он приткнулся вблизи кинотеатра «Новый мир», в комнатухе на Пушкинской улице.

Низенький, будто расплющенный, суетливый, странно ходивший правым боком вперед, Антоний Иванович был и хозяином, и единственным продавцом магазина. Но как ни убого выглядел «Салон Эхо», а в нем по целым дням толпились любители инструментальной и вокальной музыки. Ловкий полячок досконально изучал запросы своей клиентуры. Как глубокий знаток музыки, он постоянно вел с покупателями беседы о ней, сопровождая их игрой на пианино. К каждому продаваемому произведению он давал исчерпывающую аннотацию. Низкопробных, а тем паче пошлых музыкальных «опусов» Антоний Иванович не держал. Быстро и в большом количестве расходились у него классические произведения в дешевом издании С.Я. Ямбора (по 10 копеек – вещь!).

В сущности, магазинчик «Эхо» выполнял в Барнауле благородную миссию первого доброго пропагандиста высококачественной музыки...

Очарованный концертами виолончелиста Богумила Сикоры, скрипача С.Я. Медлина и пианистки Тютрюмовой, я отважился пробраться в гостиницу, где остановились эти музыканты. Мне нужен был профессор Медлин, у которого я хотел взять несколько уроков игры на скрипке.

Высокий, грузный, с буйной гривой черных волос (мода!), маэстро любезно выслушал мою просьбу и сказал:

– Я в Томске буду весь июнь, а в начале июля уеду в Петербург с отчетом. Если хотите, приезжайте ко мне в июне. Я займусь с вами...

И я с радостью покатыл в «сибирские Афины». Чтобы почти полные сутки отдать игре на скрипке, я снял заброшенную на пустыре усадьбы хатушку. Вот, думал, где я поиграю вволю, никому не мешая!

Лег ночевать. Но через пять минут почувствовал огонь во всем теле. Зажег свет. О, ужас! Все стены, потолок и моя постель – в клопах! Видимо, в хатушке давно не было жильцов, и кровопийцы, чертовски проголодавшись, яростно набросились на меня. Дождавшись утра, я покинул клоповник. Поселился в скромном номерке гостиницы «Золотой якорь», как раз напротив музыкальной школы Тютрюмовой, где преподавал и занимал квартиру профессор Я.С. Медлин.

Пришел я к нему на первый урок. В передней снял фуражку. Направо – дверь в гостиную. Вижу в щелку: сидят в креслах друг против друга хозяин и Богумил Сикора. Курят гаванские сигары и громко беседуют.

– Изумляюсь, просто изумляюсь! – воскликнул профессор. – Как это можно на таком громоздком инструменте, как виолончель, делать головокружительные пассажи, да еще аккордами, да еще в бешеном темпе!

На ломаном русском языке знаменитый виолончелист ответил:

– Я много, очень много занимался. По пятнадцать часов в сутки! Если какой-либо пассаж не давался мне, я мог играть его тысячу раз, чтобы добиться нужной выразительности...

Затаив дыхание, я долго стоял за дверью, слушая интереснейшие разговоры больших артистов. Не желая прерывать их беседу, я тихонько ушел обратно.

Урок мой состоялся на следующий день. Послушав гаммы, Яков Соломонович, улыбаясь, заметил:

– Ваши педагоги, молодой человек, правильно поставили вам левую руку, а правую кисть **одеревенили**. Надо ее **расплавить**. Смотрите... Держите смычок вот так, как бы шутя, не впивайтесь пальцами в трость.

И он, взяв скрипку и смычок, показал, как надо **расплавлять** кисть и не впиваться пальцами в трость. Я начал водить смычком по струнам, подражая профессору. И «чудо» совершилось: рука сразу почувствовала свободу, а звук стал мягче и полнее. Сами слова **одеревенили** и **расплавить** точно определили неправильную и правильную психофизиологию держания и ведения смычка. Как важно, оказывается, педагогу вовремя подобрать образное слово, чтобы легче уяснить ученику способ избавления от ошибки!..

Только с неделю удалось мне позаниматься у Якова Соломоновича: его телеграммой срочно вызвали в Петербург. Уезжая, он передал меня своему лучшему студенту старшего курса – Томилину, который муштровал меня месяца полтора, не взяв за это ни копейки. Этому благороднейшему человеку я обязан многими знаниями из музыкальной грамоты. Лет через 35 я узнал, что он поднялся до звания профессора...

До приезда в Барнаул я никогда не видел живого композитора, а тут мне сказали, что в Мариинской женской гимназии преподает пение композитор Семен Васильевич Шаронов.

Узнав его адрес, я в праздничный день без всяких церемоний явился к нему.

– Хочу познакомиться с живым композитором... Топоров Адриан Митрофанович, учитель и неискоренимый любитель музыки, пения и музыкантов! Прошу любить и жаловать!..

– Очень рад, очень рад!

Мою руку жал в своей стройный блондин, с большими серыми открытыми глазами. Все его широкое русское лицо расплылось в приветливую улыбку. С ним так складно сочетались и тонкие усики с завитками на кончиках, и прямые, как свежая ржаная солома, волосы, закрывавшие уши.

Несмотря на раннее утро, Семен Васильевич уже надел костюм, галстук, манжеты и гуттаперчевый воротничок.

На столе шипел самоварчик, лежал завтрак: булки, колбаса, сыр, яйца, балычок. В трех вазах – сахар, варенье, конфеты.

На вид Семену Васильевичу можно было дать под сорок, а он все еще оставался холостяком. На этажерках, полках, столиках и фисгармонии возвышались кучи книг, рукописных нот и новых музыкальных журналов. Со стен глядели портреты композиторов – Глинки, Чайковского, Даргомыжского, Бетховена, Вагнера, Шопена; скрипачей – Иоахима, Кубелика, Губермана, Ауэра; виолончелиста Вержбиловича, писателей, поэтов... На столе, налево от самовара, лежала раскрытая толстенная книжица «Биографии композиторов всего мира». Ее, должно, читал хозяин на странице с портретом Палестрины.

Семен Васильевич с простодушной фамильярностью пригласил меня к завтраку:

– А давайте-ка сперва поедим по русскому обычаю!.. Прошу!.. Он усадил меня за стол и давай потчевать то той, то другой снедью. В нем еще не выветрился патриархальный русский хлебосол.

Уйдя из деревни, он работал в Бийске столяром и одновременно пел басом в церковном хоре. Музыку любил с

детства. Самоучкой постиг теорию этого искусства. Наме-
реваясь стать композитором, добровольно ездил на спе-
циальные курсы в Петербург, Москву, Пермь. Он прошел
трудный, но плодотворный путь русских самородков.

Моя первая встреча с Семеном Васильевичем длилась
семь часов. Мы пели дуэты, играли – он на фисгармонии, а
я – на скрипке.

С.В. Шаронов написал ворох композиций, но ему не
везло с изданием их. Русским воинам, погибшим в первую
империалистическую войну, он посвятил величественный
«Реквием» на слова: «Ах, сколько, сколько пало их в борьбе
за край родной!..»

Это произведение напечатало нотное издательство
Юргенсона в Москве, прислало уже автору корректуру, но
в буре начавшейся революции она где-то затерялась бес-
следно.

В советское время Семен Васильевич вместе со мною
вошел в ряды активных сотрудников барнаульской газеты
«Красный Алтай». Он отличался ненасытной алчностью на
всяческие знания. Беллетристику, книги по многим разде-
лам науки и искусства он «глотал» и разбирал по «косточ-
кам». Беседы с ним о музыке, литературе, науке и искусстве
затягивались до полночи... Они обогащали меня.

Женился Семен Васильевич поздно, но судьба послала
ему спутницу как нельзя лучше подходящую к его натуре.
Ирина Ивановна – тоже музыкант, человек добрейшего
сердца и благородных устремлений.

Нерасторжимая дружба моя с С.В. Шароновым продол-
жалась до самой его смерти.

Другой сибиряк, оказавший мне помощь в музы-
кальном образовании, был учитель пения в нескольких
учебных заведениях Барнаула – Алексей Александрович
Филимонов. Пройдя хормейстерский курс у самого Рим-
ского-Корсакова, он в Барнауле занимал «доходные» ме-
ста. Этому способствовали и высокая петербургская марка,
и его «галантерейное» обхождение с бомондом.

Приземистый, толстенький, подвижный, с круглой, лы-
сой, сверкающей, точно полированный шар, головой, он
в общественных местах блистал утонченными манерами,
резинисто изгибался, осклаблялся, расшаркивался перед

дамами, целуя им ручки. В городе его знали все. А за необыкновенную подвижность дали ему прозвище «Колобок».

Я пел у него в светском хоре 2-го городского училища. Общительный, веселый, неумно словоохотливый, он рассказывал бесконечные анекдоты, были и, вероятно, небывлицы о жизни высшего света Северной Пальмиры. И больше всего – о музыкантах.

В барнаульских кружках меломанов Алексей Александрович много пел, удивляя присутствующих умением неимоверно долго держать высокие фальцетные ноты при зажмуренных глазах...

А.А. Филимонов красиво дирижировал хором, с тонким художественным вкусом толковал нюансировку исполняемых пьес. Он не записывал свои композиции на бумаге, а в компании друзей всегда импровизировал. Ему подносили, допустим, стихотворение Жуковского:

*Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?..*

И он сразу же придумывал и задушевно пел прелестную мелодию, аккомпанируя себе на гитаре или на пианино.

Как жалко, что этот тонкий музыкант так рано погиб от тифа!

В очередное воскресенье мы с Семеном Васильевичем Шароновым играли «Колыбельную» Годара. В комнате тихо, на цыпочках, крадучись вошел среднего роста чернявый молодой человек с зачесанными на правый бок густыми волосами, с чуть пробившимися усиками и маленькими острыми глазами. На лице его плавала ироническая улыбка.

– А, Костюша! Здорово! Здорово! – прервал музыку Семен Васильевич.

Обратившись ко мне и вошедшему, он шутиливо представил нас друг другу:

– Это – мой друг Костюша Еремеевич Багаев, жрец Эскулапа, а это – беспардонный, как и я же, любитель музыки, учитель Адриан Митрофанович Топоров. А посему оставим пока скрипку и фисгармонию и поедим во славу богию...

Я жил в большой семье, и встречи с друзьями у меня были неудобны. Мы встречались у Семена Васильевича. Музицировали, говорили и спорили о многом. И я еще тогда заметил, что Костюша сводил наши разговоры на темы политические, ругая черносотенных «зубров» – Пуришкевича, Маркова-2-го, Победоносцева и их подушных.

В то время «властителем моих дум» был Н.К. Михайловский, и больше всего его трактат «Герои и толпа». На мои восторги об этом произведении Костя с ухмылкой возражал:

– А ведь никакой разгениальный полководец без армии ничего не сделает. Да и сам-то он – кем выдвигается? Армией! Он потому и ведет армию, что выражает ее волю... Приходите-ка ко мне, я вам обоим дам серьезную книжицу, которая написана в пику Н.К. Михайловскому. Любопытная книжица! Заинтересуетесь!

Костюша жил с семьей на 2-й Алтайской улице, в доме № 51. Его утлый домишко походил на двухэтажную скворешню. Казалось, дунь на него сильный ветер – он рассыплется в прах.

Мы с С.В. Шароновым поднялись по «певучей» лесенке на второй этаж Костиной «скворешни». Угоstit нас чаем со сдобными шаньгами, Костя вынул из сундучка затрепанную книжку и подал мне:

– На, и дома поглубже вникни!

Это была «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г.В. Плеханова.

– Тут ты поймешь, что не воля героев двигает историю, а производство, экономика, борьба классов...

«Закусив удила», Костя произнес патетическую речь о роли героев и масс в истории. А я, утомленный его трудными мыслями, свернул разговор на поэзию и продекламировал друзьям любимые «Sin miedo» Бальмонта и «Сакья Муни» Мережковского. И хотя Мережковский – реакционер и мистик, но Косте понравился в его романтическом произведении дерзкий и гордый протест нищего бродяги против Будды. И после Костя не раз просил меня читать ему «Сакья Муни» и другие стихотворения, вроде «Песни о рубашке» Томаса Гуда, «Железной дорожки» Некрасова...

Наш новый друг затягивал меня и Сеню в Народный дом на спектакли с революционной идеологией: «На дне» Горького, «Ткачи» Гауптмана, «Уриэль Акоста» Гучкова, «Горькая судьбина» Писемского и т.п.

Бывало, проходя по улицам Барнаула мимо громадных пассажей и особняков Смирнова, Морозова, Сухова и Полякова, Костя злобно рычал:

– Смотрите, сколько нахапали! Все это – пот и кровь народных!.. У Сухова шестнадцать домов в городе! Три пуда золотых и серебряных тарелок, вилок, ложек, ножей. Восемнадцать серебряных самоваров разной величины! Да, да! Горничные знают!

Барнаульский Костя Багаев всегда притворялся беспечным, веселым рубахой-парнем. За этой маской он прятал свои умыслы революционизировать взгляды друзей. Говоря по-нынешнему, он на каждой новой встрече «пропагандировал» и Сеню Шаронова, и меня.

Иногда зимними вечерами он сговаривал нас «пошаркать» по Пушкинской (главной) улице, в центре которой находился особняк богача И.К. Платонова. В доме были огромные окна из богемского стекла. В просторной комнате, окна которой выходили на Пушкинскую, росли лимонные деревца. У одного окна под ними стояло широченное обитое кожей кресло, а в нем под вечер, после обильного чревоугодия, дремал хозяин, отвесив массивную нижнюю губу. Его туша казалась бесформенной кучей. Занавески у окна не было, и все гуляющие видели это чудище.

Костя намеренно неоднократно проводил Сеню и меня мимо особняка Платонова, вызывая в нас «ярость благородную».

– Смотрите, смотрите, какой гигантский тарантул сидит в кресле! Видать, попил, гад, рабочей кровушки!.. А живет один... с кухаркой. Дерет со всего города за электричество. Снабжает край белой мукой высшего сорта со своих мельниц в Повалихе. На баржах гонит за границу пшеничку... Кровосос!..

Помнится жаркий летний праздничный день. Костя соблазнял Сеню, меня и мастера-обойщика Тимофея Демченко прогуляться в Монастырский бор – лучшее место отдыха в тогдашнем Барнауле.

Накупавшись в Барнаулке, мы разлеглись на берегу, в уединенном уголке. По бору разливалась густая сосновая испарина, клонившая ко сну. Но Костя не дал нам предаться неге. Он вытащил из кармана штанов брошюрку и спросил:

– Хотите, я прочту вам сказочку про пауков и мух?

– Брось, Костя! Давайте поспим. Экая благодать, а ты тут со сказкой... Мы же не дети.

– Да нет, эта сказочка как раз для взрослых.

И он прочел нам жгучий политический памфлет Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Отдых наш пропал. «Сказочка» В. Либкнехта всунула нам «ежа под череп». Это был страстный клич к революции! Либкнехт с поразительной силой, простотой и ясностью изобразил все категории социальных пауков и всех мух, которых пауки сосут и убивают ежечасно, всюду и беспощадно.

Теперь уже друзья Кости убедились, что он – революционер-подпольщик. Однако он не раскрыл нам своей политической тайны...

1914 год...

Грянула русско-германская империалистическая война. С фронта приходили безрадостные вести о бесплодной гибели русских армий, погубленных предателями из царедворцев и бездарными полководцами. Трагедию войны тяжело переживала вся наша страна.

Пришел я к Сене Шаронову. Стали петь и играть только что сочиненный им «Реквием». В комнату неожиданно влетел возбужденный Костя.

– Друзья! Я мобилизован! Через час должен быть на сборном пункте. Забежал попрощаться.

– Подожди, Костя, – сказал Шаронов. – Послушай мою новую вещь.

И он запел и заиграл «Реквием». Прослушав музыку, Костя вскрикнул:

– Это ты, друг, панихиду, что ли по мне сочинил? Нет, погоди петь ее! Мы постараемся повернуть штыки и пушки на кого следует. Вот увидите!

И, расцеловавшись с нами, Костя быстро ушел...

С тех пор прошло около 47 лет. Я ничего не слышал о моем старом барнаульском друге Константине Еремеевиче Багаеве...

6-е августа 1961 года... Космонавт-2 Герман Степанович Титов совершил свой триумфальный полет в космос. И незаметное до того имя рядового сельского учителя Адриана Топорова зазвучало в печати, по радио, телевидению и на собраниях. Мой ученик и воспитанник, Степан Павлович Титов, отец космонавта, переслал мне письмо К.Е. Багаева, проживавшего в Ставрополе. Так восстановилась моя связь с Костей, участником трех революций и гражданской войны. За два года до смерти он прислал мне свою книжку «Всю жизнь...» (мемуары) с надписью:

«Моему дорогому, незабвенному, единственному другу юношеских лет Адриану Митрофановичу Топорову – дарю эту книжку, в которой записана вся моя нелегкая жизнь с юношеских лет и до пенсионного возраста.»

Персональный пенсионер, член КПСС с 1909 года

К. Багаев.

8.XII– 69 г.»

...День мобилизации запасных на первую империалистическую войну в Барнауле ознаменовался грандиозным пожаром. Мобилизованные разгромили спиртоводочный завод и его склады; перепились вдрызг. Как и почему возник пожар, никто точно не установил в те дни. Когда над городом полыхало зарево, по его улицам пьяные орали песни, тащили в четвертях и ведрах водку и спирт.

Началось ограбление магазинов. Было жутко. Мне рассказывали, что шайка грабителей залезла в ювелирный отдел горящего пассажа Смирнова, а кто-то снаружи спустил тяжелейшие металлические ставни на огромные двери и окна. И все грабители сгорели внутри пассажа...

Мобилизовали и учителей. Со сборного пункта пригнали нас на пристань и засадили в трюм пассажирского парохода.

Отплыли от Барнаула. Уже вечерело. В трюме раздался крик:

– Все на верхнюю палубу!

Там служил вечерню сам «апостол Алтая» Макарий, митрополит Московский и Коломенский, бывший архиепископ Томский. Он на пароходе возвращался из отпуска,

который проводил в «благословенном и возлюбленном Алтае».

Солнце недавно село, и запад еще алел. В вечерней тишине пение митрополичьего хора разносилось далеко по Оби. Кругом была такая благодать! А на душе становилось муторно от мысли, что и нас везут на бессмысленную бойню. И ради чего?!

В Новониколаевске (старое название Новосибирска) мобилизованные педагоги расстались с Макарием. Он – в Москву, мы – в Томск.

В загородной роще нас выстроили в ряд. Подвыпивший полковник остановился против ряда, набычился и рявкнул:

– Что пузо выперли, как беременные бабы?! А еще господу учителя! Стоять не умеете! А ну, ровняйся!!

Мы выровнялись, как могли. Полковник отошел поодаль, провел мрачным взглядом по всему нашему ряду и проревел:

– Впредь до особого распоряжения – по домам!! Марш обратно на пристань!!

Нас повели. Чье-то сумасбродство заставило сотни учителей мыкать в Томск и обратно! То же повторилось через месяц...

Меня миновала горькая чаша войны...

К весне 1915 года выяснилось вполне, что взаимоотношения мои с клерикальным начальством крайне обострились. Я категорически заявил всевластному барнаульскому наместнику и фавориту Макария – Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в сатану, а потому и ухожу из школы.

Это решение я принял и по другим соображениям. Для поступления в народный университет имени Шанявского у меня уже были все условия: деньги и образовательная подготовка. Но я вспомнил, что в Каплинской учительской школе, при всех ее недостатках, воспитанникам твердили доброе:

– Идите в гуцу народную, «где трудно дышится, где горе слышится», т.е. в деревню.

Да и прочел я немало о тех интеллигентах-подвижниках, благородных романтиках, которые, отрекшись от всех благ и удобств города, уходили в народ, чтобы просвещать его и тем самым отдать ему исторический долг.

Мне стало стыдно перед самим собою за прежнюю мечту – «В Москву! В Москву! В Москву».

Пошел я к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу Курочкину и подал прошение о назначении меня в школу села Верх-Жилинское Косихинского района Алтайского края. Эта точка земного шара ныне известна всем как родина космонавта-2 Г.С. Титова.

В конце августа 1915 года я покинул Барнаул. На полуценный в нем духовный капитал живу и поныне...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. В СЕЛЕ У ЖУРАВЛИНОЙ СОГРЫ

В конце августа 1915 года я покинул Барнаул. На сей раз прощался с друзьями накоротке, думал, что еду в это село на год-другой, а вышло – на семнадцать лет. Можно точнее сказать: на всю жизнь. Потому что наконец-то я нашел свое настоящее место в жизни; в город больше не вернулся, стал сельским учителем.

О моих «университетах» уже рассказано выше, и вы можете представить себе, с каким вооружением я вышел в бой против исконной гидры невежества в сибирской деревне. Слов нет, был я дилетантом, потому что знал лишь азы некоторых наук и искусств. Но как раз такие дилетанты и нужны были в глуши. Они-то и начали приобщать «обточную» Русь к начаткам культуры.

Может быть, мне даже легче было понять крестьян. Не зря ведь случалось в пору хождения интеллигенции «в народ», что они вязали пропагандистов и сдавали уряднику. Довольно быстро стало мне ясно, что «неоплатный долг», который мечтал я им вернуть, они не особо хотели и принимать. Не было ничего вроде «ах, приехал, родимый, наконец-то!». Была худая школенка, было нищенское жалование, было равнодушие, подозрительность, хмурое молчание баб и мужиков. И следовало для начала заслужить их доверие.

Итак, я стал учителем, рядовым сельским учителем, но, думаю, в правдивом изображении житей-бытия обыкновенного маленького человека тоже есть какая-то ценность. Поэтому и пишу свои заметки.

Село, куда меня занесло, имело три названия: по-административному – Верх-Жилинское, по-церковному – Терешкино, а по-народному – Журавлиха. Последнее имя получило за то, что раскинулось между сограми (болотами), где водились журавли. За сограми виднелись увалы, поросшие сосновыми и березовыми лесами, за ними лежала степь. С юга и севера село огибали две речки: одна – Журавлишка, другая – безымянная.

Население было смешанное: коренные чалдоны и давние переселенцы из Европейской России. По чистой случайности оказалось, что они мои земляки – куряне из Обоянского и Поныровского уездов. Вот почему и язык верх-жилинцев содержал смесь сибирских и курских диалектизмов.

Я застал там две школы. Церковноприходская была почему-то вдали от церкви, на краю села. Учительствовала в ней тихоня вроде старой монашки. Министерская школа, напротив, помещалась рядом с церковью, в самом центре села. Это был бревенчатый сарай, к тому же недостроенный. Мне сказали, что мужики долго ругались на сельском сходе, но на пятачковый сбор со двора так и не согласились. Доски поверху набросали кое-как, крыша текла, сеней не приделали, к входной двери вела лесенка из шести кривых, «опасных» ступенек. В сарае и началась моя просветительная работа.

С чего началась? Окончив школьные занятия, я вечерами ходил на «сборню», где сходились мужики. Здоровался, садился с ними, больше помалкивал. Разговоры шли в основном о русско-германской войне, куда угнана была вся верх-жилинская молодежь. Как-то я предложил бородачам почитать газету. «Давай, паря», – согласились они. И начал я читать «Жизнь Алтая», «Сибирскую жизнь», «Русские ведомости», «Русское слово». Когда вошло это в обычай, взялся за небольшие художественные произведения из журналов «Русское богатство», «Былое».

Но, видимо, для этого время еще не пришло. Больше интересовали крестьян газеты, в них – сводки военных действий, а особенно, как я заметил, – речи оппозиционных членов Государственной Думы. В этих речах проскальзывали намеки на наши неудачи, на бездарность

генералов, на измену придворной камарильи. Мужики хмурились:

- А чо им? Жалко нашего брата? Им все едино!
- Продались Вильгельму!
- Целые армии царицыны енералы топят в болотах...
- Она хочет ряхить государство!

О доносах в глуши не ведали, языкам давалась полная воля. Уже тогда было видно, как закипает народный гнев против самодержавия. Но я с высказываниями не спешил. Порой умолкал на самом интересном месте и только показывал слушателям «лысины», когда цензура вымарывала куски речей, газеты выходили с пустотами в колонках.

- Во какие прогалызины! Боятся правды-то!
- Должно, опять царицу продернули.
- И Распутина Гришку...

Постепенно крестьяне привыкли ко мне, да и я узнал их, понял, до чего они все разные. Одинаков «народ» для стороннего наблюдателя, а живя с людьми, видишь, кто как думает и кто чем дышит. Очень интересные были в Верх-Жилинском мужики; попадались и грамотеи, которых остальные именовали «политиками». Стали время от времени приходить ко мне, просили почитать книжки. Я, конечно, давал.

Бабы держались особняком, в разговоры не встревали, но шли дни, недели, месяцы, и познакомился я с ними тоже. Вначале писал под их диктовку письма на фронт, а зимой пришла ко мне целая делегация солдаток:

- Поучи нас, Митрофаныч, грамоте!
- Надоть письма писать на войну, а не умеем.
- Сам знаешь, промежду мужем и женой всяка тайность есть, через чужого и сказать стыдно...

Дело было столь необычное, что инспекция народных училищ долго судила и рядила, давать ли мне разрешение. Наконец позволили открыть воскресную школу грамоты, но только для женщин. И я еще в 1915/1916 учебном году, до всех ликбезов, ликвидировал неграмотность у многих солдаток и девиц села Верх-Жилинского. Мужики, приходившие с фронта, уже знали обо мне из их писем, приходили как к знакомому, тоже брали книги из моей библиотеки.

В общем, закрепилась моя дружба с крестьянами. Впоследствии многие стали мне верными друзьями, постоянными собеседниками, лучшими помощниками в культурно-просветительной работе. Можно и по другому сказать: добрым помощником им старался быть я.

Назову хотя бы некоторых: П.С. Зубков (будущий председатель коммуны, редкий самородок), братья Иван и Степан Корляковы, Иван и Тимофей Стекачевы, Филипп и Иван Бочаровы, Прохор и Егор Блиновы, братья Алексей, Евдоким и Иван Зайцевы, Василий Титов, Роман и Михаил Шитиковы, Павел Титов и Михаил Носов... Последние двое – деды по отцу и матери космонавта-2, о чем, понятно, никто тогда не мог подозревать.

Однако рассказ о них впереди, а пока хочу вспомнить об одном оригинале, с которым пришлось познакомиться в Верх-Жилинском. Оригинал был поп. Едва приехав в село, я увидел на воротах, заборах, наличниках, на березах и соснах, даже на церковной стене странные плакаты. Зеленые пятиконечные звезды венчали их сверху, под ними был текст:

«Vivu Esperanto! Изучайте международный вспомогательный язык эсперанто, самый легкий язык мира, дружбы и братства народов!».

Я спрашивал у сельчан:

– Кто лепит у вас эти плакаты?

– Батюшка, отец Иннокентий. Ен этим шибко занимается!..

Явившись в мою школу на первый урок закона божия, он отрекомендовался:

– Священник Иннокентий Серышев.

Передо мною стоял высокий стройный человек лет 33–35 с тонким одухотворенным лицом и умными светлыми глазами. Волосы коротко подстрижены. На шее воротничок из голландского полотна. Лучи света переливались на его коричневой муаровой рясе. На левой стороне груди сверкала пятиконечная хризолитовая звездочка, в середине которой полукругом рассыпались серебряные буквы: e – s – p – e – r – a – n – t – o. Эта звездочка – эмблема эсперантистов, выражающая идею надежды, что все континенты Земли будут иметь единый вспомогательный язык (espero – по латыни – надежда).

В юности Иннокентий Серышев окончил реальное училище, а затем учился в Томском политехническом институте. Прекрасно рисовал, пел, играл на клавишных инструментах, запоем читал, свободно владел главными европейскими языками.

Закончив свой урок, отец Иннокентий пригласил меня:
– Заходите вечерком... Потолкуем...

Дом его стоял позади церкви, был просторен и чист. Проходя, я заметил кладовые, амбары и, главное, баню побелому. В гостиной возликовал: увидел пианино. Жил священник с женой и тещей. Детей не было. Жена нисколько не походила на дебелую сельскую попадью. Веселая, молодая, шутница, хохотунья, певунья и плясунья. Отец Иннокентий называл ее Катюшей, она его – Кешей.

Разговорились легко, и я узнал, что поп окончил Томский политехнический институт. Образован был прекрасно, владел пятью или шестью языками, играл на фортепьяно, пел, запоем читал. Мне и до сих пор непонятно, с чего этот умнейший политехник перекинулся вдруг в священнослужители.

Обширный его дом показался мне своеобразным музеем. На полках, в этажерках, шкафах лежали у него археологические, ботанические, энтомологические, минералогические коллекции. Библиотеку он тоже собрал богатейшую – энциклопедии, словари, справочники, сотни научных, философских, художественных книг. И не увидел я ни молитвенников, ни «житий», ни религиозно-нравственных поучений.

Позже узнал еще об одной «прихоти» отца Иннокентия: он охотно давал на прочтение книги любознательным прихожанам. Этим воспользовался, конечно, и я. А в первое посещение обратил внимание на груды рукописей, лежавших на письменном столе хозяина дома, на картины, писанные акварелью и маслом, принадлежавшие его кисти. Потом показал он мне роскошные альбомы с цветными иллюстрациями, изображавшими природу, одежды, быт едва ли не всех стран земного шара, и пояснил:

– Все это – дары эсперантистов.

– Держитесь! – засмеялась попадья Катюша. – Теперь он сядет на своего конька.

Действительно, тут же мне пришлось выслушать лекцию о международном языке, об авторе его докторе Заменгофе, о том, что благодаря эсперанто народы наконец-то поймут друг друга, а значит, кончатся раздоры и наступят мир, братство, всеобщее благоденствие. Увы! Если бы дело было только в языке! Но тогда странный священник увлек меня, последним доводом была фундаментально изданная книга Siberio («Сибирь»), на титульном листе которой значилось имя автора: Inocento Serisev (Иннокентий Серышев).

«Вот тебе и поп!» – подумал я.

Хорошо помню первую зиму в Верх-Жилинском. Я изучал эсперанто, довольно быстро осилил и мог, сидя в захолустном селе, переписываться с людьми, живущими на всей планете. Был даже принят в члены международной ассоциации эсперантистов, центр которой находился в Женеве. А где-то в Шанхае издавался журнал «Voco de popolo» («Голос народа»), и я с нетерпением ждал свежих его номеров.

О чем же читали мы на языке эсперанто под вой сибирских буранов? О бездарном царском правительстве, ведущем Россию к краху, об оргиях, учинявшихся Григорием Распутиным, Вырубовой и прочими. По-русски я прочитал обо всем этом значительно позже. Как-то друзья прислали отцу Иннокентию ядреную сатиру о царском дворе (она ходила в списках среди студенчества). Все стихотворение мною подзабыто, но строфу о Гришке Распутине помню:

*Его пленительные позы
Вне этикета, вне оков.
Смешался запах туберозы
С тяжелым запахом портков.*

Заливистый хохот матушки Кати звенел после декламации по всему дому. Батюшка же, как понял я, очень много работал, писал статьи в петербургский журнал «Трезвые всходы», издавал брошюры против пьянства, книги о кооперации, об изучении эсперанто – словом, был это труженик, трезвенник, одареннейший человек. И я нисколько не удивился, когда позже, сразу после Февральской революции, он сбросил рясу и начал работать секретарем

Алтайского культурно-просветительного союза. Союз этот издавал учебники, книги и журнал «Сибирский рассвет», привлекая таких писателей, как Павел Низовой и А.С. Новиков-Прибой. Уезжая в Барнаул, Серышев сделал крестьянам драгоценный подарок – передал школе большую часть своей библиотеки, о которой мне еще придется говорить.

Дальнейшая его судьба тоже странна. Началась гражданская война, надвинулась колчаковщина, а он, судя по всему, мало что понял. Во всяком случае, в самое неподходящее время отправился в Японию – за бумагой для культурно-просветительного союза. Ехал один, без жены, не думал, значит, оставаться, вышло так, что больше на родину не вернулся. Жизнь его изобиловала превратностями. От эсперантистов разных стран, с которыми я по-прежнему вел переписку, время от времени узнавал о трудах этого человека, всегда неожиданных.

На эсперанто он выпустил, например, книгу «Страна самураев» – о своих скитаниях по Японии, а заодно о системе образования в этой стране. На английском, который тоже знал в совершенстве, издал капитальный альбом о деятелях русской культуры. Наряду с биографиями Сеченова, Мечникова, Павлова, Кони, Плевако, Сикорского, включил в него жизнеописания княгини Ольги, епископа Тихона Задонского, святого Сергия и т.п. Многие сочинения И.Н. Серышева хранятся, как я узнал, в Ленинской библиотеке в Москве.

Самого же его больше не видел, следы потерял, думал, что давно его и на свете нет. Как вдруг – впрочем, не вдруг, а все после того же полета Германа Титова – получил авиаписьмо на языке эсперанто из Сиднея. От кого же? От Иннокентия Серышева! Сообщил мне, что только в Австралии соединился с женой, но потом скончалась Катюша, он один доживает свой век, родину помнит и меня не забыл.

Мы переписываемся и поныне. У Иннокентия Николаевича есть давняя привычка нумеровать все письма своим корреспондентам. Последнее письмо ко мне он пометил номером 11218. В нем пишет, между прочим, что в Русском институте Колумбийского университета лежит его автобиография в пяти томах... Чего там только нет! Он ведь объездил всю Европу, всю Азию, говорил речи в лондонском

Гайд-парке, был рикшей в Пекине, уличным торговцем в Токио, обошел с посохом всю Австралию. Пишет, что, конечно же, много сказано у него о любимой Сибири, есть в рукописи глава и обо мне.

О судьбы русские! Но не поразительны ли трудолюбие, жизнестойкость, энергия этого человека? Горько сознавать, что они потеряны для большой науки...

Революция делалась далеко, до нас докатывалась. Февраль прошумел отдаленной грозой. Октябрь перевернул мир. В село начали возвращаться фронтовики, настроенные сплошь революционно. Местные «политики», после долгих наших бесед, тоже были законченными врагами царизма. Для меня же вопроса – принимать или не принимать революцию – не было. Принял безоговорочно, сразу.

Себя не видишь со стороны, и потому мне было очень интересно читать книгу «Два детства» С.П. Титова, одного из моих учеников (вышла в издательстве «Советская Россия» в 1965 году). Все он там вспомнил: как я ругал неслухов «печенегами», как проверял перед уроками, чисто ли вымыты руки, как на скрипке играл для ребят, да как был строг, колот «иглочками глаз» поверх очков, да какие черные волосы были у меня. Оказывается, ходил всегда размашисто, отбрасывал резко правую руку.

«Его размашистая походка, – пишет С.П. Титов, – напоминала событие, когда я впервые увидел учителя. Он шел по заснеженной улице впереди немногочисленной группы людей, с красным знаменем. Временами поворачивался к идущим, поднимал в руке тынину, и взлетала песня «Смело, товарищи, в ногу!». По сторонам этой процессии гарцевали на бойких конях два всадника с карабинами, гулко стреляли в зимнее небо. Вся деревня была взбудоражена. Шествие привлекло молодежь, ребяташек, а в оградах стояли пожилые да старики... Маленькая демонстрация двигалась по улице, все чаще под красным знаменем раздавалась песня, а конники палили, будили тишину и нерешительность Журавлихи».

Что ж, коли он пишет это, значит, таким я и был.

В мою задачу не входит дать описание грандиозных событий, хочу остаться на своей почве, говорить о малой частице огромной страны – о селе Верх-Жилинском, о кре-

стьянах и их детях, о том, как они потянулись к культуре, знаниям и о том, как по мере сил я старался им помогать. А лишнего сочинять не хочу и не буду.

Революция отозвалась для меня прежде всего тем, что мужики без уговоров достроили школьный сарай – настелили добрую крышу, сделали крылечко, сени, оборудовали небольшую дощатую сцену. Вечерами вместо «сборни» все чаще начали сходиться в школе, она стала своеобразным клубом, как и большинство сельских школ той поры. Постепенно у нас вошли в обычай политинформации, доклады, лекции, диспуты, вечера вопросов и ответов.

Книги из школьной библиотеки все время были в ходу, не берег я и своих книг. Хорошо помню каждую из них, какие смог собрать и привезти в село. Тут были и томики Пушкина, Некрасова, Грибоедова, Лермонтова, Чехова, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Записки охотника» Тургенева, басни и «Почта духов» Крылова, «Воскресение», «Исповедь», «Так что же нам делать!» и «В чем моя вера?» Л.Н. Толстого. Книги эти долго были со мной; сколько ни давал их бабам и мужикам, они неизменно возвращались ко мне – возвращались зачитанными, залосненными, и приходилось заново переплетать, подклеивать с помощью учеников страницы, но именно таков, на мой взгляд, и должен быть вид у любимых народом книг.

Все больше слушателей собиралось на громкие читки, а зимой решил я ставить пьесы. Выбирал, конечно, одноактные, преимущественно комические или остродраматические. Участвовали старшие школьники, молодежь, потом сыскались любители постарше, так что мочальные бороды клеить уже не требовалось. Первой, вспоминаю, шла у нас инсценировка «Хирургии» Чехова, даже и не инсценировка, а чтение «по голосам». Успех превзошел все ожидания, смех был такой, что заглушал реплики, приходилось повторять их по два, по три раза. И опять хохот. Артисты наши воспрянули, дело пошло веселее, каждый праздник мы давали новые спектакли. Опять же Чехова – «Злоумышленник», «Беззаконие», «Унтер Пришибеев», Глеба Успенского – «Зимний вечер» и «Байбаки» Бунина, «В деревенской тиши» Салтыкова-Щедрина, «От нее все качества» Л.Н. Толстого, «Белая ворона» Чирикова, «Ветеран и новобранец» Писемского...

Конечно, жизнь моя стала очень нелегка. Учил по-прежнему детей, учил взрослых. С утра до ночи крутился в школе, затевая новые дела. Но не ищите тут одной заслуги учителя: таково было время, и надо было за ним поспевать. Никогда еще до этого, да, пожалуй, и после этого, я не видел в деревне такого всеобщего стремления докопаться до сути явлений, такой тяги людей к разговорам, спорам, общению.

Наступил 1918 год.

К тому времени был я уже не один. Жена моя Мария Игнатьевна на долгие годы стала мне верным помощником и другом, и приходилось ей за «беспокойным» мужем трудненько. В Сибири, как известно, образовалось многовластие, началась смута, потом силу взяла колчаковщина. Пошел гулять по селам страшный лозунг: «Власть на местах!». Опираясь на него, кулаки терроризировали сельских большевиков, ревкомовцев, культпросветчиков. Были случаи, закапывали их в землю живьем. Жертвой этого похода едва не стал и я, отчасти по своей вине.

В соседней Косихинской школе имелся маленький киноаппарат «КОК-2» – редкостное по тем временам учебное пособие. Мои товарищи, учителя Д.Ф. Городничев и Г.И. Силкин, разжились где-то короткометражными лентами и устраивали сеансы для народа, да еще в сопровождении (как в городе!) музыкального трио – баяна, скрипки и фисгармонии. Само собой, я завидовал коллегам и просил их показать «живые картины» в Верх-Жилинском. Они согласились.

И вот мой просчет: сеанс я назначил 25 марта по старому стилю – на день Благовещения. Специально выбрал церковный праздник и афиши вывесил на церковной ограде, а расстановки сил в деревне, цепкости суеверий не учел. Вдобавок гости мои запоздали с приездом, и киносеанс начался аккурат во время обедни. Молебствия в Журавлихе проводились всегда, а тут – невиданное зрелище! Топоча сапогами, молодежь хлынула из церкви в школу. Я мог, казалось, праздновать победу.

Симпатичного эсперантиста уже давно сменил у нас жуликоватый поп Яков Ефремов, который злобился на меня за раскрытие его махинаций в кооперативе (он в нем счетоводил). Разумеется, поп воспользовался моим промахом.

Произнес в конце обедни погромную проповедь, призвал православных «обуздать богохульство, затеянное нечестивцами рядом с храмом божьим». И разъяренная толпа двинулась к школе...

На беду «политиков», фронтовиков, безбожников в селе не было. Тоже моя ошибка. Я давал им читать антирелигиозные брошюры, особым успехом пользовалась «Наука и религия» французского историка Мальвера – книга, написанная живописно и содержащая огромный разоблачительный материал. День Благовещения мои друзья решили провести в труде, уехали в поле, и потому не только в церковь не пошли, но и на киносеансе не остались.

Толпа окружила школу, ворвалась внутрь, пошла крушить киноаппарат, рвать белую простынь, на которой мелькали живые картины. Меня с товарищами выволокли на крыльцо. В руках у многих я успел заметить палки, колья. Оголтелые бородачи ревели:

– Ишь чо удумал, ирод!

– Устукать его, страмца!

– Птица небесная гнезда не вьет в святой день, а ен, анчихрист, нечисть завел подле самой церкви, да ишло во время службы!

– Живьем его в могилу, как в Белоярском исделали!

– Правильно! Пушай сам себе могилу роет!

– И косишинских туда же! Чо на их гладеть?

– Идол их принес в чужо село! Туда же!

Долго орали, визжали, плевали «анчихристам» в лицо, и ударь кто хоть раз колом учителей, не быть бы нам в живых. Но толпа, что волна: то прихлынет, то отхлынет.

– Нет, граждане, постойте! – крикнул кто-то. – Бить и закапывать не надыть!

– А чо с имя делать?

– Штрах наложить за оскорбление леригии!

– Правильно! Штрах!

– Сколько жа?

– Пятьдесят целковых в пользу храма божьего.

– Правильно!

Я сказал:

– Денег при мне нету. Отпустите одного из нас на мою на квартиру. Жена даст их.

– Нехай косишинский идет за деньгами! – зашумели в толпе. – А нашего стрюка держать тута, а то улизнуть!

Отпустили Силкина. Ждали в молчании, самое страшное миновало. Вернулся он быстро, принес «штрах». Я взял пятьдесят рублей и протянул толпе:

– Берите!

Молчат. То они скопом действовали, а тут надо кому-то одному. Говорю:

– Извольте получить!

Кто-то выкрикнул:

– Степан! Демидов Степан! Где ты? Ты же школьный попечитель. Бери Штрах!

– Бери. Тебе препоручаем!

Степан был мужик смирный, воды не замутит. Дети его, как, впрочем, и многих других, учились в школе. Ко мне относился всегда с уважением. Раскраснелся, голову не смеет поднять. Тяжелая ему выпала доля. А толпа насаждает:

– Чо мнешься? Бери деньги на церкву!

Вытолкнули Степана из дальних рядов. И вдруг худенький болезненный солдатик Бредихин, недавно вернувшийся с военной службы, многозначительно предупредил:

– Смотрите, товарищи! Будет вам за эту полсотню! Ой, будет! Только попробуйте взять... Не расплатитесь потом боками!

Демидов замер у крыльца. Толпа притихла, стала понемногу растекаться, таять. Деньги так и повисли в воздухе. Когда прискакали на лошадях мои друзья – жена успела послать за ними одного из учеников, – все уже было кончено. Обошлось.

Но киносеансы были сорваны. Ночью кто-то вышиб все окна в школе, утром я обнаружил записку, в которой корявыми буквами грозились убить меня. В лесу постреливали, занятий продолжать я не мог, перебрался на лето в Косиху. Без дела и там не сидел, принял участие в организации Народного дома. Заняли под него длинный магазин купца Кутузова, оборудовали сцену и открыли первый тогдашний районный театр. Зрители съезжались из всех окрестных сел, в том числе и из Верх-Жилинского.

Один спектакль запомнился особо. Ставили одноактную пьесу «Партизаны». За неимением современного

репертуара я ее сам сочинил. Были там красные бойцы, был старик-пасечник, он поил медовухой колчаковцев, а после их сонными брали партизаны, и штабс-капитан выскакивал в одних подштанниках. В общем, к шедеврам драматургии никак не отнесешь. Но зал замирал, ахал в нужных моментах, а то принимался подсказывать, где прячутся белые.

Роль штабс-капитана вызвался сыграть Трофим Селивестрович Мухачев, начальник раймилиции. На грим мы особо не полагались, я ему объяснил, что нужен мужчина большого роста, басовитый, звероподобный. «Ясно, – сказал он. – Тогда я подойду». Ни разу не репетировал. «Подумаешь, – сказал, – Я сам партизанил, командовал. Сдюжу!» Что еще хорошо, сапоги, наган, усищи – все у него было свое. Погоны только пришлось навесить. И вот похаживает он по сцене, хмурит брови, скрипит ремнями, отдувается важно – в зале смех, да и меня разбирает смех. Сижу между тем в суфлерской будке и не только текст, но и жесты должен артистам «подавать». Мухачев уставился на меня и басом:

– Чего смеешься? Давай дальше!

Тут уж всеобщий хохот. Пробираемся от реплики к реплике с грехом пополам. Потом вдруг, смотрю, вдобавок ко всему явился милиционер:

– Трофим Селивестрович, избитого привезли. Вас требуют.

А наш штабс-капитан, не выходя из образа, все тем же командирским басом:

– Не видишь, я играю! Кончу пьесу, разберусь... Ну, чего смеешься? Давай, дальше!

Кое-как дотянули «Партизан» до победного конца...

В начале 1919 года колчаковщина у нас свирепствовала вовсю. Карательные отряды налетали на села, искали дезертиров, пороли активистов, грабили крестьян. Мне и в Косихе угрожала опасность, я скрылся в Бийске у Ешиных: они переехали туда из Барнаула. Снова пожил со старыми друзьями. Осенью узнал, что партизанское движение в Косихинском и смежных районах развернулось широко. И в стороне не остался. Тайно вернулся в Верх-Жилинское, перешел на подпольное положение. В моем доме работали штабы партизанских отрядов Рогова, Ворожцова.

Уроков в школе не вел, время было смутное. Как-то группа партизан самоуправно сожгла в селе церковь, а мужики растащили на курево всю серышевскую библиотеку. Объяснение было такое, что это, мол, религиозный дурман, а книги – поповские. Я возмутился, потребовал у партизанских командиров приказа об изъятии книг. Вместе с учениками облазил чердаки и подполья. Библиотеку спасли. Курильщикам взамен книг отдал все старые газеты.

До полной ликвидации колчаковщины работал секретарем Верх-Жилинского ревкома. Между прочим, вел дневник о крестьянских настроениях, о набегах колчаковских банд. В 1920 году передал свои записи А.С. Новикову-Прибою по его просьбе. Дневник был им использован, но, к сожалению, ко мне не вернулся. Впоследствии вдова покойного писателя Мария Людвиговна сообщила мне, что эти тетрадки пропали в годы гражданской войны, когда Алексей Силыч много кочевал по стране.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. «МАЙСКОЕ УТРО»

После разгрома колчаковщины передовые люди села, бывшие партизаны вечерами засиживались у меня в школе, думали думу о новом житье-бытье. Все понимали, что жить по-старому нельзя, что пришла пора строить новый мир. Иначе для чего же совершалась революция.

Решили организовать коммуны.

На сельском сходе два десятка семей подали заявление, чтобы им выделили земельные угодья. И грянул бой! Первым выскочил один из «крепких хозяев» Егор Камакин. Трясая от злости, пошаркал бахилами от задней лавки к столу председателя, сорвал с головы собачий треух и рывкнул:

– Нет! Не дадим согласу на выдел откольникам!

Завизжал похожий на скопца Никита Голезов:

– Наша воля! Не может коммуна устоять против опчества!

Шумели и другие:

– Где такие права, чтоб с миром идти на раздерягу?

– Не дадим землю на отруб, и все тут!

– С опчеством не спорь! На мир и суда нет!

Поднялся Иван Алексеевич Носов, бывший батрак, недавний партизан, негромко и внятно сказал:

– Вы что, товарищи? Забыли, в каком государстве живете?

Сборня притихла.

– Сколько не горланьте, – продолжал он, – а землю дадите. Не хотите добром, власть прикажет выделить.

Кто-то спросил:

– А какие земли коммуна просит?

Носов ответил, и опять крик:

– Ишь чо захотели!

– Не согласны отрезать степь у Падуна!

– Отдай им чельцо, а себе, вишь, озадок!

– Нехай берут увалы у Ярошина Лога!

– Али землю при дороге.

К согласию не пришли.

Я помог коммунарам сочинить заявление в губземотдел, что тоже было в те годы обычным занятием учителей. Наши ходоки отправились в Барнаул. Вскоре оттуда прибыл землемер и объявил «опчеству», что властями предписано выделить угодья новой коммуне. Выслушан он был в угрюмой тишине и приступил к размежеванию.

20 марта 1920 года стало днем рождения коммуны «Майское утро».

Название придумала Прасковья Ивановна Зайцева, одна из коммунарок, поэтическая душа. Пришли на облюбованное место, остановились на увале, покрытом вековыми соснами и березами, увидели сверху речку, Журавлиную согру. Тут и решили ставить поселок коммуны.

– Мужики! – сказала Зайцева. – Нехай она прозывается «Майское утро» за ее баскую местность. Ажно дух радуется!

На том и сошлись. А умный, много читавший Петр Степанович Зубков, первый организатор коммуны, вложил в название политический смысл:

– И пусть слова «Майское утро» будут напоминать, что Советская власть дала нам такую же прекрасную жизнь, какой бывает здесь месяц май.

Жизнь, однако, была поначалу тяжела. В 1920–1921 годах разруха и голод душили страну. Многие верх-жилинцы сидели на мякине, а у кого хозяйство было покрепче – те в

коммуну не пошли. Да и сами коммунары строго вели отбор, зорко присматривались друг к другу, оценивали не только политические настроения, но и моральные качества людей. Во время процедуры приема задавались такие вопросы:

1. От чистого ли сердца вступаешь в коммуну?
2. Будешь ли честно трудиться?
3. Не станешь ли противиться культурным начинаниям?
4. Согласен ли добровольно выполнять устав коммуны?

Ясно понимая, что с многолюдным коллективом и громоздким хозяйством по первости не совладать, зачинатели коммуны приняли лишь двадцать пять семей. Это было мудро. Зато в состав ее вошли сознательные искренние доброты новой жизни. Без колебаний обобщили все свое имущество за исключением одежды, обуви и мелких вещей личного пользования. Трудно сказать, как они втайне переживали самоотречение от собственности – крестьянину это трудно, – но внешне, сколько я помню, никто не сокрушался по ней.

Как только солнышко согнало последний снег, коммунары начали валить лес на увале, поставили на пнях первые амбары и временные хозяйственные дворы. Постепенно разбирали свои хаты в селе, чтобы перевезти на новое место. Но с этим не спешили. Подходил весенний сев, и перед «майскими» вставали десятки сложных вопросов. А свести их можно, пожалуй, к одному, самому простому: «Как выжить?»

Сеять решили просо. Добыли с превеликим трудом семена, а расчет был такой, что плодородная целина на покотине прокормит, даст достаточный урожай. Но прежде надо было поднять эту целину – без нынешних тракторов, со считанными, истощенными лошадьми. Коммунары трудились от зари до зари. И уродило просо на славу. Когда по дороге проезжал верховой, еле маячила над посевами его голова. Стебель каждого растения у корня тоньше детского пальчика, кисти же висели не метелками, а увесистыми кулаками. Зерно чуть меньше конопляного. Я отродясь не видал такого проса. Намолотили его коммунары полный амбар. Мололи и пекли просяники, рушили – и варили пшению кашу. Спаслись от голода.

Тяжелейшее было время, а ничем не замутненное, чистое, светлое. Я бы его назвал временем первоначального энтузиазма, когда светлое будущее казалось совсем близким – вот оно, рукой подать! Трудности были вовне, внутри коммуны царило согласие. Никто не вешал замков на амбары и кладовые, никто не требовал контроля за работой других. Всяк трудился по совести и во всю мочь. В коллективном труде закалялись единая воля и душевная спайка, которые оберегали организацию даже в самую тяжкую пору бандитизма.

Бандитов было множество, они таились в сограх и лесах, их подкармливали кулаки, в подметных письмах они грозили: «Вырежем коммунию, коли не разойдется!». Как-то это не пугало людей: не только не разошлись, но, напротив, сплотились. Месяцами спали, не раздеваясь, под головы клали ножи, топоры, вилы. На заре все идут в поле, а кто-нибудь из стариков лезет на разлатую сосну, в руках – берданка: если заметит опасность – выстрелит, оповещая коммунаров.

Вот обычная картина. Июньский день, люди трудятся дружно: одни рубят избу, другие везут бревна из леса, третьи обжигают кирпич. И вдруг выстрел, истошный крик дозорного: «Бандиты!». Тотчас женщины и дети врассыпную, мужчины с ружьями залегают в назначенном месте. (Одно время к нам прислан был небольшой красноармейский отряд, а больше сами несли охрану.) Жуткая тишина, проходит пять–десять минут, потом либо жди перестрелки, либо окажется, что это ложная тревога, и тогда со смехом, шутками коммунары продолжают работу.

Даже читки, беседы просили меня проводить не в помещении, а в лесу, – спокойнее. Сидим, просвещаемся, но хряснет сучок, сорвется сосновая шишка, и все невольно пригибают головы. Сумрачно, страшно... Но оцените и такой факт: первым капитальным домом в два этажа, построенным под ножами и дулами бандитов, была в «Майском утре» новая школа.

К началу 1921 года большая часть коммунаров уже перебралась в поселок. Пример дружной жизни и ладного труда у всех был перед глазами, потянулась за «майскими» молодежь, задумались старики. Но не успело еще молодое

деревцо коммун запустить глубоко корни, как на него налетел шквал – чумышское кулацко-бандитское восстание. Оно погубило сотни прекрасных людей, сожгло десятки новых построек, уничтожило многие коммуны в Чумышском и Сорокинском районах. Шквал приближался и к «Майскому утру», однако отряды Красной Армии ликвидировали его. И тогда уцелевшие коммуны Заобской округи вступили во второй этап своей истории, который можно назвать их лихолетьем.

Дело в том, что волна кулацкого восстания захлестнула и обманутых середняков, бедняков, батраков. Боясь расплаты, они скопом подались в коммуны. Мои друзья говорили тогда: «Посыпались, как вши с гашника!». Отказывались брать кого попало, но тщетно. На беду, местные власти, вместо того чтобы разобраться с людьми, обрадовались такой «активности». Посыпались указания принимать всех подряд, всех без исключения. Начался сплошной кавардак.

У нас дошло до того, что не согласных записаться в коммуну выселили из Верх-Жилинского. Даже тех, кто вовсе был непричастен к мятежу. Этот неслыханный произвол учинил тогдашний диктатор села Васька Яргин, безграмотный мужик, ходивший с самодельной шашкой, украшенной красным бантом. Я было сунулся с возражениями, но он даже спорить не стал, замахнулся на меня шашкой:

– Пшел! И ты захотел туда же?!

Ранним утром начался исход «несогласных». Взвалив на телеги домашний скарб, привязав скот к оглоблям, угрюмо шагали бородачи, голосили бабы, плакали малые дети. Тревожно ревели коровы, ржали лошади. Гарцуя вдоль обоза на лихом коне, Яргин покрикивал:

– Пшел! Будя выть! Айда к поскотине!

Ночью в опустевшем селе слышался вой осиротевших собак. Добравшись до Оби, выселенцы послали делегацию в Барнаул. Дней через пять привезли из губзема бумагу, в которой говорилось, что, по учению Владимира Ильича Ленина, вступление в коммуны добровольное, а Яргин подлежит ответственности за дискредитацию советской власти. И его самого убрали из Верх-Жилинского, отдали под суд.

Однако сделанного не воротишь. Днями и ночами заседали в коммунах комиссии, рассматривая сотни заявлений о приеме. Теперь уже мужики сами подавали их, но от чистого ли сердца, вполне ли по доброй воле, никто не спрашивал. Повсюду стали возникать новые коммуны, нередко липовые, сшитые на живую нитку, и к руководству в них пробрались случайные люди. Спешили согнать на общий двор коров, овец, свиней, кур, свозили сохи, бороны, плуги, телеги, сани и прочее имущество. А помещений не было, не хватало ни кормов, ни пригонов, ни закутов.

Жизнь стала взбаламученным морем.

Должен заметить, искренне заблуждались тогда и многие честные люди. Торопились как можно шире размахнуться в строительстве новой жизни, забыв о том, что нет еще ни материальной базы, ни опыта ведения громоздкого хозяйства. Даже испытанные коммунары, мои старые друзья, верили, что в коллективном котле быстро «переварятся» их вчерашние недруги.

Позже на районном слете колхозников один оратор так сказал об этом:

– В коммуны полез народ самых разных категориев: бедняки, середняки, батраки, кулаки, дураки – словом, всех цехов! Сволоклись вместе и давай жить без всякого соображения.

Все усилия упорядочить ведение хозяйства напоминали стремление сгрести воду в кучу. Никакого учета труда коммуны не знали. По идее они строились на доверии, на сознательности людей. Пришельцы с виду будто и суетились, да без толку. Смотришь на них, бывало, – ходят, как вареные. А дома-то у себя каждый поворачивался! Вбили себе в головы: раз имущество не мое, то и ничье, пусть, мол, хоть все сгинет. Стерла кобыла холку – ничего, заживет! Хомут валяется в грязи – там ему и место! Забыли съездить за кормом для скота – эка боль!

Иные под маской усердия таили безразличие, а то и ненависть ко всему, что делалось в коммуне. Скандалы, особенно среди женщин, не прекращались. Заметит Марья, что Дарье раньше нее выдали обутики, и пошла свара. «Ничьи» свиньи тонули в свинарнике по брюхо в грязи. Зараженных поносом телят не отделяли от здоровых. Скоту

в общем пригоне наваливали горы сена, часть затаптывалась, превращалась в навоз. Коров вовремя не доили, поила им не давали, даже пастухи ленились лишний раз сгонять стадо на реку.

Извне коммуне уже ничто не угрожало, но изнутри раздирало ее. Каждый боялся сделать больше других. Пошлют мужика на пахоту, а он огрехи оставляет чуть ли не в сажень шириной. Дадут бабе огуречные семена, а она, чтобы отделаться поскорей, загонит их в десяток лунок – и домой. Назначат какую-нибудь тетку Федору печь хлеба, так она назло такие завернет, что не прожужешь. Даже у честных тружеников опускались руки, а уж те, кто метил «на вылет», орудовали все откровеннее. Пошло воровство, какого не знали первые коммуны. Повсюду теперь висели замки, но и они не помогали. Каждый день тащили кур, свиней, прятали в лесу плуги, телеги, лопаты, вилы, упряжь, чтобы по выходе из коммуны было чем «пойматься за землю».

– Ничего, – говорили, – скоро власть дозволит!

И дождались: начался развал хозяйств, совпавший с введением нэпа. В самый разгар сева кинулись врассыпную «коммунары поневоле». Завязалась великая тяжба при разделе имущества. Ликвидационные комиссии носились по району, а следом наезжали хищники из липовых коммун, хапая чужое добро. И кое-где ухитрились согнать к себе породистых коров и лучших коней, а после, когда поутихли страсти, перешли на устав ТОЗов (товариществ по совместной обработке земли), а там и вовсе разбежались в разные стороны. И сколько же в ту пору попортили добра, порезали скота!

Коммун уцелело после лихолетья немного, и выходцы, обиженные при разделе, разжигали в селах злобу против них. Все беды валили на честных коммунаров, сочиняли всевозможные рассказы и небылицы.

...Самоочищение «Майского утра» от чужеродных элементов было мучительным. Долго еще кулаки и их присные вредили хозяйству, губили посевы, похищали скот, трижды поджигали амбары, избы, бани, нападали на активистов. Ночью пробрались в хату Егора Блинова, первого нашего тракториста, и выстрелили в него в упор. Чудом он остался жив, но был искалечен на всю жизнь. Однако первые ком-

мунары стойко пережили все тяготы «прилива» и «отлива». Сумели сохранить все основное ядро и даже обросли сторонниками – немногими, но истинными. Коммуна устояла на земле, и начался третий этап ее истории. Лишенный навивных фантазий и прекраснодушных представлений, был он зато деловым, трезвым, прочным.

Об этом я еще напишу, а пока замечу, что все годы был вместе с передовыми людьми села. Именно так я понимал свою задачу учителя. Выступал на сходах, воевал с тайными и явными врагами коммуны спорил и с излишне ретивыми радетелями ее. Стал в ту пору селькором, печатал статьи и заметки в газетах. Не прерывал читок, вел занятия со взрослыми, учил, само собой, и детей. В первый же год коммунары сказали мне:

– Ты, Митрофаныч, подбивал нас на коммуны, так иди же к нам работать. Без культуры коммуны не жить. Нам нужна школа, нужны наука, театр, хор, оркестр, курсы, лекции. Учи и весели нас!

Да, так они и говорили: **«весели нас»**. И это **весели**, понимали не как пустое развлекательное времяпрепровождение, а как способ бытия, как средство укрепления трудового энтузиазма, как мощное оружие борьбы за новую, настоящую жизнь.

Человек, не любящий свою профессию, всякому делу обуза. Плох он и на заводе, и в поле, и в научной лаборатории, но хуже нет, коли окажется в школе. Педагог, не любящий детей, – нелепость. А ведь приходилось мне за долгую жизнь видывать и таких.

Однако больше встречал энтузиастов, подвижников. Нравнодушие – нерв педагогики. Щедрость – первая черта учителя. Он без оглядки отдает ученикам свои способности, умение, все свое время, всю свою душу.

Конечно, чего-то он и сам не знает, а всего и не может узнать. Образование учителя тоже не безгранично. Но самоотдача его не имеет границ. Так, во всяком случае, должно быть...

Оглядываясь назад, вижу, сколь мало я поначалу знал и умел. И ошибок сотворил на первых порах, надо полагать, предостаточно. Но, как бы то ни было, учить детей в школе «Майского утра» пришлось мне одному. Других учителей не

было. Долгие годы вел занятия со всеми четырьмя классами. Потом с пятью, шестью. Ребятам, окончившим первую ступень и желавшим учиться дальше, деваться было некуда. Волей-неволей я тянул учеников дальше: жалко бросать их! Занимался в две смены – по два-три класса в каждой. Такая быль не считалась в диковинку.

Хорошо было то, что начинать и заканчивать я мог, когда мне и детям удобно. Строгого расписания, звонков на перемены мы не ведали. Просто, почувствовав усталость ребят, я говорил: «Идите погуляйте!». Потом бил в шибало (кусок рельса, висевший у школы) и продолжал занятия. Бывало, по какой-то причине срывались они – скажем, меня вызвали в район. А вернусь под вечер и вижу, что время еще не вышло. Снова бью в шибало, и минут через пять сбегаются мои ученики. Благо жили все неподалеку. И не один час у нас зря не пропадал.

Мои ученики правильно и вовремя питались, спали, гуляли, играли, готовили уроки. Не теряли времени на долговременные походы в школу и обратно. Число учебных дней в году не сокращалось.

Коммуна купила детскую библиотеку, выписывала периодические издания для всех школьных возрастов, оплачивала все учебные расходы и дальние экскурсии школьников.

Плохо было то, что сам я ездил на уроки из Журавлихи. Дома для меня в новом поселке еще не построили, но транспорт коммуна обеспечила. Выделила мерина, самого смирного по кличке Колчак. Пока я вел занятия, мерин пасся в пригоне. Потом ребята бежали за ним, седлали, подводили к крыльцу. Шуметь, кричать, свистеть в этот ответственный момент было строго заказано. В полной тишине я взгромождался на конька и трусился через лес домой. Изо дня в день – под дождем и под снегом, в бураны и в мороз.

Жутки были 1920 и 1921 годы! Кругом город, разруха. Сельские школы застыли в буквальном и переносном смысле. Окна их пугали молочными квадратами. Детей в классах мало. Да и те сидели за партами в полушубках и шабурах, трясущиеся, посинелые, чакающие зубами.

Весь учебный арсенал – березовый уголь, березовая кора да изредка – выструганные дощечки. Ни книг, ни ка-

рандашей, ни бумаги! Школьная премудрость воспринималась учениками из уст педагогов.

В это лихое время «майские» судили-рядили:

- Без школы – нам позор!
- На жмыхе будем сидеть, а школу обходим!
- Чтобы не изгалялись над нами деревенские.

Школе коммунары дали все возможное: тепло, свет, уют, книги, бумагу, карандаши, чернила. Даже краски для рисования (их тогда делали в Барнауле из цветных глин).

На районных съездах и конференциях учителя других сельских школ скулили:

- Язвы тя! Дров нет в моей школе. Замерзаем!..
- А у нас воду не доставляют...
- У меня занятия в две смены, а керосина нет. Вторая смена учится в темноте...

Недавно ученые Сибирского отделения Академии наук СССР подготовили и издали сборник «Школа и учительство Сибири». В нем подробно говорится и о школе «Майского утра», приводятся цифры, которые я, если и знал, то основательно подзабыл. Начиная с 1927 года школа официально числилась в сети Наркомпроса. И вот источники ее годового содержания: госбюджет и районный бюджет – 459 рублей, средства самой коммуны – 829 рублей. То есть действительно крестьяне не жалели на просвещение средств.

Сегодня это может показаться удивительным, но уже летом 1920 года, как только в Сибири установилась советская власть, у нас были проведены межрайонные учительские курсы. Народное образование стало одной из первых забот голодной, разоренной страны. Около пятисот сельских учителей съехались в село Тальменка Барнаульского уезда, занятия продолжались три месяца. Я это очень хорошо помню, потому что меня избрали председателем курсов. Лекции по всем предметам программы читали профессора и преподаватели высших учебных заведений Томска, Омска, Казани и других городов. Специалисты преподавали нам сценическое дело, нотную грамоту, музыку, пение, художественное чтение, рисование, лепку, ручной труд. Сидели мы в нетопленных помещениях, ели впроголодь, одеты были кто во что горазд, а рассуждали о школе

будущего, о подлинной массовой культуре, о новых методах обучения детей.

Начало 20-х годов было временем коренной перестройки старой школы. Впервые учителя задумались над тем, как дать настоящее образование не кучке избранных, а всем детям страны. Это и сегодня непросто, а тогда представлялось задачей невероятной сложности. Как, например, скорее и легче научить ребенка читать? Как проще раскрыть ему тайну буквослияния? Эти вопросы «грызли» меня с того дня, как я в первый раз вошел в класс. Для решения их предлагались десятки способов. Но я чувствовал, что они мало помогали мне.

Докатился до нас, скажем, американский метод обучения чтению – метод «целых слов». Считался он архипрогрессивным, и это поветрие охватило почти всех учителей начальных школ. Я тоже, понятно, не остался в стороне, но решил все же убедиться в чудотворности нового метода. Поехал в Барнаул, где вела занятия известная «американистка», присланная из Москвы. Было это в том же 1920 году.

Попросив разрешения присутствовать на уроке, я сел в гуще малышей. Наблюдал. Учительница (выставив на доске слово «рама») сказала: «Читайте, дети, это слово сразу, а не по буквам. И по всему классу прошел шепоток: «РЫ-А-МЫ-А... РА-МА...» Учительница попросила: «Ну, прочти ты, Лида». Лида прочла: «Рама». Учительница: «Хорошо. Садись».

Так читали дети и другие слова в течение всего урока. Что же получалось? Метод связан был с особенностями английского языка: написание букв в нем далеко не всегда соответствует произношению. Я же слышал в классе сначала «тихозвуковое» обычное чтение, а потом «громкоамериканское». Никаким методом «целых слов» на уроке и не пахло! Правда, некоторые наиболее способные дети, узнавшие буквы еще дома, читали слова сразу и подсказывали своим соседям. Но такие дети всегда были, есть и будут. Они научатся читать по любому методу!

Свое мнение о модной новинке я откровенно высказал на губернском съезде учителей в Барнауле. И надолго был зачислен в консерваторы. Мне даже сулили увольнение за приверженность «дореволюционным методикам». Однако я не сдался. На районной учительской конференции заявил:

– Давайте поставим опыт. Учите детей «по-американски», а я буду учить по старой «звуковке», которую немного улучшил. Выберите комиссию для обследования школ. И пусть она доложит результаты на зимней конференции.

Так и постановили. С методом «целых слов» возились еще больше десяти лет, пока он был осужден в стране как порочный и непригодный для русского языка. А у нас в Косихе уже зимой комиссия доложила: «Как ни странно, первоклассники у товарища Топорова читают и пишут гораздо лучше, чем во всех других школах района». И меня оставили в покое.

В чем же заключалось мое улучшение звукового метода? Ребенок знает много предметов и их названий. Буква из разрезной азбуки для него тоже предмет, названия которого он еще не знает. Задача учителя – сообщить ему название буквы и закрепить в памяти многократным повторением. Когда дети узнают две-три буквы, можно приступать к чтению самых коротких слов. Делал я это по-старому, не мудрил. А когда читали слова из четырех, пяти, шести букв, тут и начиналось мое расхождение с обычной «звуковкой».

По-старому урок проходил так. Допустим, ученик должен был прочесть слово «шарик». Вот он сказал: «ША» – и запнулся. А учитель долбит ему над ухом: «Думай! Ты думай!». Это сбивает малыша с панталыку. Он начинает «думать». Возвращается к началу слова и теперь добирается до третьей буквы: «ШАР». Опять – стоп. А учитель свое: «Да ты думай!». Ребенок догадывается: «ШАРЫ». Учитель сердится: «Нет! Подумай еще!». Но о чем же ученик может думать, если он не дошел еще до конца слова? Ему не о чем думать. И он фантазирует невпопад.

Я же на первых уроках внушал маленькому чтецу:

– Правильно называй все буквы, какие видишь. Если назовешь их скоро, само слово скажет тебе, как его «звать».

Упражнения в быстром «беге» по буквам и в точном названии их до конца слова – вот в чем тайна буквослияния. Тут-то «шарик» и выкатится сам изо рта. В самом деле: назвав громко и правильно все буквы слова, ученик услышит его. Оно через ухо войдет в его сознание. И малышу не надо думать, ибо все слова, которые он будет читать на первых страницах букваря, обозначают предметы, уже знакомые ему.

Мы играли в беганье по буквам без возвращения к началу слов. Механику буквослияния разъяснял детям и образно. Ходил от одной стены класса к противоположной быстро, не возвращаясь. Затем ходил иначе: сделав три шага вперед, возвращался к исходной точке. Делал четыре шага и снова возвращался. Ребята хохотали над вторым способом моего хождения. «Так и при чтении, – заключал я, – надо сразу идти по буквам до конца слова». Мой вариант обучения верно и скоро приводил к цели.

Эка хитрость, скажет современный читатель. Подумаешь, открытие! Действительно, не открытие, и хитрого ничего нет, и проблемы сегодня нет. Но учтите, споры эти велись, когда впервые в истории миллионы крестьянских и рабочих детей сели за буквари. И происходило это в тяжелейшее время для нашей страны.

Однажды я читал в классе хрестоматийный рассказ о том, как гроза застала детей в лесу. Ребята слушали со вниманием, все было им близко, а потом многие подняли руки. Оказалось, не поняли слово «оскретки». Возможно, кто-нибудь решит, что беды тут нет. Не знают, и ладно. Проживут и без оскреток. Будут «проще» говорить: мелкие частицы какого-либо вещества. А рассказ-то был Льва Николаевича Толстого. Этак мы и его разучимся понимать, растеряем все богатства родной речи!

С первых шагов учительской работы меня удручала мысль о крайней бедности, корявости языка школьников. Я понимал, откуда она идет, потому что сам рос таким. Будучи уже воспитанником Бродчанской школы, говорил, например, «скоряй» вместо «скорей». Хозяйка дома, где я жил, отчитала меня за стойленский диалектизм:

– Эх ты, кацап! Лезешь в учителя, а каркаешь «скоряя-яй»! Говори как люди: «скорей».

Живу девятый десяток, а урок, преподанный безграмотной крестьянкой, помню. И в школе никогда не ленился поправлять учеников, объяснять им значение слов, да и весь класс призывал подмечать лексические и грамматические ошибки: «Что неправильно? Кто скажет лучше?». Дети друг на друга не обижались, это стало у них своего рода игрой. Выискивали речевые шероховатости и у взрослых, что тоже было полезно. Ошибка, пойманная при памятных обстоя-

тельствах, не забывается. Помню, как радовался я, когда ученики сами стали замечать слова-паразиты, в обилии вдруг зазвучавшие на коммунарских собраниях: «утрясти вопрос», «определенно» (вместо «да»), «в общем и целом», «значит», «вообще», «в этой части» и т.д.

Словечки эти оседали у ребят в словарях. Я считал и считаю их отличным средством для обогащения лексикона. Услышал или прочел свежее слово – запиши, в классе мы разберем. По моему совету старшие школьники делили эти самостоятельные тетрадки на разделы: непонятные слова, крылатые слова, паронимы, метатезы, каламбуры, фольклор, народная этимология, «сибиризмы», слова-паразиты и проч. Каждый из учеников записывал свое, но я видел, как развивается их вкус к живому меткому слову. Выискивали многое такое, что и для меня оживало по-новому.

«Начнут гладью, а кончат гадью» (Гоголь). «Неизреченное остоупство» (Салтыков-Щедрин). «Смазь вселенская» (Помяловский). «Семь пудов августейшего мяса» (Новиков-Прибой)... Записывали коварные паронимы: «съезд – съесть», «изживать – изжевать», «шествовать – шефствовать», «приемник – преемник», «освещение – освящение», «приходящий – преходящий», «изморозь – изморось», «поданный – подданный», «запивать – запевать». Хохот стоял в классе, когда я выписывал на доске курьезы из сочинений: «Воин с мячом в руке», «четырёхростный театр», «облысение поселка идет успешно», «пуля застряла в брюшной подлости».

Очень полюбили игру слов, каламбуры, которые выискивали и в пословицах, и в книгах. «Будет вам по калачу, а не то поколочу» (Пушкин). «Злато, злато! Сколько через тебя зла-то!» (Островский). «Не богослов, а бог ослов!» (Лесков). «Все люди братья, люблю с них братья я!» (Демьян Бедный). «Он несколько раздумячился» (Л.Н. Толстой). И оживали ребячьи глаза, когда они улавливали это «несколько раздумячился», перекачивали слова во рту, перебирали нетленные богатства языка.

Мгновенно схватывали образцы народной этимологии: «стадо рассмотрели» (в стадии рассмотрения), «миродеры» (мародеры), «мараль» (мораль), «полуклиника», «валикатный», «долбица умножения», «клеветон», «мелкоскоп» и т.п.

Метатезы – слова с произвольной перестановкой букв (не так язык повернулся): «коркодил», «жевлак», «мarmor», «веретагианская кухня» (у Горького), «попал в запандю» (у Чехова). Привел я классический пример из «Соборян»: «Лимона Ивановна, дайте мне матреничку». И каков же был восторг моих учеников, когда вскоре на спектакле «Дядя Ваня» оговорился наш пастух, игравший роль Телегина. Должен был сказать: «Сюжет, достойный кисти Айвазовского», а ляпнул: «Айвазет, достойный кисти Сюжетковского!».

На следующий день ребята наперебой объясняли мне, что тут была метатеза, притом отдаленная: не в слове буквы перетасовал, а в целой фразе. Развилось у многих чутье к языку, научились вылавливать ходовые нелепицы вроде «Книжка страшно понравилась мне» или «Благодаря засухе хлеб не уродил». Конечно, речь ребят пестрела «сибиризмами», но я не стремился вытравить их, обескровить язык. Добивался одного: пусть отличают, какие слова общелитературные, какие – местные. И появились в их словарях новые залежи: буровить – бредить, варнак – хулиган, колок – лесок в степи, елань – полянка, загануть – задать задачу, коевадни – третьего дня, пятры – чердак, пошевни – род саней, трекнуться – отречься, утресь – рано утром, хрушкая – крупная (соль), насердка – злоба... Некоторые из моих учеников приносили уморительные записи. Один из следопытов залез в подпечек, чтобы не спугнуть двух ветхих старушек. Беседу их о «баском» прежнем житье передал с фотографической точностью. Долго вся коммуна хохотала над этим слепком живой речи.

Постепенно, медленно, но менялись и сочинения школьников. А я давно уже устал читать шаблонные, суконные, безликие творения своих питомцев. И метался в поисках способов раскрепощения их языка. Да и кто из учителей не жаловался на неумение детей писать?

Приходит на память Каплинская бурса. Даже в ней воспитанники писали сочинения по всем предметам программы, помимо катехизиса и славянского языка. А современные наши преподаватели не словесники (опять же за исключением немногих!) давным-давно привыкли к необязательности их участия в едином фронте борьбы за культуру речи учеников. Удивительно, что эту ужасную

аномалию спокойно созерцают органы народного образования!

До революции издавался журнал «Русская школа», где попадались дельные статьи отечественных и иностранных педагогов. Были и работы о детских сочинениях «с природы». Не помню, какой автор рекомендовал наблюдать предмет так, чтобы он входил в сознание наблюдателя через все его чувства: зрение, обоняние, слух, осязание, вкус. Полезнейшее наставление нашел я у К.Д. Ушинского: *«Основание разумной речи заключается в верном логическом мышлении, а верное логическое мышление возникает из верных и точных наблюдений»*.

Углубившись в историю искусства, узнал, что все мировые классики литературы, живописи, скульптуры, зодчества, музыки зорко наблюдали природу, жизнь прошлого и современного мира. И как ни поразительна была фантазия гениев, они отталкивались от явлений и фактов действительности. Казалось, я нашел ключ: будь верен природе, учишься видеть, наблюдать. Это и положил в основу обучения школьников писанию сочинений. Но наткнулся на препятствие – на неумение ребят строить фразы. Синтаксис для многих был еще непосилен. Всю надежду я положил на здравый смысл и речевое чутье, которые свойственны от природы каждому нормальному ребенку.

Всем классом мы шли, например, в лес, останавливались, и я предлагал: «Посмотрите вокруг внимательно, запомните всякую малость, какую увидит глаз, услышит ухо, почувствует кожа, нос, а потом дома напишите рассказ «В лесу зимой». Дети замолкали, сосредоточенно наблюдали. Некоторые записывали свои наблюдения в тетрадки. На месте мы тренировались в построении фраз. Сообща сравнивали и «отделявали». Одну и ту же мысль выражали по-разному:

- В глубоком снегу видны следы заячьих ног.
- На белом пушистом снегу написано много заячьих следов.
- Строчки заячьих следов лежат на снегу.

Большинство голосов решали, чья фраза лучше. Потом я спрашивал: «Кто еще заметил что-нибудь особенное?» Ребята говорили о большом вороньем гнезде из сучьев,

прилепившемся вон на той сосне и наполненном снегом; о дороге на мельницу, вдавившейся в снег, как в перину; о том, что из деревни доносится крик петуха, что изредка ломаются замороженные ветки берез и с треском, цепляясь за сучья, падают на снег. И так далее, да с каждым днем больше.

Можно только пожалеть о том, что с годами наши словесники увлеклись преимущественно разбором «литературных типов». Даже когда предлагают детям вольные темы о приходе осени или весны, те тотчас находят мнимолитературные, стертые фразы типа «деревья надели свой праздничный наряд» или «природа пробудилась ото сна». А я помню короткое сочинение первоклассника: *«Весна. Навоз парит, а сверху кобель лежит, греется...»*.

Прочел я это школьникам и сказал:

– Все подглядел! Читаю и сразу вижу: весна.

Наблюдения захватили многих ребят. Натуру мы искали не только в поле и в лесу. Брели бытовые темы: «Свадьба», «Супрядки», «Спектакль в Глушинке», «Смычка». Наблюдали и за людьми, хотя кому-то это может показаться антипедагогичным. Намечали самого колоритного человека из коммунаров, совместно находили его характерные черты, ловили любимые словечки, отрабатывали каждую фразу портрета. Удачное описание «натурщика» изумляло ребят: «Как живой!». А я подчеркивал, что всякое художественное произведение радует, если оно правдиво.

Среди детских сочинений были рассказы, народные сказки, дневники, письма, портреты, инсценировки, стихи. У одних авторов преобладали описания, у других – диалоги, третьи в равной степени пользовались и тем и другим. Одни нагромождали художественные детали, другие ограничивались двумя-тремя меткими штрихами, третьи копировали натуру. Тут им предоставлялась полная свобода.

Я отрицаю сочинения по вопросам учителя. Они сковаывают воображение, портят ребячью речь. Рассказы по картинкам, тоже распространенные в ту пору, считаю полезными, но лишь в развитии книжного языка. Картина, как бы она ни была талантлива, не показывает движения, не звучит, не пахнет. Живая натура приводит в действие все

чувства и потому крепче запечатлевается, рождает точные слова. Они как бы сами слетают с пера!

Вырастут дети физически, вырастет и их мысль. Они навострят глаза видеть типичное в жизни, систематизировать наблюдения, усиливать и обобщать их светом больших идей. Наконец, к достоинствам писания сочинений с природы нужно отнести и то, что они увлекают учащихся. Как-то учитель Г.И. Скворцов подверг мой метод критике. Я уговорил его поставить опыт. Он согласился. Недели через две я навестил товарища, он улыбнулся смущенно и сунул мне в руку толстую связку бумаги:

– Получился какой-то потоп. Все взялись за сочинения. Эпидемия! Ночами тащат ко мне на проверку. Есть недурные.

О своем опыте развития мышления и речи учащихся я написал и опубликовал во втором номере «Сибирского педагогического журнала» в 1925 году пространную статью. Приложил к ней более четырехсот детских сочинений, но увидели свет, разумеется, лишь единицы из них – не хватило места. Год спустя в Москве вышел сборник «Свободные сочинения и детское творчество». В него включили фрагменты из моей работы, благодаря чему сохранились некоторые рассказы маленьких сибиряков. Вот образец:

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Утром рано был ветер и мороз. Снег был твердый. Потом взошло солнце, и снег стал таять. Кое-где оставались большие круги снега. Лужанки было видать. И ручейки текли. Куры ходили по лужанке и пили в лывах. А на реке воды было много!

Автор – девятилетняя Шура Носова. Та самая, которой суждено было, выйдя замуж, стать Титовой и родить сына, который полетит в космос...

Постепенно становилось на ноги хозяйство коммуны. Ввели многопольный севооборот, начали сеять новые сорта пшеницы, овса, ячменя. Урожаи повысились в два-три раза. На Косихинской сельскохозяйственной выставке 1925 года у экспонатов «Майского утра» мужики проглядели все глаза:

– Язви ты в норы-мыры! Сто сорок пудиков у них красноколоска дала с десятины!

– А овес-то, паря, ровно с орех!

– Вот черпанули хлебушка!

Коммунары построили завод для выработки конопляного и подсолнечного масла. Потом взялись за мак, которого сроду не сеяли в наших местах. Для опыта заняли крупноголовым красным маком пятнадцать десятин. Многие посмеивались над «чудаками», но когда поле вспыхнуло алым полымем, то глазеть на это небывалое зрелище стекались толпы со всего района. На заводе стали «бить» тончайшее, чистое, как слеза, маковое масло. Доход оно приносило большой: в городах на нем приготавливали высшие сорта печенья. И у нас «жамки» из мака стали любимым лакомством малышей, да и взрослых тоже.

Если бы прежде кто-нибудь сказал сибирякам, что под Барнаулом могут расти арбузы, то его подняли бы на смех. Но мы, изучив «арбузную» литературу, пошли на рискованный эксперимент. Семена выписали из Семипалатинской области, бахчу разбили на супесчаном солнечном увале. И что вы думаете? Полный успех! Арбузы выросли такие, что два сразу я обхватить не мог. Огромные, сладкие, звонкие, чуть прикоснешься ножом – лопаются с треском.

И проблема: куда девать эту благодать? Везти на рынок в Барнаул – далеко, не с руки. Ели сами. Насолили, намариновали. Но все равно никаких амбаров не могло хватить на такой урожай. Кликнули клич по селам, чтоб приходили в «Майское утро» есть арбузы бесплатно. В воскресенье сошлись и съехались к нам сотни людей. Расположились табором на траве, коммунары выкатили горы арбузов, и, расколов их надвое, гости ели, ели, оторваться не могли. Повсюду искрилась на свету красная мякоть. Напоминало это пир дикарей, убивших на охоте огромное животное и теперь пожиравших его по частям. Смех слышался вокруг, подначки, шутки, а ведь это тоже было агитацией за «коммунию».

Многие благие новшества пошли в округе именно от «майских». Они старались действовать по науке, приглашали агрономов, ветеринаров, зоотехников, да и сами ездили на курсы, много читали. Изучив книги по молочному

животноводству, постановили расстаться с низкорослыми «тасанками», дававшими мизерные удои.

За несколько лет в коммуне образовалось отборное стадо высокопродуктивных коров. Наш маслодельный завод имел своих мастеров экспортного сливочного масла. Одна наша коммуна продавала его государству больше, чем 14 сел единоличников! Молочное животноводство было самой доходной отраслью хозяйства коммуны.

Но неожиданно нагрянула беда! Из Западно-Сибирского краевого земельного управления прикатил чиновник со строжайшим приказом: немедленно выбраковать (вырезать) всех породистых коров, быков-производителей, так как они-де не приспособлены к суровым климатическим условиям Сибири и непременно заболеют туберкулезом.

А все эти коровы аккуратно получали противотуберкулезную прививку, были абсолютно здоровы и упитаны так, что лоснились! На общем собрании коммунаров чиновник огласил приказ и потребовал начать резать коров завтра же, в его присутствии. Поднялась буря протеста. Председатель Иван Алексеевич Носов категорически заявил:

- Приказ этот вредительский. Выполнять его не будем!
- Не будем!! – поддержали его все коммунары.

Чиновник взъерепенился:

- Так это что же?! Неподчинение краевой власти?!
- Не власти, а вредителям не подчиняемся! Советскую власть мы сами завоевывали!
- Бери сам нож – и иди режь коров, а мы не будем резать!

– В таком случае я арестую Совет коммуны!

– Арестуй! А вредительскому приказу не покоримся!

Чиновник мотнулся в Косиху. На следующий день он вернулся с двумя милиционерами и арестовал Совет. Районные власти тоже смотрели на коммунаров, как на гнездо анархистов. Арестованных держали в Барнаульской тюрьме. В эти драматические дни коммуна напоминала растревоженный улей пчел без матки. Враги ее радовались...

Я упросил Павла Ивановича Титова взять в свои руки временное управление коммуной. Он выступил на собрании:

– Товарищи! Не дадим порушить коммуну. Не хнычьте: власти повыше разберутся! Мы будем правы. Работайте, как работали раньше...

А недели через две-три в Западно-Сибирском земельном управлении раскрыли и арестовали группу вредителей, от которой исходил между прочим и приказ о вырезке всех породистых коров в хозяйствах. И действительно, органы советской власти, к которым обратились коммунары, быстро разобрались в ситуации, а Совет коммуны «Майское утро» был немедленно выпущен из тюрьмы...

Делалось все это, понятно, не за один год, перемены в сельском хозяйстве требуют времени и сказываются не враз. Каждая из них вызывала поначалу усмешки, потом настороженный интерес, а там и желание понять, пережить. Коммунары же, уверовав в науку, все смелее шли вперед.

Низкорослые, мохноногие сибирские лошадки хоть и славились бегом, но были слабосильными. Хозяйству коммуны требовались лошади, у которых сочетались бы рысь и большая тяговая сила. Такую породу получили от скрещивания чумышских тяжеловозов с орловскими рысаками. Но и эти метисы не удовлетворяли «майских». Их влекло к эстетике в коневодстве. И они завели чистокровных орловских красавцев. Мало того: наняли наездника, купили «американку», сделали в поле круг для тренировки рысков. Полюбоваться конским ристалищем сходились и коммунары и окрестные единоличники...

Обыкновенные крестьянские белые свиньи в Сибири до революции походили на гигантских ежей с пожелтевшей, будто заржавленной, щетиной. Со второго года жизни коммуны «Майское утро» всех этих свиней пустили под нож. Развели английских йоркширов. Для них построили «культурный» свинарник. А через шесть лет Филипп Захарович Бочаров, пройдя специальные курсы, выращивал и беконных свиней, вагонами отправляя их на Бийский беконный завод, продукция которого высоко ценилась и зарубежными гастрономами...

Сибирская дореволюционная овца – срам такой, что и глядеть не на что! Маленькая, шелудивая, хвост – с палец! Грубой шерсти с нее в год – три фунта.

Этих овец коммунары быстро перевели. Добыли крупных белых волошской породы. Правда, и они – грубошерстные, зато курдюк доходил до 30 фунтов сплошного жира! Туна – не менее двух пудов. Шерсти в год – 6-7 фунтов. Четыре овчины – и полушубок на среднего человека...

Первый инкубатор тоже построили в «Майском утре». Заведовала им моя ученица Анастасия Носова, изучавшая новое дело на курсах в городе Бийске. Электричества в районе еще не было, инкубатор освещался керосиновыми «молниями», но цыплят давал тысячами. Разговоров об этом было особенно много, бабы не верили, что можно обойтись без несушки. Однако убеждались, ахали, качали головами, и яиц в коммуне было невпроед.

Близость реки и пруда позволила разводить уток и гусей. Вся продукция птицеводства потреблялась дома. Зимой в кладовых висели замороженные говяжьи, свиные, бараньи туши, куры, утки, гуси. Люди объедались мясом. На раз бабы поднимали даже «мясной бунт» на собраниях:

- Обрыдло нам мясо!
- Все говядина да свинина, баранина да гусятина!
- Пошто мужики не привезут из города селедок, али еще какого другого провьянту?!

Новинкой был и пруд десятины в три, который соорудили наши мужики, подняв и укрепив старую гать. Вскоре завезли в кадушках карпов, пустили на развод. Летом, бывало, хлещут хвостами по воде, играют. Под вечер вынут носики из воды, глотают кислород. Развелись и караси. Зимой приходилось пробивать во льду отдушины, чтоб не задохнулась рыба. Брали ее сетью, сколько надо для коммунарской ухи. А ребятишкам и удовольствия ради позволяли удить.

Верх-жилинцы искони водили пчел. Павел Иванович Титов от отца унаследовал пчеловодную науку. Ему и в коммуне поручили пасеку. Только теперь у него на тихой поляне, окруженной лесом, стояли не дуплянки, а «даданы», «лангстроты» и «сибиряки».

В чистом и всегда пахнущем цветами и травами сарае у Павла Ивановича на полках стояли десятки новейших книг и брошюр по его специальности. Пасека числилась образцовой. На ней проводились межхозяйственные курсы пче-

ловодов, где Павел Иванович состоял главным лектором. Лишь в конце 20-х годов в помощь ему поставили прекрасного человека – Тимофея Ивановича Сусликова.

В истории коммунарского пчеловодства тоже был весьма драматический случай, который остался загадочным навсегда. Расскажу о нем.

Вокруг поселка коммуны летом – океан разных медоносных цветов. Пестрели поляны с диким клевером. Рясно цвела черемуха. За оградой пасеки рос сеяный синяк с неиссякаемым нектаром... От меду ломились ульи! Но вот в коммуну прибыл главный инструктор-пчеловод Западно-Сибирского земельного управления Кожурников, тоже известный в Барнауле колчаковский офицер. Он, правда, на собрании не угрожал, не командовал, а убеждал. Держал такую речь:

– Товарищи коммунары! Нашему государству нужен шведский клевер – и как богатый медонос, и как прекрасная кормовая трава, улучшающая структуру почвы. Но у нас нехватка семян шведского клевера. Мы вынуждены покупать их за границей на золото. Это нам невыгодно. Правительство решило иметь свои семена красного клевера. Вашей коммуне и поручено быть репродуктором этих ценных семян. Тут есть трудность. Шведский клевер дает семена только при условии опыления его цветка насекомыми, главным образом, пчелами. Но у этого клевера рожок, где содержится нектар, очень длинен, а у сибирской пчелы хоботок короток. Не может она достать этот нектар сверху. Значит, надо насильно заставить ее прогрызть рожок клевера внизу, сбоку, чтобы легче достать нектар.

– А как же заставить ее?

– Голодом! Нужно свалить на всех ваших полях, лугах, сограх и в лесах – все травы и цветы!

– У нас же гречиха в цвету! Сорок десятин! Смотри: она вся, как в снегу! С нее пчелы ужась как берут мед! Неужели и ее свалить?!

– Придется свалить!

– Да там же урожаю будет не оберешься!

– Свалить!

– А это не такое дело будет, как с вырезом породистых коров?

– Нет, товарищи, – успокаивал Кожурников. – это дело верное. Опыт будут проводить у вас два биолога из Томского университета. Они проживут у вас до получения семян с участка.

Согласились. Люди взяли косы, запрягли лошадей в силки. Повалили все травы и цветы-медоносы. Повалили и великолепную гречиху!

Ночью бесшумно перевезли ульи на поле возле клевера.

Прошло лето. Обмолотили клевер. На току высилась небольшая кучка семян. Мешочек с этими семенами биологи показывали собранию коммунаров на отчетном докладе. Уверяли, что клевер дал прибыль. А грызли ли пчелы длинные рожки – неизвестно. Но ради научного опыта люди ничего не жалели. Тем более, что очевидного вреда от него не было.

До коммуны в селе Верх-Жилинском никто не знал помидоров. В коммуне «Майское утро» их насадили много. И всяких сортов, колеров и форм: от крупных в два кулака до миниатюрных «дамских пальчиков».

Огурцы, баклажаны, брюква, свекла, капуста и прочая мелочь выростали на удивление! Огородом ведал знатный агроном, но (как это часто бывает, к сожалению, у русских людей) хронический алкоголик Ковалев. В дни просветления он был истинным магом и волшебником своего дела. Не зря он, колотя себя в грудь, хвалился перед коммунарами:

– У самого графа Шебеко заправлял садами, огородами, цветниками и парками! Всю зиму на столе были свежие овощи из парников.

Нечего сказать: при Ковалеве в коммуне было обилие овощей. Он же насадил у нас и первый в Косихинском районе яблоневоый сад. В мае 1932 года сад этот уже зацвел. А Ковалев, безнадежно спившись, исчез.

В коммуне было много культурных цветов. Любовь к ним передалась от моей жены Марии Игнатъевны, страстной цветолобки. У каждой избы летом пылали мальвы, наминавшие деревенских девок в цветастых праздничных нарядах; головастые пурпурные георгины, а под ними десятки разных низкорослых цветов.

Вдоль всей главной улицы поселка пролегал длинный цветник, насаженный школьниками с Марией Игнатъевной...

Уже во второй половине 20-х годов коммуна имела свои заводы – кирпичный, маслобойный, маслодельный, завела мастерские – механическую, токарную, слесарную, сапожную, портняжную, построила водяную мельницу. Появились у нас и новейшие по тому времени машины – молотилки, сеялки, лобогрейки, веялки, двуконные плуги «Оливер» с сиденьем, которые избавляли пахаря от первобытного шагания по борозде. А в 1925 году прибыл в «Майское утро» и первый трактор – тридцатисильный «Интернационал» или, как его стали называть, «Интер».

Горячий летний день. Верст за пять от поселка вышли все на барнаульскую дорогу поглядеть на «чуду». Мужики, бабы, ребяташки, древние старики и старухи. Были здесь и единоличники Верх-Жилинского. Ждали в молчании, потом послышался далекий гуд, с каждой минутой он становился слышнее, ясней. Наконец увидели: вот он! Катит по дороге стальной конек с легковейной синеватой гривкой. Старик закрестился, молодежь закричала «ура!». Егор Блинов, сидевший за рулем, был город, как победитель, возвращающийся с поля боя. Люди кольцом окружили трактор, глядели его, робели от сердитого урчания.

– Этот селезенки не оставит!

– Всю дюжую работу возьмет на себя!

Надо ли говорить, что при всех событиях такого рода присутствовали школьники, во всех делах принимали посильное участие. Иначе и быть не могло. С одной стороны, новшества ждали притока молодых сил, требовали иного уровня познаний. С другой стороны, самим ребятам были они интересны. Польза – обоюдная.

Таким образом, рассказывая о хозяйстве коммуны, я говорю одновременно и о росте ее нового поколения. Ребята учились, готовили уроки, вели свои словарики, писали сочинения, а наряду со всем этим – работали. Труд был основой учебы и воспитания. Каждому школьнику врач назначал вид труда по силе, здоровью и желанию.

А когда коммунарскую школу реорганизовали в школу крестьянской молодежи (ШКМ), ребятам выделили особое многоотраслевое сельское хозяйство с подсобными мастерскими. Школьники сами управляли этим хозяйст-

вом. Разумеется, под руководством учителей (их было уже трое), родителей и агрономов.

Так как хозяйства коммуны и ШКМ являлись опытно-показательными, то сюда непрерывно наплывали экскурсии даже из отдаленных районов, краев и республик. Посетили нас и иностранные слушатели Высшей партийной школы при ЦК партии.

Многие мои ученики работали на тракторах и прочих сложных машинах, разбирали, собирали, ремонтировали их, еще не зная тех физических законов, на основе которых построены эти машины. Действие всех их частей ребятам толково объяснял Егор Сергеевич Блинов.

Я находил важным прежде всего то, чтобы школьники всегда трудились на производстве, воспитывались в духе любви к труду, понимали его великое и первостепенное значение в общечеловеческой культуре; ценили и уважали творцов науки и техники, облегчающих тяготы жизни.

Впоследствии пришлось мне пережить много реорганизаций школьного образования. Пожалуй, даже слишком много. Ликвидированы были в свою пору и ШКМ. Спору нет, объем знаний с годами рос, методики совершенствовались, но вот трудовое воспитание порою уходило на второй план. Замечу, что семья тут охотно «помогала» школе. Любвеобильные мамы и папы всеми силами старались уберечь своих чад от любой работы. Не только в городе, но и в деревне, что уже вовсе противоестественно. Делалось это из самых добрых побуждений, а хорошего-то выходило мало.

Глянем на современную общеобразовательную школу... Уж более трех десятков лет я читаю в общей и педагогической печати и слышу на учительских и родительских собраниях и в семьях – неумолчные жалобы на скверную дисциплину учащихся, на их грубость и бескультурье вне школы. В каждой школе есть длинная шеренга воспитателей. Ребятам воспитывают учителя, классные руководители, пионерские, комсомольские, партийные организации, директора, завучи, педагогические советы, родительские комитеты, дежурные родители и ученические посты, даже сторожа и уборщицы. Но?.. Результаты плачевные!

Я отнюдь не песнопевец дореволюционной школы, но, говоря по совести, не видел в ней такого громоздкого воспитывающего аппарата, какой существует в нынешней советской школе, а дисциплина учащихся была примерная!

В последние годы наша общеобразовательная школа ищет пути возвращения к тому, что было неплохо начато в далеком прошлом...

Как мы медленно умнеем, исправляем свои роковые ошибки и сколь дорого они обходятся нам! Задержать прогресс школы на четверть века в нашу «ракетную» эпоху – это грандиозная социальная трагедия!

Думая об этом, я снова и снова укреплялся в мысли: народная педагогика в основе своей справедлива, мудра. Не зря сказано, что праздность – мать всех пороков. Только в труде дети получают здоровое нравственное воспитание, становятся порядочными, скромными, послушными, сильными, честными, чистыми. Такими и росли они в «Майском утре», и я за долгие годы не упомяну случая не только хулиганства, но и простого озорства на уроках. Не подумайте только, что ребята были «затюканы» школьной дисциплиной. Вот уж нет! Это был живой, предприимчивый, задорный народ.

До сего дня я с волнением и любовью вспоминаю своих тогдашних учеников. Акима, Тосю и Ваню Бочаровых, Мишу и Олю Стекачевых, Васю Корлякова, Марину и Георгия Концевых, Клаву и Ваню Блиновых, Ваню и Настю Зубковых, Мотю, Нюру и Анисью Сошиных, Нину и Марину Зайцевых, Сашу и Андрюшу Шульгиных, Настю Железникову, Колю Карих и Мотю Носовых, Васю и Степу Титовых и многих других. Были они постоянно заняты, помимо учебы и работы участвовали во всех коммунарских вечерах, выпускали стенгазеты, готовили лекции и доклады, ставили спектакли и все это – ненатужно, азартно, весело.

Степан Титов стал моим преемником, учителем того же села. Он и трактор очень рано научился водить, и вышел в шоферы первого класса, и занялся всерьез садоводством. Но несмотря на это, а вернее говоря, благодаря этому был у меня из первых учеников. Он много читал, особенно любил поэзию, не расставался с Пушкиным, и может быть есть доля моей «вины» в том, что сына своего он назвал

впоследствии Германом, а дочь – Земфирой. Пушкинские имена!

Степан и сам сочинял стихи, играл на сцене, писал картины акварелью и маслом, занимался лепкой, по-настоящему увлекся музыкой. Помню, как мы уходили с ним в лес разучивать скрипичные дуэты. Он стал солистом в школьном оркестре, а в мое отсутствие и дирижировал. Найдя в нем талант, я настоял, чтобы Степу послали учиться. И прямо из наших сибирских дебрей он был принят на «музрэфак» – подготовительное отделение Московской консерватории.

К сожалению, болезнь помешала ему получить законченное высшее музыкальное образование, но песни, сочиненные С.П. Титовым, звучали позже по Всесоюзному радио, и нежнейшая его «Алтайская лирическая» запала мне в душу.

В Москве («Советская Россия») и в Барнауле издана его автобиографическая повесть «Два детства». Глубине мысли, тонкости мироощущения и словесной живописи в этом произведении может позавидовать и маститый писатель...

Ученые-криминалисты уверяют, что наименьшее количество уголовных преступлений совершают люди из мира искусств. Мне кажется, что этот факт – могучий аргумент за то, что искусства воспитывают человека не только эстетически, но и этически. И это вполне понятно. Творцы искусства пребывают во власти возвышенных, благородных, гуманных мыслей и чувств, которые становятся их второй природой.

Величайшее значение я придавал всемерному внедрению элементов искусств среди юношества. Школа без искусств – мертвый дом. Конечно, не все дети одарены в равной мере, но никто не поколеблет моей уверенности в том, что все они способны воспринимать творения искусства, а в благоприятных условиях и участвовать в художественном творчестве. Убежден, что это воспитывает их не только эстетически, но и этически.

Я не признаю нередко практикуемых ныне выставок, на которых представлены только **лучшие** ученические работы. Они создают однобокое представление о школах, прикрывают изъяны в воспитательной работе, а главное,

отторгают от нее большую часть детей. Что-то в этом роде замечаю и в детском спорте. Среди сотен школьников повсюду можно найти два-три десятка наиболее «перспективных» и уделять им особое внимание, забросив всех остальных. Но можно ли признать это справедливым, полезным, правильным?

Дважды в год в коммуне «Майское утро» устраивался общественный смотр **всех** ученических работ. Участвовать должны были все школьники – таков был принцип. Родители видели успехи своих детей, приучались внимательнее относиться к их учебе, подтягивались и сами ребята. Но пожалуй, самое интересное заключалось в том, что учеников, лишенных всяких дарований, в коммуне не было. Я лично бесталанных детей не помню. Одни ярче, другие поскромнее, но в чем-то каждый мог проявить себя.

Мои ученики рисовали, лепили, вышивали, строили модели, делали аппликации, устраивали конкурсы на лучшего чтеца, декламировали, писали рассказы и стихи, пели по нотам, играли на различных музыкальных инструментах. Без хора, оркестра, театра «майских» школьников не проходило ни одно торжество в селе Верх-Жилино и в Косихе. А однажды струнный оркестр нашей школы, как лучший в Сибири, был приглашен в Новосибирск на съезд колхозников. И ребята выступали в концертах рядом с настоящими оркестрами.

Вели они и большую краеведческую работу. Год за годом отправлялись в походы по району, собирали экспонаты, отражавшие природу, историю, культуру, быт сибирской деревни. Записывали сотни образцов словесного и музыкального фольклора. По просьбе областного начальства наш школьный музей был переведен в райцентр как показательный. Потом экспонаты коммуны представляли Барнаульский округ на Всесоюзной выставке. Их возили в Москву мои ученицы Полина Сусликова и Дуся Борисова.

Рисование, живопись, лепка стали одно время повальным увлечением. В 1929 году попал в наши края скульптор Степан Романович Надольский, автор знаменитого памятника «Героям 1812 года», украсившего Кутузовский сквер в Смоленске. Мы познакомились, сдружались, я пригласил его к себе, и он несколько месяцев гостил в коммуне, учил

детей скульптурному мастерству. Сознаюсь, я и сам охотно лепил в классе вместе с учениками. Это подзадоривало их. Глиняные скульптурки обжигали для прочности в русских печах. Долго они украшали и школьные классы, и дома коммунаров.

Да, не хлебом единым жив человек! Почти все сказанное выше касалось не только детей коммунаров. Вся массовая культурно-просветительная работа в «Майском утре» велась ежедневно и по планам. Регулярность и систематичность ее обуславливались всем укладом жизни и труда коммуны. Оканчивались дневные хозяйственные работы, люди ужинали и затем шли на разные просветительные занятия, которых было немало: ликбез, школа повышенной грамоты, те или иные очередные внутренние и межколхозные курсы. Это была учеба, так сказать, «по деловым потребностям».

А потом все собирались вместе, прослушивали текущую политинформацию, какой-нибудь научно-популярный доклад, читку художественной литературы, декламацию, оркестр и хор школьников. Общие вечера зачастую заключались танцами и плясками под оркестр... Что и говорить, – жилось весело!

Конечно, не всякий вечер выполнялась такая программа. Бывали вечера победнее, бывали и побогаче. Раз на раз не выходил...

Бурно развивалась экономическая и культурная жизнь в Сибири по очищению ее от колчаковщины. Всех охватило небывалое горение. Накопленная веками и пребывавшая в оковах самодержавия духовная сила народа – вырвалась вулканом.

И во всех деревнях закипела творческая работа: самодеятельные театры, хоры, духовые оркестры, стенгазеты. Появились и «самосочинители» пьес и стихов.

Люди недоедали, голодали, ходили в отрепьях, но всей душой рвались к культуре. Это кипение жизни полно отражалось в стенгазетах.

В нашей коммуне они выходили часто и широченными многоколонными полотнищами со статьями, рассказами, стихами, фельетонами и прочими интересными рубриками. Самодеятельные художники любовно и красочно

оформляли их. На районных выставках наши стенгазеты получали первые премии и оставлялись в Народном доме как образцы для подражания.

В начале 30-х годов в ШКМ работали уже четыре педагога. Один из них, Г.И.Скворцов, отлично рисовал. Помимо стенной газеты, мы с ним организовали сатирическую световую газету. Тексты для нее писали все, кто хотел, а мы со Скворцовым придумывали рисунки и делали их на стеклянных пластинках. При помощи волшебного фонаря показывали световую газету и в поселке, и на полевых станах. Она имела большой успех. Лучшие наши стенгазеты побывали на выставке и в Москве, откуда так и не вернулись.

Лет пять кряду воз лекций и бесед в коммуне тащил один я. А дальше – в него впряглись и хорошо грамотные члены ее.

Приезжавшие к нам из центра политработники, специалисты сельского хозяйства, экономисты, биологи, врачи-окулисты (бригада из Томского университета), этнографы, журналисты, писатели и художники непременно проводили лекции и беседы. Писатели и поэты читали свои произведения.

А упомянутый раньше скульптор Степан Романович Надольский, живший у меня продолжительное время, не только рисовал и лепил знатных коммунаров по заданию краевых организаций, не только учил лепке школьников, но и читал общедоступные лекции об искусстве...

Любили коммунары и литературные суды. Судили: Никиту из «Власти тьмы» Л.Н. Толстого, Кабаниху из «Грозы» А.Н. Островского, унтера Пришибеева из одноименного рассказа А.П. Чехова и др.

На литературных судах, кроме подсудимых, свидетелей, судей, прокуроров и адвокатов, выступали все желавшие того из публики.

Если судьи не приходили к единому мнению о приговоре, его выносило общее собрание большинством голосов...

Хотя сибирские крестьяне и славились чистотой и опрятностью, однако в коммуне понадобилась борьба за элементарную бытовую культуру. Прежде всего – я прочел не один десяток лекций о социальной и личной санитарии

и гигиене. На собраниях вдумчиво обсуждали составленные культкомиссией правила о санитарном содержании жилищ, бань, уборных, скотных дворов, амбаров, кладовых, погребов, подполий, рабочих помещений, речки, пруда, плотины...

Вместе с членами комиссии и в одиночку я часто ходил по избам и указывал на беспорядки в них. Все стены хат были выбелены, а полы, рамы в окнах, столы и табуретки – выкрашены масляной краской; старые деревянные кровати заменены железными или никелированными. Тараканов и клопов выморозили. В хлебных амбарах, погребах, подпольях и кладовых произвели дезинфекцию.

Категорически запретили спать на кроватях по двое, по трое. Закупили мануфактуры на наволочки, простыни, личные полотенца для каждого члена коммуны. Сдали в музей: общие «хлебальные» черепашки и блюда, деревянные ложки и половники. Всех коммунаров снабдили тарелками, столовыми ножами, вилками, алюминиевыми ложками и такими же чайными ложечками.

Уборные отнесли в подходящие места, выбелили, а дорожки к ним посыпали желтым песочком.

Учил я школьников и взрослых, как надо вести себя в уборных. Смешно? Но культурный человек узнается и по поведению в туалете.

На собраниях коммунаров всегда слышалась критика невзирая на лица. Критиковали и тех женщин, которые не соблюдали в избах чистоту и порядок. Это верно и быстро исправляло их. А «чистоток» премировали ботинками, платьями, шальями и т.п. вещами.

В Верх-Жилинском до революции была сильно распространена трахома. В коммуне ее искоренял фельдшер И.В. Дудко. Прижигание век синим (купоросным) карандашом – довольно неприятная операция. Многие больные боялись ее. А заскорузлый старик Филимон Блинов в день прижигания убежал в глушь леса и отсиживался там пока фельдшер не уезжал из коммуны. Но под угрозой исключения из коммуны – его все же заставили вылечиться.

Разруха, причиненная войнами и колчаковщиной, привела к тому, что по народу пошли и разные болезни, укоренилась чесотка. Косихинская больница не имела лекарств.

Иван Алексеевич Носов и моя жена, руководствуясь лечебником доктора Рахманова, сами варили в котле противочесоточную мазь из смеси сала, серы и дегтя. Мазали ею больных. В общую баню чесоточных не пускали: они мылись в особых банях, пока не выздоравливали. Так победили массовую кожную болезнь...

Перед вступлением в брак молодые коммунары проходили медосмотр. Если коммунарка выходила замуж за единоличника, то и ему предъявлялось требование пройти медосмотр.

Решительно боролись с распутством. Один из новых членов коммуны страдал склонностью к многоженству. На общем собрании его «пропесочили» и предложили:

– Или живи с одной женой, или вылетай из коммуны вон!

Живо обуздали мужика, остепенился!..

Некоторые женщины в селах, желая избавиться от лишних детей, делали у знахарок аборт, тяжело заболели или умирали. Коммунарки регулировали рождаемость детей по-культурному, пользуясь предупреждением беременности по методу томского профессора Грамматикати. Этот метод практиковал в «Майском утре» врач Б.П. Боржек.

Моя жена научила коммунарок шить на машинке, вышивать по художественным рисункам, делать аппликации, выращивать цветы в комнатах и палисадниках, готовить вкусные блюда и кондитерские изделия, правильно ухаживать за новорожденными. Советы по уходу за грудными детьми она давала матерям по сборнику статей «Золотая книжка» и по классическому труду доктора Жука «Мать и дитя». В середине 20-х годов в коммуне открылись детские ясли и садик.

Грешный человек, я не особо жаловал частушки «про миленка», старался воспитывать вкусы на поэтичных народных песнях, на произведениях музыкальной классики, отечественной и зарубежной. Вы, пожалуй, усомнитесь: «Как? Классика в сибирской глухой деревне полвека назад!». Но это было, это доподлинно так. Конечно, сложных пьес юные певцы и оркестранты не исполняли, я отбирал для них классику малых форм. Давались нам и оперные

хоры, дуэты, трио, но в облегченной редакции. Их мы во множестве находили в хрестоматийных сборниках Городцова, Карасева, Дзбановского и других ревнителей музыкального просвещения народа.

Программа детского хора и большого хора коммуны (собрал я и взрослых любителей пения) была, как вижу теперь, довольно обширная. Исполняли народные и ставшие народными песни: «Липа вековая», «Из-за леса темного», «Не белы-то снега», «Вдоль по Питерской», «Ноченька», «Парус», «Меж крутых бережков», «Вечор поздно ...» и т.д. Пели песни революционные: «Мы кузнецы», «Интернационал», «Варшавянку», «Вы жертвами пали», «Марсельезу», «Дубинушку», «Смело мы в бой пойдем» и другие.

Оркестр начинал с кадрилией, полек, казачка, гопака, не миновал камаринской, барыни, яблочка, добрался до мелодичных старинных вальсов, до мазурки Венявского. Но постепенно я вводил в репертуар наших певцов и музыкантов романсы и арии Глинки, Чайковского, Гурилева, Серова, Направника, Верстовского, Бородина, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Танеева, Мусоргского, Бетховена, Моцарта, Шумана, Массне, Гуно, Мендельсона, Беллини, Шуберта, Брамса, Вагнера – всего мне и не вспомнить.

Если читатель все же не верит мне, могу сослаться на один любопытный сохранившийся у меня документ. Прибыли в коммуну два инспектора окружного колхозсоюза, посетили и наш концерт, а после написали докладную: *«Чтением, тоскливыми скрипичными мелодиями Чайковского и Римского-Корсакова учитель Топоров расслабляет революционную волю трудящихся и отвлекает их от текущих политических задач...».*

Да, встречались на моем пути и дураки. Вот еще один случай...

Сельскую библиотеку, спасенную от раскура во время прихода партизан в Верх-Жилинское, я объединил с коммунаровской. Но и в коммуне мне пришлось спасти ее.

Вскоре по ликвидации колчаковщины инструктором Косихинского райисполкома работал некий Нахлупин, портной из села Каркавина. Он прибыл туда из какого-то города, ходил в «сознательных». Явился он ко мне в школу, показал свой мандат:

– Я уполномочен чистить библиотеки в районе... Показывай, что тут у тебя есть...

Нахлупин знал меня раньше и потому обращался ко мне на «ты». Я распахнул дверцы библиотечного шкапа. Ревизор брал с полок книги и читал фамилии и первые строки биографий авторов. Попал под его метлу и Лев Николаевич Толстой – с белыми обложками, усеянными крапинками. Вы помните, что в дореволюционных изданиях на титульных листах его книг печатали: «СОЧИНЕНИЯ ГРАФА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО».

Увидев слово «ГРАФА», Нахлупин бросил на меня такой взгляд, будто поймал вора на месте преступления.

– А это что?! – ткнул он пальцем в это слово. – Нам эти графья шею переели!.. В печку!

И он схватывал с полки шкапа белые книжки и шваркал их на пол.

– А это – кто?.. Тур – ге – нев... Дворянское гнездо. Ага! Значит, про помещиков... В печку!!

– Посмотрим, кто это... Виктор Гюго. Так... Он – чей?

– Великий французский писатель.

– Собор Парижской богородицы... Здорово! Нам и свои божьи матери глаза заслепили, а тут еще и парижскую сунули в советскую библиотеку... В печку!

Рядом с Толстым и Тургеневым лег на пол и Гюго.

– А этот бурдастый какого социального класса? – спросил меня Нахлупин, указывая на портрет И.А. Гончарова в романе «Обломов».

– Наполовину дворянского, наполовину купеческого.

– Не будет он за нас тянуть ... По обличью видать... В печку!

– Мэ... Горький... Мещане. Знаю я этих сквалыг – мещан. Все равно, что буржуи... В печку!

– Что вы?! Что вы делаете?! – вскрикнул я.

– А что?

– Горький же лучший пролетарский писатель!..

– А какого он социального класса?

– Бедняк. Скиталец. У купцов лямку тянул...

– Ну, этого можно оставить пока. А там видно будет. Мамин-Сибиряк. (Читает биографию). У! Сын долгогривого! И этот затесался в библиотеку... В печку!

Вытаскивая из шкапа прелестные книжечки в золотистых обложках, на которых разбросаны цветочки, Нахлупин заулыбался:

– Бунин... Этот, похоже, мужик. Овес на крышках... (Читает начало биографии). Обман!! Вот те фунт! Да он же барин воронежский!! Овсом прикрылся!.. В печку!

На пол легли почти все классики из нашей библиотеки. Оглянув кучу обреченных книг, Нахлупин строго приказал мне:

– Завтра же сжечь это затуманивание наших мозгов!

– Хорошо, сожгу, – ответил я, понимая, что спорить с облеченным властью невеждой бесполезно.

На следующий день рано утром я умчался в Барнаул с жалобой в АПО (агитационно-пропагандистский отдел губкома), которым заведовал образованнейший Александр Васильевич Козырев, позже профессор педагогики и директор пединститут в Перми и Ленинграде. Он, возмущившись самодурством Нахлупина, доложил о нем секретарю губкома. И ретивого «чистильщика» библиотек немедленно «вычистили» из райисполкома...

В «Майском утре» на протяжении многих лет действовали два театра – взрослый и детский. Новые постановки давались почти каждый выходной, гастролировали мы и по клубам всего района. Конечно, далеки были от совершенства наши актеры, художники, костюмеры, бутафоры, и режиссер я был в полном смысле слова доморощенный. Но зрители всегда заполняли залы, и я видел сочувствие их, когда страдали герои на сцене, слышал взрывы хохота, когда плуты, ханжи, развратники, тунеядцы, самодуры попадали в нелепые положения и получали по заслугам. На каждом спектакле я убеждался, что наш немудрящий театр учит, воспитывает, возвышает души крестьян. И тех, кто в зале, и тех, кто на сцене.

С детьми мы ставили сказки, небольшие отрывки, инсценировали рассказы. Такие, скажем, как «Бежин луг» Тургенева, «Мальчишки» Чехова, «Гаврош» Гюго. Французского «гамена» представлял Андрюша Гладков, играл естественно, искренне. Он сам был беспризорник, мать и отца убили в гражданскую, коммуна приютила парнишку. После ему выпала роль в одной современной агитке – сироты, безот-

цовщины, – и он плакал на сцене настоящими слезами, да и весь зал плакал, особенно бабы. А что за пьеса – забыл, все-таки полвека минуло.

В репертуаре взрослого театра тоже были агитки, любили коммунары сцены Горбунова из народного быта, сказку «Иванушкино счастье» Кравцова, мелодраму «Золотое сердце Ляликова». Но потом мы замахнулись и на большее. «Ревизор» и «Женитьбу» Гоголя поставили полностью. «Борис Годунов» Пушкина в отрывках. Островский был представлен широко: «Гроза», «Бедность не порок», «Свои люди – сочтемся», «Лес» и т.д. Чехова начинали с «Юбилея», «Медведя», а дошли до таких непростых пьес, как «Иванов» и «Дядя Ваня». Запомнились мне «Власть тьмы» Толстого, «Горькая судьбина» Писемского, а из современных – «Шторм» Билль-Белоцерковского, «Разлом» Лавренева, «Страх» Афиногенова, «Любовь Яровая» Тренева.

С опаской я подходил к иностранной классике. Выходил перед спектаклями на авансцену, объяснял заранее суть пьесы, давал характеристику персонажей. С успехом шли у нас по всему району «Мнимый больной» и «Пурсоньяк» Мольера. Парики сладил из пеньки один наш умелец, костюмы шили женщины коммуны. Рисунки я им нашел в энциклопедическом словаре «Гранат», а уж как скроить камзолы и жабо, они сообразили сами. И все прекрасно было зрителям понятно.

Появились у коммунаров и любимые артисты. Хорошей Ларисой в «Бесприданнице» Островского была моя ученица Настя Носова. До сих пор помню и Мишу Крюкова в роли Паратова. Красивый был парень – гибкий, сам эмоционален, тонок. Он же играл Хлестакова, Счастливецва... Погиб в боях Великой Отечественной войны... Мне говорили, что его сын Толя Крюков ныне – Герой Социалистического Труда.

Несчастливцева в «Лесе» играл председатель коммуны Иван Алексеевич Носов, человек кряжистый, яркий, во всем талантливый. Веселым Швандей в «Любови Яровой» был наш землепашец Сергей Прокопьевич Лихачев, хотя в жизни был болезненный, нервный человек. А Сатин в «На дне» – свиновод Филипп Бочаров, тот оставался на сцене самим собой. Безбожник, партиец, яростный враг кулаков,

до грубости прямолинейный, он по натуре подходил к этой роли. С постановкой пьесы Горького связано одно трагикомическое происшествие.

В тот момент, когда Бочаров произносил знаменитый монолог о Человеке, в зал влетел наш ночной сторож и заорал: «Воры! Грабят!». И все зрители вместе с артистами ринулись за ним на хозяйственный двор, где стояли сани гостей, приехавших в театр из соседних деревень. Действительно, в иных пошевнях и кошевках сыскались под соломой коммунарские мешки с пшеницей, хомуты, дуги, косы, ведра. Что тут началось! Все персонажи горьковского «дна», в лохматых париках, в тряпье, в гриме взялись колотить расхитителей.

Еще запомнился мне в этом спектакле (мы его повторяли не раз) наш овчар Алексей Зайцев в роли Барона. Он картавил «под Качалова», сам это откуда-то взял, я не подсказывал. Был из фронтовиков, мужик начитанный, тертый. Притом личность кристальной чистоты, романтик. Пел прекрасно. Умел подметить характерное в людях, пробовал писать рассказы «из жизни». Он же помог мне инсценировать «Мертвые души» и сам играл Чичикова. А потом простыл Зайцев, занемог перед очередной премьерой, и с этим связана еще одна незабываемая страница в истории нашего театра.

Готовили мы тогда комедию Фонвизина «Недоросль»; костюмы были сшиты, декорации написаны, афиши уже висели по всей округе. И вот спектаклю грозил срыв. Зайцев должен был играть учителя-немца Вральмана, заменить его никто не мог. Я бы, пожалуй, смог, но мое место было в суфлерской будке. Уйди я оттуда, актеры наши все бы перезабыли. И тут выручил нас один приезжий, который уже несколько дней жил в селе, присматривался к делам коммуны. Это был корреспондент «Правды» Борис Горбатов.

– Знаете что, Адриан Митрофанович. – сказал он мне, – давайте-ка я попробую сыграть роль Вральмана.

– А осилите?

– Буду стараться.

Тут же мы сели с ним за печатную машинку. Он диктовал текст роли, я печатал. Потом чуть ли не всю ночь напролет я режиссировал, а он репетировал. Удивил меня тем, что

за четыре прохода знал уже всю роль наизусть. Сообща мы придумывали мизансцены, жесты, мимику, интонации реплик. И я увидел, что он человек театру не чуждый. Спросил:

– Откуда у вас, Борис Леонтьевич, такое знание сцены? Уж не из студии ли Станиславского?

Он добродушно улыбнулся:

– В студии не был, но в актерском мире потерся.

Много позже я узнал, что отец его был театральным парикмахер, и Горбатов еще малышом выходил на подмостки, писал затем пьесы для школьных спектаклей, любил гримировать участников. И у нас не только сам преобразился в уморительного Вральмана, но помог найти характерный грим и для своих партнеров. Когда на сцене он говорил с ними, коверкая русскую речь, но искусно делая ее понятной зрителю, в зале стоял непрерывный хохот. Артисты наши тоже давились от смеха и едва произносили свои реплики, особенно в конце третьего действия, в сцене расправы Кутейкина и Цыфиркина с ненавистным им учителем-немцем.

После спектакля коммунары обступили гостя и горячо благодарили. Простодушная Анна Прохоровна Бочарова воскликнула: «Сынок, дай я тебя поцелую!». И под дружные аплодисменты чмокнула его в щеку. Писатель нас не забыл: написал в «Правде» большой очерк о жизни «Майского утра». Мы его тоже не забыли: обсуждали коллективно «Ячейку» Б.Л. Горбатова... Но это уже другой рассказ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

В Бродчанской церковноприходской школе я научился читать бегло и довольно выразительно. И с того времени началась моя чтецкая работа. Первыми моими слушателями были стойленские девки и молодые бабы, приходившие зимою в нашу хату на посиделки с разным «тихим» рукоделем: с вышивкой по канве, вязаньем на спицах. С ними рядом, на конике, усаживались дядя Степан и брат Дмитрий, плетя лапти или чуни.

Со середины потолка спускалась семилинейная керо-синовая лампочка под жестяным абажуром. Я, сидя на русской печи, громко читал книжки в лубочных изданиях И.Д. Сытина. Они стоили копейки. Покупал их дядя Степан на базаре в Старом Осколе. Тут были: «Бова-Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Как солдат спас жизнь Петра Великого», «Шут Балакирев» и др.

А за этими книжками шли в моей «аудитории» басни Крылова, сказки Пушкина, «Песня про царя Ивана Васильевича и удалого купца Калашникова» Лермонтова. Я находил их в учебниках и школьной библиотечке...

И уже в ту пору меня интересовали простодушные, но любопытные толки слушателей о прочитанном.

В двух верстах от Стойла лежит деревня Песчанка. В начале девятисотых годов в ее начальной земской школе учительствовал Василий Васильевич Баркалов. Он водился с помещиками Калмыковыми. Через них приобрел волшебный фонарь и в зимние вечера показывал в школе «туманные картины»: «Сказку о золотой рыбке», «Сказку о попе и его работнике Балде» Пушкина. Тексты читал сам Баркалов. На эти «туманные картинки» народ валом валил со всего Бродчанского прихода: из Стойла, Бродка, Пущинки, Букревки, Песчанки и Сокового. Восхищению и разговорам о «туманных картинках» не было конца! Я дивился неутолимой любви деревенского люда к поэтическим вымыслам.

В молодости, работая учителем в селах, я каждый день читал художественные произведения: школьникам в классе, а взрослым – на сборне или в хатах. Еще в те годы мне гребтелось (по-курски: сильно хотелось. – А.Т.) записывать дословно суждения крестьян о книгах, выраженные живым, ядреным самоцветным языком...

К 1923 году во всей коммуне «Майское утро» не знала грамоты только полуслепая, дряхлая бабка Сошиха. Так и ушла на тот свет с неликвидированной неграмотностью. Мой грех! Все прочие престарелые коммунары и коммунарки научились читать, писать, расписываться, составлять рационы скоту, записывать удои, подсчитывать заработки. О молодежи я уже не говорю. Книги из библиотеки постоянно были в ходу, о прочитанном спорили, и отзывы бывали до удивления метки.

Помня просьбу крестьян «веселить» их, я и сам устраивал громкие чтения. Смешно вспомнить, как в 1930 году один из моих зоилов (обиженный тем, что коммунарам не понравились его рассказы) писал в журнале, что «Топоров читает, как артист» и потому-де может по корыстному расчету бездарную вещь вывезти, а талантливую утопить.

Никаким мастером художественного слова я, понятно, не был, но скажу без ложной скромности, что слушателей хватало, с читок моих они не убегали, и продолжалось это не месяц и не зиму, а двенадцать лет.

Вечерами приходили в школу мужики, бабы, подростки, старики. Матери приносили младенцев, укладывали спать на овчинах. Керосиновая лампа выхватывала лишь первые ряды, за окнами была тьма-тьмущая, валил снег, выли ветры, а люди слушали – до полной устали чтеца. Большие вещи шли у нас «продолжениями» много вечеров подряд. (Вроде нынешних телевизионных сериалов). Самые нетерпеливые спрашивали, что дальше будет. Потом смаковали прочитанное, и все чаще подмывало меня записывать отзывы крестьян – простодушные, любопытные, выраженные самоцветным языком.

Но обуревали сомнения: а ну-ка кто-то и где-то уже давно и превосходно сделал это? К чему же мне после скобеля тяпать топором? Я отмахивался от соблазнительной мысли, но она нет-нет да возвращалась ко мне. Наконец решился, и, как ни странно, опыт крестьянской критики художественной литературы, начатый в сибирской глухомани в 20-х годах, оказался первым в СССР. Да, по существу, и единственным...

Здесь, пожалуй, не место говорить о нем слишком подробно. Я шел по целине и, конечно, ошибался, спотыкался, расшибал себе нос, но продолжал свой путь. Литературоведы, критики помочь мне не могли, да и не знали долго о моей затее. А когда узнали, то далеко не все ее одобрили. Иные встретили работу в штыки. Но я – на беду ли на свою или к счастью – оказался упрям.

Исходил из того, что время, когда «писатель пописывал, читатель почитывал», ушло безвозвратно. Впервые в истории богатства литературы открылись миллионам людей, так пусть же скажут, верно или фальшиво рисуют их в кни-

гах. Никогда я не утверждал, что мнение крестьян единственно верно. Не писал, что оно для писателей и критиков обязательно. Но полагал, что знать, учитывать это мнение полезно.

Библиотечно-анкетным оценкам доверял я не очень. Видел эти листки, заполненные больше для проформы, суконным языком. Видел и висящие в библиотеках красивые стенгазеты с отзывами абонентов о книгах. Как правило, это были трафаретные отписки. Никто их, по-моему, не изучает, да и правильно: что из них выжмешь? Встречи писателей с читателями – вещь, безусловно, полезная, но редко звучит на них критическое слово. В глаза авторам говорят обычно одни комплименты, тем скучно слушать, но как люди благовоспитанные, они благодарят и кланяются. Устроители ставят галочки в отчетах...

– Говорите, что подумается, – просил я коммунаров с самого начала. – Только чтобы по совести.

– Мы не ученые, – сомневались многие. – Не нам судить о книгах. Над нашими словами будут смеяться.

– Всякий человек думает по-своему, – отвечал я. – Ученые пусть думают по-ученому, а мы будем по-простому. Им тоже интересно узнать, что вы думаете о литературе. Какие книги вам по душе, а какие нет. И почему.

Договор у нас был открытый, простой. Я объяснил им свой замысел, они согласились со мной. Ни я от них, ни они от меня в зависимости не находились. Авторам, по большей части, в глаза не видали. Я взял за правило заранее не знакомить крестьян с критическими отзывами в печати, что одних могло искушить на шествие за «тетушкиным хвостом», а в других поддразнить беса противоречия. Даже с биографиями писателей знакомил аудиторию лишь в конце обсуждения. Потому что подметил, и это влияло на объективность оценок: если жизнь автора была «жалостная», то критика бывала мягче.

Конечно, не могу сказать, что сам был вполне беспристрастен. Одни произведения больше нравились мне, другие меньше. Но позиция слушателей далеко не всегда совпадала с моей, и переубедить их бывало трудно. Да я и не стремился. Что они говорили, то я и записывал, стараясь быть максимально точным. Постепенно наловчился стро-

чить почти со стенографической быстротой и радовался, что мой карандаш успевает ловить их слова и словечки.

Авторитетов мой критики не признавали. Читал им самого Л.Н. Толстого: «Плоды просвещения» вызвали у них восторг, «Хозяин и работник» – недоверие и протест. Рассказ Вс. Иванова «Бог Матвей» получил самую высокую оценку, а его же «Партизан» не приняли. За «Растратчиков» В. Катаева хвалили, а за «Бездельника Эдуарда» крепко ругали.

Я убежден был, что А. Фет у крестьян «не пройдет». Выбрал знаменитое «Шепот. Робкое дыхание...». Знал наперед, как это все далеко от трудной жизни баб и стариков, от «грубых» их сердец. И просчитался: А. Фет их заморозил:

– Тут все человеческое!

– И луна, и соловей, ну все при ночи. Ровно у нас в мае месяце, вон там за баней, над рекой...

– Речка-то! Ишь, серебрится... Живая картиночка.

– Ноне так уж не пишут стихов!

Назойливую тенденцию, хотя бы и ультрасоветскую, но облеченную в слабую художественную форму, мои слушатели отметали. И хотя случалось мне спорить с ними, вижу теперь их вкус и правоту: испытания временем эти вещи не выдержали.

Читаю им, бывало, стихи-агитки, а после выйдет из-за парты какой-нибудь бородач и пробасит:

– Нет, паря, не тот товар! Вон у Пушкина-то: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя...» Слова-то, вот они! Скоблит тя по коже. И все как есть правдашное!

Слышал я разговоры, что-де крестьяне любят дешевый юмор. Неправда. Я преподносил им юмористическую вермишель из тогдашних журналов «Лапти» и «Смехач» – успеха ни снискал. А то и прерывали меня:

– Брось это мелево!

– Не лезет смех!

– Давай, Митрофаныч, дельное!

И чтобы посмешить публику, я обращался к Чехову, Лескову, Гоголю.

Совершенно ошибочным оказалось утверждение, будто крестьяне могут понять и принять лишь те произведе-

ния, содержание которых взято из деревенской жизни. Нет! Им одинаково любы «Воскресение» Толстого и «Орлеанская дева» Шиллера, «Вешние воды» Тургенева и «Оливер Твист» Диккенса, «Жорж Данден» Мольера и «Чайка» Чехова, «Тарас Бульба» Гоголя, «Дубровский» Пушкина, «Человек, который смеется» Гюго, «Робинзон Крузо» Дефо, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Братья Карамазовы» Достоевского, «Дело Артамоновых» Горького, «Суходол» Бунина, «Поединок» Куприна, «Приведения» Ибсена, «Дон Кихот» Сервантеса, «Фауст» Гете...

Перечислять я мог бы до бесконечности, а суть в том, что все безусловно лучшее и общепризнанное в классике крестьяне и почитали за лучшее. В этом за двенадцать лет я убедился вполне.

Из советских книг, прочитанных в «Майском утре», будоражили умы «Ташкент – город хлебный» Неверова, «Два мира» Зазубрина, «В разлом» Ляшко, «По этапу» Подъячева, «Неделя» Лебединского, «Двенадцать» Блока, «Песнь о великом походе» Есенина, «Правонарушители» Сейфуллиной, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, «Ухабы» Новикова-Прибоя, «Конармия» Бабеля, «Железный поток» Серафимовича... Список и тут я мог бы продолжить, хотя надо учесть, что далеко не все новинки доходили тогда в нашу сибирскую глухомань.

Как бы то ни было, читки и обсуждения вошли у нас в обычай, они продолжались из года в год, я вел свои записи и, сознавая, что опыт мой не свободен от ошибок и просчетов, думал: делаю, что умею, а кто может, пусть сделает лучше...

Небезынтересно также воспроизвести историю публикации моего начинания. Она вскроет некоторые характерные черты литературной обстановки двадцатых годов, а также покажет, во что обошлось мне дерзание выявлять низовую массовую оценку художественных произведений.

На сельковорском и журналистском поприще я близко сошелся с начинавшим в те годы, а ныне выдающимся сибирским писателем Афанасием Лазаревичем Коптеловым и открылся ему о моей «затее». Он ухватился за нее. Попросил прислать несколько отзывов в редакцию газеты «Звезда Алтая» (г. Бийск), где он работал секретарем. В ряде номеров этой газеты в мае–июле 1927 года и выле-

тели в свет первые ласточки моего труда «Крестьяне о писателях». Так что я с чувством глубочайшей признательности называю Афанасия Лазаревича Коптелова «крестным отцом» моего опыта крестьянской критики художественной литературы.

Моими записями, напечатанными в «Звезде Алтая», заинтересовался писатель Владимир Яковлевич Зазубрин. На редакционном бланке «Сибирских огней» он 7 июня 1927 года написал мне:

«УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. ТОПОРОВ!

*Вы затеяли очень хорошее дело. Я задержал Вам от-
вет – искал свою книгу «Два мира» для Вас. Но, к сожалению,
не смог ее достать. В «Звезде Алтая» читал отрывки из
Вашей работы. Это очень интересный почин. Пришлите
нам для «Сибирских огней» статью с отзывами крестьян
о современных и, главным образом, сибирских писателях.
Потом, вероятно, Сибкрайиздат издаст Вашу работу от-
дельной книгой. Шлите, будем рады.*

С коммунистическим приветом В. ЗАЗУБРИН».

Я послал «порцию» отзывов. Долго не слышал никакого отклика. Наконец, 8 ноября 1927 года Владимир Яковлевич отозвался:

«УВАЖАЕМЫЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ!

*Я только на праздниках смог как следует посмотреть
Вашу работу. Конечно, она необычайно ценна. Читал я ее,
как самую увлекательную повесть или роман. Мы ее поме-
стим в двух «Сибирских огней». В №6 и 1-м. Сокращать от-
рицательные отзывы не будем. Оценки крестьян имеют
настолько большое общественное значение, насколько
они порой глубоки, метки и мудры, что никакая редакцион-
ная рука на них не поднимется.*

В. ЗАЗУБРИН».

И в № 6 «Сибирских огней» за 1927 год появился изрядный кусок из моего труда под заголовком «Деревня о современной художественной литературе»...

Так моему труду открыли дверь в большую литературу. О необычных очерках по-разному, но пылко заговорили в печати. Ко мне посыпался дождь писательских и читательских писем. Эта книжка «Сибирских огней» дошла и до Мо-

сквы, произвела сенсацию. Об этом меня известил литератор Вениамин Давидович Вегман:

«ТОВ. ТОПОРОВУ.

Пишут мне из Москвы: «На шестую книжку «Сибирских огней» у меня образовалась целая очередь читателей. Статья Топорова имеет огромный успех. Я сам прочитал ее с большим удовольствием»...

Сообщаю Вам, дабы Вы, знали, сколь важна и ценна проделанная Вами работа, помимо того интереса, который она вызывает у каждого писателя...

В. ВЕГМАН.

НОВОСИБИРСК, 31.1.1928 г.».

Открывателем, собирателем и воспитателем молодых литературных сил Сибири в двадцатых годах был автор первого советского романа «Два мира» Владимир Яковлевич Зазубрин. Он по достоинству занимал пост руководителя писателей, рассеянных на громадной территории – от Урала до Тихого океана. Литературный авторитет Зазубрина был очень велик.

Но в начале 1928 года в Новосибирске уже закипали бои между талантливыми советскими писателями с одной стороны и ультралевыми литературными компрачикосами – с другой. В столице Сибири набирал силу Александр Курс, прожженная бестия, беспринципный авантюрист, но не бесталаный журналист. Он втерся в фавориты к секретарю крайкома С.И. Сырцову и нахрапом лез в литературные генералы. А. Курс организовал свою литературную группу «Настоящее», которая провозгласила сумасбродный девиз: «Искусство – опиум для народа». Начал выходить и журнал «Настоящее», редакция которого гордо заявила, что подлинная литература – литература факта. Все прочие жанры, по ее мнению, – вредны.

Опираясь на забияшных юнцов А.Панкрушина, О. Барабаша и других крикунов, А. Курс и открыл поход против В.Я. Зазубрина и «Сибирских огней», обвиняя их в контрреволюционном уклоне.

Проживая в далекой деревне, я и сном–духом не ведал, о чем «гремели столичные витии», какие каверзы готовили они В.Я. Зазубрину и «Сибирским огням». Посмотрев мои

очерки в № 6 «Сибирских огней», А. Курс немедленно прислал мне панегирик о них и просил дать ему для «Настоящего» такой же фактический материал, так как он-де точно соответствовал задачам этого журнала.

В простоте душевной я рассуждал так: «Сибирские огни» и «Настоящее» – советские издания. Их редактируют коммунисты, члены одной и той же партии, идейные братья. У меня заготовлен ворох крестьянских отзывов о художественной сочинениях. Его хватит на 5–10 журналов. Пошлю стопку отзывов и «Настоящему». Пусть печатает.

Узнав об оригинальном опыте, редакции центральных журналов тоже просили у меня отзывы. Я неожиданно оказался в положении богатой невесты, к которой враз накатило много выгодных женихов, и она не знала, кому же отдать руку. Но «Сибирские огни» – моя первая любовь. Изменить ей я не мог. Однако подбирал я отзывы и для «Настоящего». Но, обремененный текущими служебными делами, я не смог быстро отослать очерки по назначению. А тем временем вышел в свет № 1 «Сибирских огней» за 1928 год. И случись же такой грех: в этот номер угодили пространные и похвальные высказывания коммунаров о «Двух мирах».

А. Курс разъярился. Не получив от меня ничего, он подумал, что я игнорирую его любимое чадо. И разработал коварный план войны. Чтобы свергнуть В.Я. Зазубрина, он направил тяжелую артиллерию сначала на меня. Расчет был понятен. А. Курс хотел опозорить меня, а потом поднять бучу: смотрите, люди советские, вот какие контрреволюционеры поют дифирамбы Зазубрину! Ату его!!

Он не сомневался, что Зазубрину будет капут. Для осуществления плана борьбы А. Курс посылает в «Майское утро» своего верноподданного инкогнито – О. Барабаша (псевдоним – О. Бар). Соглядатай тайно пробирается вечером в класс школы, наполненный моими слушателями. В те дни в коммуне работали межколхозные курсы механизаторов. Вечер проходил обычным порядком: политинформация, очередная читка художественного произведения, беседа, оркестр.

А спустя неделю, в «Советской Сибири» от 21 марта 1928 года, как из чистого неба, грянул гром. Почти всю вторую полосу газеты заполнила безудержная клеветни-

ческая статья О. Бара под зазывной шапкой: «Как учитель Топоров разъясняет крестьянам-коммунарам китайскую революцию и современную литературу».

А ниже, в фигурной рамке, дано содержание статьи в виде названия глав:

«О «бескровных» методах английской буржуазии и французских варягах. – Гражданская война или резня? – Что такое червизм? – Рыбацкий шалаш на острове Ханян. – Человечество, которое надо пожалеть. – Христос и Ленин. – Ленинские «сказки» и дела гуманистов. – Бунин в роли человекалюбца. – Как Есенин попал в любимые поэты советской деревни».

Мне очень больно чрезмерно злоупотреблять вашим терпением, читатель. Посему и отказываюсь от мысли воспроизвести полностью эту статью, неопровержимо доказывающую, что О. Бар – это попросту беспардонный кляузник, извратитель фактов и демагог. Он слишком переборщил в выполнении задания А. Курса, сделал меня не только врагом советской власти, но хуже того – безнадежным сумасшедшим, а коммунаров – недавних партизан – превратил в бессмысленных олухов царя небесного, смиренно выслушавших хохот и глумление «матерого контрреволюционера» над всем святым для советских людей.

Со статьей О. Бара я встретился в Барнауле, направляясь в Новосибирск, куда меня вызвали для участия в методическом совещании при Сибоню. Заодно пригласили и на Сибирский краевой съезд писателей, чтобы сделать доклад об опыте крестьянской критики художественной литературы. Но оба мои запланированные выступления сорвались. Все же я доехал до Новосибирска. Посоветовавшись с В.Я. Зазубриным, спешно вернулся в коммуны – отбивать атаку.

Стратегический план А. Курса потерпел крах. Положение сложилось по пословице: «Чем нелепее, тем лучше». Лучше – для меня. Фантастическая несуразица в пасквиле О. Бара лезла всем в глаза. Опровержение ее не требовало особенных усилий.

Пока я ездил в Новосибирск и обратно, в «Майское утро» и тоже инкогнито заглянул корреспондент «Известий» Абрам Давидович Аграновский. К месту «чрезвычайного происшествия» его погнала шумная статья О. Бара.

Что разведал в коммуне А.Д. Аграновский, – об этом он написал в очерке «Генрих Гейне и Глафира» («Известия» от 7 ноября 1928 года). Скажу только, что в последствии эта статья составной частью входила во все послевоенные издания моей книги «Крестьяне о писателях», поскольку в ней высокопрофессионально и в высшей степени доброжелательно был оценен мой скромный опыт культурно-просветительной работы в селе, а с сыном Аврама Давидовича – Анатолием Аврамовичем, известным писателем и журналистом, – я дружу и по сей день.

Ложь О. Бара возмутила также и коммунаров «Майского утра», и всех приезжих курсантов, слушавших мои беседы и читки. Они написали в редакцию «Советской Сибири» опровержение клеветы. В коммуну наехала следственная комиссия из 11 членов во главе с представителем крайкома Б.А. Каврайским., секретарем Барнаульского окружкома И.С. Нусиновым и начальником окружного ГПУ И.А. Кадушинным. Семь суток эта комиссия расследовала всю подноготную о моей «диверсионной» работе. На заключительном собрании председатель комиссии И.С. Нусинов доложил:

– Политическая, хозяйственная и культурная жизнь коммуны идет по правильному, здоровому пути. Организация процветает во всех отношениях. В этом главная заслуга партийного руководства и Совета коммуны. Но во всех достижениях коммунаров видна положительная роль учителя Топорова. Его опыт культурно-просветительной деятельности достоин изучения и подражания. О. Бар незаслуженно опозорил образцового советского учителя... совсем недавно, в № 3 журнала «Настоящее», тот же О. Бар писал, что «Майское утро» – лучшая коммуна в Барнаульском округе и т.д., и т.п.

Прослушав игру струнного оркестра, И.С. Нусинов подбежал к сцене и, пожимая мне руку, воскликнул:

– Товарищ Топоров! Да вы же творите чудеса! Оркестр ваш играет классические вещи! Где еще это видано в глухой сибирской деревне?! Нигде!..

А И.А. Кадушин добавил:

– Приезжай ко мне в Барнаул, товарищ Топоров... Подарю коммуне пианино – за твою работу...

Я пишу об этом не для мальчишеского бахвальства. Барнаульский окружком партии оправдал меня. И.С. Нуси-

нов напечатал в «Советской Сибири» статью «Об учителе Топорове, «топоровщине» и проницательности тов. Бара» (№ 134, 1928 г.). Она разгромила лжеца. В том же номере борзописец признал свою «ошибку».

Ради истины не могу не сказать, что И.С. Нусинов и Б.А. Каврайский числились в ядре группы «Настоящее». Тем не менее, они честно пошли против А. Курса в моем деле. Это были благородные, высокоинтеллигентные советские литераторы, о которых я храню самые теплые чувства признательности...

Поход А. Курса на меня совпал с пребыванием в барнаульской ссылке известного советского публициста Льва Семеновича Сосновского, попавшего в опалу у гения зла. Этот правдолюбец, заступник десятков и сотен несправедливо обиженных и оскорбленных, читал раньше о моей культурно-просветительной работе в коммуне. По собственной инициативе он ополчился на О. Бара, поместив в №№ 136 и 138 «Красного Алтая» (1928 г.) убийственную для того статью-фельетон «Барнаульская гидра». Не могу удержаться от искушения воспроизвести ее заключительную часть:

«Нет, надобно же так изловчиться! Не заметить того, чем может гордиться коммуна, и подробно описать то, чего не было.

А следовало бы поделикатнее обходиться с первыми ростками культуры в сибирской деревне, не топтать их сапожищами, как попало. Не в том разделение труда, чтобы Топоров строил семь лет, а О. Бар в один час разрушил созданное.

Хорошо, что все обошлось более или менее благополучно, и «Советская Сибирь» теперь развеяла вымыслы О. Бара. Могло быть и хуже...

С Е Е В».

Копию статьи «Барнаульская гидра» недавно, по моей просьбе, прислал мне Алтайский краевой госархив, «С Е Е В» – это от «АЛЕКСЕЕВ» – прежнего псевдонима Льва Семеновича Сосновского, как объяснил он мне сам...

О. Бар капитулировал, но слетевшее с его пера словцо «топоровщина» пошло гулять по всесоюзной печати как

синоним крайней реакционности в литературе. Оно фигурировало даже в Сибирской Советской Энциклопедии наряду с «зазубрищиной». Снилось ли мне когда-либо, что я, незаметный, рядовой сельский учитель, буду возведен в ранг «лидера» какого-то литературного течения?! Не смешно ли?! Ан – возвели! Поди ж ты!

Как раз в то время, когда прихвостень А. Курса О. Барстряпал фантастический донос на меня, Алексей Максимович Горький, прочитав № 1 «Сибирских огней» за 1928 год, 17 марта того же года писал из Сорренто В.Я. Зазубрину:

«...Пошлите мне Вашу книгу «Два мира», интереснейшую беседу слушателей о ней читал, захлебываясь от удовольствия».*

К пятому изданию романа В.Я. Зазубрина А.М. Горький 20 сентября 1928 года написал предисловие, в котором между прочим говорится:

«Эта книга была прочитана в Сибири перед собранием рабочих и крестьян. Суждения, собранные о ней, стенографически записаны были и опубликованы в журнале «Сибирские огни». Это – весьма ценные суждения, это – подлинный «глас народа». И было бы в высшей степени полезно напечатать эту стенограмму как послесловие к ней, как эхо, отозвавшееся на голос автора».

Посылая В.Я. Зазубрину свое предисловие к «Двум мирам», Алексей Максимович напоминал ему:

*«А стенограмму обязательно приложите. Она – прекрасное явление. И Вы можете гордиться ею»**.*

Такую оценку давал моему опыту основоположник пролетарской литературы...

Отзывы коммунаров о художественных произведениях находили место в «Сибирских огнях» и после хая, поднятого О. Баром вокруг моего имени (см. №№ 2 и 5 за 1928 год, № 3 за 1929 год). И хотя я был оправдан в «Советской Сибири», но А. Курс успел сорвать отдельное издание книги «Крестьяне о писателях» в Новосибирске. Матрицы уничтожили.

* Здесь А.М. Горький говорит про отзывы коммунаров «Майского утра». См. «Архив А.М. Горького», – М: Наука, 1965, – т. 10, кн. 2, с. 350. – А.Т.

** «Архив А.М. Горького», – М: Наука, 1965, – т. 10, кн. 2, с. 363. – А.Т.

Образовав единый фронт с сибалповцами, главой которой был Анатолий Васильевич Высоцкий, А. Курс добился «низложения» В.Я. Зазубрина и исключения его из партии. Осенью 1928 года автор «Двух миров» перебрался в Москву под защиту А.М. Горького и стал редактором литературно-художественного отдела ГОСИЗДАТа.

Получив отповедь от комиссии, расследовавшей галиматью О. Бара, А. Курс, со свойственной ему беспринципностью, начал засыпать меня письмами, в которых расточал дифирамбы моему опыту, всем моим статьям и очеркам о жизни деревни; просил писать, елико можно чаще для «Советской Сибири» и «Настоящего». И я, отмечая дикий вопль «Искусство – опиум для народа», печатался в них, считая, что мои вещи годились для любого советского издания, и не смешивая личностей редакторов с газетами и журналами. Я понимал, что редакторы приходят и уходят, а издания остаются. В «Настоящем», кстати, печатались М. Никитин, Н. Чертова и даже Н. Погодин, впоследствии выдающийся советский драматург, и др. хорошие писатели.

Но окончательно я порвал с «Настоящим», когда его заправили, обнаглев до предельной степени, отважились лить грязь на А.М. Горького, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова, А.А. Фадеева и др. классиков.

А. Курс был виновником долгих и горестных моих переживаний. В припадке негодования я сжег пачки его писем ко мне. А сейчас жалею о том: в них говорилось о многих фактах и событиях, характеризующих литературную борьбу в Сибири в 20-х годах.

Позже, когда единый фронт настоященцев, пролеткультовцев и сибалповцев дошел в травле А.М. Горького до хулиганства, ЦК ВКП (Б) вынес Постановление «О выступлениях части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького».

Песенка А. Курса была спета. Его высадили из обоих кресел: из «Советской Сибири» и из «Настоящего». Впрочем, вскоре тихо почил и новорожденный журнал. С тех пор я нигде не слышал и не видел имени Александра Курса...

Тем временем, я рискнул обратиться к зав. ГОСИЗДАТом А.Б. Халатову с просьбой об издании моего труда в Москве. В ответ на нее получил неожиданное, радостное письмо:

«22.11.1928 г.

Дорогой Адриан Митрофанович!

Я хотя и не Халатов, к которому Вы обращались, но от него Ваше предложение попало ко мне на заключение. Заключение я сделал самое положительное. Немедленно шлите свою книгу в литературно-художественный отдел. В нее должны войти отзывы крестьян и Ваша теоретическая часть. Редактировать буду я. Издадим быстро. Гоните.

Привет всей коммуне.

Редактор литературно-художественного отдела ГИЗа и

Ваш покорный слуга В. Зазубрин. ЖДУ».

Я спешно отослал рукопись.

Владимиру Яковлевичу Зазубрину не пришлось однако редактировать мою книгу: его перевели на другую работу. Но мне повезло – рукопись, по принадлежности, передали другому редактору – тоже обаятельному человеку, глубоко знающему литературу и языка – Вениамину Цезаревичу Гоффеншеферу. Он усердно работал над моими записями и по долгу службы, и по искреннему убеждению в их уникальности и непреходящей ценности самоцветного, живого народного слова.

Уже говорилось, что отдельное издание «Крестьян» леваки погубили в Новосибирске. Они замыслили сорвать его и в Москве. Правление ГИЗа уже собиралось вычеркнуть из тематического плана отредактированную рукопись. В критический момент В.Ц. Гоффеншефер для спасения ее совершил истинно рыцарский подвиг, подав правлению ГИЗа категорическую докладную записку 30 марта 1929 года. В ней он писал, например: «...Если мы дадим возможность загубить эту книгу, мы совершим неслыханный и безобразнейший антисоциальный и антикультурный поступок.

И я должен с полной откровенностью заявить, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы этого поступка не совершить».

Обуздание левацкого литературного фронта в Сибири Центральным Комитетом ВКП (б) заставило моих врагов на время прижукнуться...

Преодолев все козни и барьеры, мои злополучные «Крестьяне» появились на свет белый в мае 1930 года. Сразу же левацкие критики-дубинники всех мастей и оттенков встретили опять ураганным огнем и мой опыт, и книгу, и меня. В центральных и новосибирских газетах и журналах Мих. Беккер (трижды!!), И. Сергиевский, Ел. Фил, М. Чумандрин, Георгий Павлов, Лидия Поляк и др. истошно завопили: «топоровщина» – орудие классовых врагов; Топоров – обыватель, мещанин, народник, реакционер, идеологический чужак, невежда, не имеющий никаких данных для ведения культурной работы среди крестьянства; антимарксист, слепой эмпирик, поборник классической литературы и ярый ненавистник литературы новой и т.п.*

А высказывания коммунаров о произведениях Мих. Беккер обозвал «анекдотическим переливанием из пустого в порожнее». Разнес меня и тогдашний «Зевс-громовец» Федор Панферов за отрицательные отзывы крестьян о его «БРУСКАХ». Он полагал, будто эти отзывы получились из-за моего злоумышленного подъялдыкивания (словцо Панферова) при чтении его романа в аудитории. Но моим злочинцам давали отпор А. Аграновский, Д. Тальников, Нина Шугаева, В. Гоффеншефер, Ст. Кроликевич (Польша), Л. Сосновский и др.

А еще больше я нашел защитников среди писателей и читателей, приславших мне восторженные оценки «КРЕСТЬЯН» из всех мест СССР, из некоторых европейских стран и Калифорнийского университета**. Невозможно привести здесь все эти трогательные, умные, беспристрастные письма. Некоторые из них вошли в послевоенные издания

* См. И. Сергиевский («Новый мир», 11, 1930), М.Б. («Литература и искусство», 1, 1930), М. Беккер («На литературном посту», 23-24, 1930), М. Чумандрин («Ленинград», 3, 1930), Г. Павлов («Сибирские огни», 6, 1930), Ел. Фил («Литературная газета», 45, 1930), безымянный критик («Октябрь», 7, 1930), Н. Острогорский («Земля Советская», 4, 1930). - А.Т.

** Речь идет о Чарльзе Маламуте – преподавателе кафедры славянских литератур в Калифорнийском университете. Он перевел на английский язык художественные произведения советских авторов с целью ознакомления американских трудящихся с социалистическим строительством в СССР. Просил меня прислать ему отзывы коммунаров «Майского утра» на роман Вал. Катаева «Время, вперед!», который он перевел на английский язык и готовил к изданию в Америке.- А.Т.

«КРЕСТЬЯН» и другие мои книги. Но все же не откажу себе в удовольствии процитировать пару абзацев из писем, которыми почтил меня из Лозанны (Швейцария) авторитетный мировой библиограф, ученый-энциклопедист, непревзойденный популяризатор науки и художник слова – директор Международного института библиопсихологии Николай Александрович Рубакин:

«Книга Ваша прямо-таки замечательна, и нам она особенно дорога потому, что всецело подтверждает библиопсихологическую точку зрения на читательство и авторство, а также и на современную русскую беллетристику, которую Ваши славные, такие симпатичные, искренние и чуткие слушатели разобрали и оценили бесконечно лучше, чем целая уйма присяжных критиков-доктринеров...»

Ваша замечательная книга особенно ценна ее внутренней честностью. Потому она и особенно поучительна. Она открывает глаза многим и многим на настоящую роль и значение и на социальное назначение литературы... С каждой страницы Вашей книги так и прет, так и сияет Ваша любовь к человеку, к читателю, да и их любовь и доверие к Вам просто-таки очаровывают...».

Гвалт, поднятый против «Крестьян» в Москве, Ленинграде и Новосибирске, подхлестнул косихинских и барнаулских мракобесов на продолжение преследования меня и всей моей культурной работы в коммуне.

Партийцам и комсомольцам приказали из райкомов бойкотировать меня. Бойкота не случилось, но опыт мой загнали в «подполье».

Дальше – еще хуже...

Для моего литературного труда «Сибирские огни» в 1927–1928 годах были, выражаясь фигурально, родной матерью. Они его породили на свет. А в 1930 году они же и убили свое кровное дитя!

Гегемонию в редакции «Огней» тогда захватили активные враги В.Я. Зазубрина и мои – сибиряки Анатолий Васильевич Высоцкий и бывший друг мой Георгий Павлович Павлов. Они-то и третировали и Зазубрина, и меня, и мой опыт.

В № 6 «Сибирских огней» за 1930 год Высоцкий, как редактор, дал простор огромной демагогической статье Георгия Павлова «Методика «строжайшего беспристрастия», в которой вся моя работа по организации крестьянской

критики художественной литературы окрещена классово-чуждой, вредной. Высоцкий и Павлов на новый лад пропели обо мне клевету О. Бара, приправив ее трескучей философской фразеологией. Свои «ученые» формулировочки они через полтора года ввернули и в решение СибКК-РКИ по конфликту о снятии меня с работы косихинскими рай-бесчинниками, о чем я обстоятельно расскажу в следующей главе. Эти формулировочки Высоцкого-Павлова зловещим хвостом потянулись за мною из Сибири на Урал и за Каменный пояс – в Европейскую Россию. Их воткнули и в обвинительное заключение в роковом 1937 году, когда и меня задел черный вихрь, пронесшийся по всей Земле Советской.

Два года длилось перемывание косточек злосчастных «Крестьян»...

В моем архиве втуне лежало крестьянских отзывов еще на два тома. Я предложил их ГИЗу – отказ. Испуг от левацкого воя еще тяготел над головами его руководителей...

Редакция журнала «Литературная учеба», по предложению А.М. Горького, пригласила меня к участию в сотрудничестве*. Она просила прислать теоретическую статью о крестьянской критике художественной литературы и несколько разборов произведений. Я послал и статью и ранее собранные, но нигде до того не напечатанные отзывы на произведения И. Вольнова, А. Серафимовича, Д. Бедного, Ю. Либединского, А. Блока («Двенадцать»), Б. Горбатова, В. Маяковского. По неизвестной мне причине, ни одна из этих работ не вышла на страницах «Литературной учебы», и само это издание прекратило свое бытие. Следы моих материалов тогда исчезли...

Были, однако, и приятные моменты.

В 1929 году редакция журнала «Красная нива» решила дать своим подписчикам приложение – собрание сочинений А.С. Пушкина в ознаменование 130-летия со дня его рождения. Намереваясь узнать, как же советские крестьяне воспринимают Пушкина, она предложила провести мне «массовый смотр» его произведений».

* См. «Архив А.М. Горького», – М: Наука, 1965, – т. 10, кн. 2. – с. 272, 274. – А.Т.

Я сделал это. Высказывания слушателей составили толстую тетрадь. Мой очерк «Пушкин у крестьян-коммунаров» вышел в № 5 «Красной нивы» за 1930 год, но отзывы коммунаров не нашли себе место на ее страницах.

В 1932 году я встретился с Викентием Викентьевичем Вересаевым. Ознакомившись с рукописью отзывов, он одобрил ее и посоветовал приберечь до очередной пушкинской даты.

В 1936/1937 учебном году я преподавал в средней школе № 5 города Раменское Московской области. Бывал у Викентия Викентьевича. Он знал мой новый адрес.

Поздним январским вечером 1937 года я получил телеграмму:

«НЕМЕДЛЕННО ЯВИТЕСЬ В ПУШКИНСКИЙ КОМИТЕТ ПРИ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА. В Е Р Е С А Е В».

По рекомендации писателя, Пушкинский комитет приобрел мою рукопись для выставки, посвященной столетию со дня смерти великого поэта. Выставку организовали в Москве, в Историческом музее...

А время таки расставило все по своим местам...

Через четверть с лишним века в Николаевской областной библиотеке я наткнулся на статью Л. Баландина «Первый советский роман» («Сибирские огни», № 4, 1957 г.). Речь в ней шла о В.Я. Зазубрине. С трудом верил я своим глазам, когда читал:

«О «Двух мирах» неоднократно с похвалой отзывался А.М. Горький. Так в письме к селькорам(1927 г.) он рекомендовал: «Очень советую вам, товарищи, читать книгу писателя Зазубрина «Два мира». В этой книге он удивительно правдиво изобразил дикую расправу белогвардейцев с крестьянами в Сибири...»

В 1927 году учитель Топоров прочел книгу сибирским крестьянам-коммунарам, живым свидетелям разгула колчаковщины. Несколько дней подряд собирались они, чтобы поделиться впечатлениями:

– Это большая история. Через века-века она будет иметь свою цену».

И сноска:

«А. Топоров. Деревня о современной художественной литературе; стенографический отчет. «Сибирские огни», №1, 1928 г., стр. 217–235».

И я понял: В.Я. Зазубрин посмертно реабилитирован. Снова из редакции «Огней» потянули благоприятные ветры и для меня.

А кто же редактировал эти строки? Я схватился за голову, увидев подпись: ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. ВЫСОЦКИЙ (!). Да, да, тот самый Анатолий Васильевич Высоцкий, который в 1930 году редактировал этот же журнал и пригвождал меня к позорному столбу на его страницах! О люди! О нравы! Только и мог воскликнуть я...

Но повремените удивляться или возмущаться. Анатолий Васильевич покажет вам хамелеоновские номера еще похлеще.

В 1959 году в Новосибирске, в серии «Библиотека сибирского романа», вышло, кажется, пятнадцатое издание «Двух миров». В предисловии к нему пропет акафист и автору романа, и мне:

« В 1927 году роман В. Зазубрин читали вслух и обсуждали крестьяне-члены с-х коммуны «Майское утро» (Алтай, Барнаульский округ). Выступления коммунаров были записаны учителем А. Топоровым и опубликованы в журнале «Сибирские огни» (№1, 1928 г.). А.М. Горький, ознакомившись с записями выступлений крестьян, советовал напечатать их в качестве послесловия к роману «Два мира», как «эхо, мощно отозвавшееся на голос автора». Пожелание А.М. Горького осуществлено в данном издании» (Предисловие, стр. 14).

Кому же принадлежат эти строки? Все тому же Анатолию Васильевичу Высоцкому, который поедом ел Зазубрина и меня в 1930 году!

Послушайте и крокодилу слезницу А.В. Высоцкого о В.Я. Зазубрине:

«...Группа «Настоящее» начала яростную травлю В.Я. Зазубрина. В последующем особым Постановлением ЦК ВКП (б) группа «Настоящее» была ликвидирована, ее вожди были исключены из рядов партии, однако В.Зазубрин был все же вынужден уехать из Сибири в Москву...» (Предисловие, стр. 16).

А. Курс вдохновлял настоященцев, а А. Высоцкий – сабапповцев. Объединив этих авантюристов, «вожди» натравили их на В. Зазубрина и погубили крупнейшего писателя Сибири!..

Спустя 30 лет Анатолий Васильевич Высоцкий умывает руки и валит это тяжкое преступление только на настоящих щенцев (?!?!). Я понял бы Высоцкого, если бы он к похвале В.Я. Зазубрину в 1959 году присовокупил хоть строчку признания своей тяжкой вины в былые годы войны против так называемых «зазубринщины» и «топоровщины». Но, забыв об этом признании, он тем самым продемонстрировал еще и свою заячью трусость...

В Николаеве, на Украине я установил точную версию попадания А.М. Горького в местную городскую больницу, после известного избиения его до полусмерти в деревне Кандыбовке. Увидев в составе редколлегии газеты «Литература и жизнь» фамилию моего старого сибирского друга и большого писателя Ефима Николаевича Пермитина, я 23 ноября 1958 года запросил его: не интересуется ли редакция этой газеты заметка о Горьком в Николаеве и первая публикация фотографии того хирургического корпуса, в котором была спасена жизнь великого писателя и где зародился «Челкаш»?

Е.Н. Пермитин ответил:

Дорогой Адриан Митрофанович!

Обрадован Вашим письмом. И весьма обрадован. Вашу работу в коммуне «Майское утро», Вашу книгу «Крестьяне о писателях» я считал и считаю замечательными и, пожалуй, беспримерными в истории всей мировой литературы. Не подумайте, что это – земляческое преувеличение. Беда вся в том, что попали Вы в тяжкую полосу и что поныне делами литературы заправляют люди, мало любящие русский народ, русский язык, русских самородков. Это я говорю применительно к заматеревшей в групповщине критике нашей... Но бог с ней, с критикой. Народ – лучший и справедливейший критик! Вы это блестяще доказали в своей книге. Экземпляр этой книги я переплел, бережно храню, всегда с наслаждением перечитываю ее: языковые россыпи там богатейшие.

Заметку о Горьком в Кандыбовке и фото шлите: после съезда попытаюсь втолкнуть их на стр. «Литер. и Ж.»

Крепко обнимаю Вас. ВАШ Е. ПЕРМИТИН.

02.12.1958.

Заметку мою поместили, а фото затеряли. Эта заметка и положила начало моей связи с Институтом мировой литературы имени А.М. Горького (ИМЛИ). Научный сотрудник его Вадим Никитич Чуваков 8 апреля 1959 года обратился ко мне:

УВАЖАЕМЫЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ!

Архив А.М. Горького при Институте мировой литературы им. Горького АН СССР разыскивает сведения о лицах, упоминаемых в письмах Алексея Максимовича, или его корреспондентов и будет очень признателен Вам за автобиографическую справку.

Хотелось бы также получить от Вас воспоминания о литературной жизни Сибири 20-х годов, писателях В.Я. Зазубрине, М.М. Басове (редакторе «Сибирских огней»), Н. Анове, группе «Настоящее» (А. Курс, А. Панкрушин и проч.), художниках Н.И. Чевелкове и Чорос-Гуркине.

С приветом!

Сотрудник Архива А.М. Горького

В. Чуваков.

И ныне мои воспоминания о некоторых сибирских писателях и мастерах искусств хранятся в моем личном фонде в ИМЛИ. Прочитав их, другая сотрудница этого института – Тамара Борисовна Дмитриева, работая над подготовкой к печати X тома «Архива А.М. Горького», спросила меня: не получал ли я от Алексея Максимовича или от редакции «Литературной учебы» приглашения писать в этот журнал? Я отослал Т.Б. Дмитриевой всю мою переписку с редакцией «Лит. учебы». В свою очередь Тамара Борисовна, посетив Пушкинский дом в Ленинграде, разыскала в нем рукописи отзывов коммунаров «Майского утра». Эти отзывы были посланы мною «Лит. учебе» по просьбе А.М. Горького еще в июне 1930 года. Не были, правда, найдены отзывы только на «Старое и новое» Д. Бедного, «Даешь материальную базу» В. Маяковского и «Ячейку» Б. Горбатова.

Все найденное в рукописном отделе Пушкинского дома в копиях вернулось ко мне в феврале 1961 года, т.е. через 30 с лишком лет! И я еще раз выражаю Пушкинскому дому мою сердечную признательность за сохранение

и присылку работ, которые полностью вошли во все издания моей книги «Крестьяне о писателях», начиная со второго (1963 г.).

В начале 1960 года в редакцию газеты «Литература и жизнь» пришло письмо со ст. Красный Яр ж. д. Тайшет – Лена от П.А. Лобанова. Он просил редакцию разыскать автора книги «Крестьяне о писателях». Его интересовала и судьба этой книги. Письмо П.А. Лобанова поддержали писатель Е.Н. Пермитин, В.В. Полторацкий и Е.И. Осетров. Редакция «Литературы и жизни» командировала ко мне в Николаев корреспондента П.Д. Стырова. Он «обследовал» меня девять суток. И 6 апреля 1960 года в № 42 этой газеты появился его очерк «По следам одной книги», в котором рассказана история моего опыта крестьянской критики художественной литературы и причины забвения его за три десятилетия.

Автор очерка поставил вопрос о восстановлении, усовершенствовании и повсеместном распространении низовой массовой оценки художественной литературы в наше время.

Видимо, расшевеленное очерком П.Д. Стырова, Новосибирское книжное издательство 15 июня 1960 года предложило мне переиздать у него «Крестьян». Это намерение было убедительно мотивировано:

«Нам думается, что именно Сибирь, родина этой книги, должна стать местом ее второго рождения...».

Я не замедлил с отсылкой издательству всех необходимых материалов. И директор издательства С.О. Омбыш-Кузнецов и редактор Е.Р. Расстегняева от чистого сердца бились за мою книгу, но в решающий момент чья-то все- сильная рука в списке против нее начертала **«НЕТ!»**.

Свыше года тянулась канитель: я настаивал на возврате материалов, а мои искренние доброжелатели упрашивали меня оставить у них рукопись. Они надеялись все же «пробить» книгу в план издательства на 1962 год.

Но 6 августа 1961 года неожиданно прикончило наши препирательства: Герман Степанович Титов в этот день порхнул в небеса! Мое имя прилипло к нему с некоторым для того основанием. И что же? В судьбе моих «Крестьян» произошел поворот на 180 градусов: 25 августа 1961 года Новосибирское издательство известило меня:

«УВАЖАЕМЫЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ!

Рады, наконец, сообщить Вам, что переиздание книги «Крестьяне о писателях» включено в тематический план издательства на 1962 год, объемом в 15 печатных листов. Посылаем Вам бланки договора – просьба подписать и один экземпляр вернуть нам.

С большим волнением и радостью за Вас прочитали в «Известиях» документальную повесть «Отчий дом», – остается лишь еще раз пожалеть, что книгу не удалось издать в 1961 году, – читателю вдвойне интересно было бы получить ее именно в эти знаменательные дни.

Но что поделаешь, теперь об этом сожалеть поздно, – и потом, это ведь только один аспект в сегодняшней оценке Вашей книги, значение которой, на наш взгляд, намного шире и глубже.

И еще один вопрос. Нас очень интересуют Ваши очерки-воспоминания о писателях-сибиряках, над которым Вы сейчас работаете. Нельзя ли познакомиться с рукописью – на предмет включения ее в тематический план 1963 года?

С уважением

*Директор издательства Б. Братчиков
Редактор Е. Расстегняева.*

Книга «Крестьяне о писателях» таки увидела свет в 1963 г., а годом позже местные – обком партии, отделение Союза писателей, издательство и телецентр пригласили меня в Новосибирск. Я выступал в печати, по радио, телевидению, на собраниях литераторов, учителей, библиотекарей, в книжном магазине среди покупателей.

Телецентр 4 июля организовал бесподобную передачу. В саду, на вольном воздухе, за круглым столом сидели и поочередно говорили А.Л. Коптелов, С.П. Залыгин, С.П. Титов, П.Д. Стыров, Е.Р. Расстегняева и я.

Подготавливая эту передачу, телецентр послал в нынешний поселок «Майское утро» кинобригаду – заснять его виды, трудовые процессы, оставшихся в живых участников моих чток, записать их воспоминания о моей культурботе в коммуне. Фильм был вмонтирован в телепередачу. Ее смотрела вся Сибирь. В числе телезрителей, наверное, находился и Анатолий Васильевич Высоцкий, который еще раз убедился, какую беспардонную ложь и чушь пропускал

он в «Сибирских огнях» обо мне в 1930 году! Информация о моем пребывании в Новосибирске печаталась и в центральной прессе, даже в «Правде». Передавалась она и по московскому радио. На собрании литераторов я рассказал все, о чем написано в этой главе.

Вполне понятна причина отсутствия А.В. Высоцкого на этом собрании, хотя я видел его в Новосибирске в этот день. Примечательно, что по окончании собрания ко мне подошли две молодые журналистки и благодарили:

– Спасибо вам, что отхлестали иуду Высоцкого! Он и нам тут шею переел...

Присутствовавшая на собрании секретарь Новосибирского обкома партии Евстолия Никоновна Корнева передала мне желание Первого секретаря обкома Федора Степановича Горячева встретиться со мною. На следующее утро эта встреча состоялась и с ним, и с членами бюро обкома. Затем меня приняла и Евстолия Никоновна. В беседе она выразила крайнее удивление, кто это мог в обкоме вычеркнуть «Крестьян» из тематического плана издательства в 1961 году. Уверяла, что это сделал кто-то без ее ведома...

Новосибирские организации принимали меня как нельзя радушнее! А неофициальные встречи со старыми друзьями, соратниками, учениками и знакомыми я не могу и перечить.

Я уже собрался было отправиться в обратный путь, как ко мне в номер гостиницы «Новосибирск» позвонили из Алтайского крайкома партии – пригласили посетить Барнаул. Я с радостью поехал. Здесь встреч и выступлений было еще больше, чем в Новосибирске.

Секретарь крайкома Тимофей Алексеевич Кулаков даже обнял меня и расцеловал. Из Новосибирска самолетом доставили и часть тиража моей книги, 1000 экз. ее разошлись в Барнауле в несколько дней!..

Побывал я и у своих самых любимых учеников – Александры Михайловны и Степана Павловича Титовых, у Григория Никитича и Марии Кузьминичны Блиновых – в селе Полковниково.

Но до «Майского утра» не позволил доехать жесткий график моих выступлений и встреч в Барнауле. Да, по прав-

де сказать, и сам я не хотел ехать туда. Боялся увидеть мерзость запустения в культработе там, где когда-то расцвела настоящая культура...

А третье издание «Крестьян» в знаменитом московском издательстве «Советская Россия» вышло в 1967 году*.

Такова «эпопея» моего опыта по сей день...

К моей книге «Крестьяне о писателях» критики прилепляли слишком пышные эпитеты: легендарная, уникальная, удивительная необыкновенная, единственная в своем роде и т.п. Пусть это преувеличения, но, видимо, книга все же не обычная. Что прибедняться? В моем архиве множество восторженных откликов читателей и писателей на книгу. Об этом уже говорил я выше. А вот ведущие наши литературные журналы прошли мимо нее. Поневоле подумаешь, не намекают ли мне обитатели советского Парнаса: «Не лезь ты, Топоров, со свиным рылом в калачный ряд»?! Уж не дали ли маху Горький, Вересаев, Подъячев, Рубакин, Твардовский, Зазубрин, Пермитин, Югов, Замойский, Залыгин, Коптелов, Скуратов, Яновский, Сурганов, Рассадин, Осетров, Выходцев и др., руководители ИМЛИ имени А.М. Горького, Пушкинского дома и издательства – ГИХЛ, Новосибирское, «Советская Россия», хваля мой опыт и книгу?!

Да и бог с ним! Наград для себя за эту работу не ждал, моего учительского жалованья (тридцать два рубля в месяц) чтения не повышали, гонорар от первого издания книги я разделил между всеми коммунарами-критиками в соответствии с личным вкладом каждого в нее, но не скажу, что был вполне бескорыстен. Корысть имелась: мне было интересно жить. Все увлекало меня: игра с детьми в слова, сочинения ребят, детский театр, взрослый театр, хоры, оркестр, крестьянская критика. Как сейчас помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал сотни воткнутых в меня глаз, и от этого в душе было сияние и легкий взлет.

Вот и выходит, что нелегкие эти, несытные, холодные, набитые заботами, трудом, занятиями годы и были лучшим временем моей жизни...

* Впоследствии вышло еще три издания этой книги: Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1979; Москва: Книга, 1982; Белгород: Константа, 2015. – И. Топоров

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. КОСИХИНСКИЕ И БАРНАУЛЬСКИЕ ПРИШИБЕЕВЫ

У глухотных Пришибеевых каждое мое общественно-полезное дело или предложение порождало подозрение, ненависть, противодействие и как бы подтверждаю уже приклеенный ко мне оскорбительный ярлык «КР» (контрреволюционер).

Новый случай укрепил их в мысли, что они безошибочно оценивают мою личность. В январе 1925 года в Москве проходил Первый Всесоюзный учительский съезд. В числе девяти делегатов его от Алтайской губернии послали меня. По возвращении из столицы товарищи по делегации поручили мне сделать доклад о съезде на губернском съезде учителей в Барнауле.

Много полезного и нового увидели его делегаты в Москве. Мне выпало посетить образцовую среднюю школу имени Радищева, размещенную в богатейших зданиях бывшего Елизаветинского института благородных девиц. Я был радостно удивлен постановкой образования и воспитания юношества. Но одно поразило меня весьма неприятно. В заключение обозрения школы группой делегатов съезда – ее «угостили» концертом ученического духового оркестра, который невыразимо резал уши.

На губернском съезде учителей я чистосердечно поведал об этом своем впечатлении. Желая ободрить своих коллег-сибиряков, я подчеркнул:

– В Москве делегаты съезда видели сотни поучительных примеров. Но кое-чему и московские педагоги могли бы поучиться у алтайских...

И дальше я сказал о том, что в Барнаульской средней школе имени III Коминтерна (директором ее состоял тогда А.М. Красноусов, ныне профессор, зав. кафедрой литературы в Мичуринском пединституте) преподаватель музыки и пения, известный алтаевед, этнограф, фольклорист, поэт и композитор Андрей Викторович Анохин создал из учеников великолепный хор, который в советское время принес в Алтайский край высокую музыкальную культуру. Силами воспитанников этой школы А.В. Анохин ставил в Барнауле даже свои оперы и сюи-

ты, написанные на сюжеты мифов Алтая. Концерты хора школы имени III Коминтерна и показ опер Анохина являлись чрезвычайными событиями в культурной жизни Барнаула в 20-х годах...

Что плохого сделал я, отметив это? Однако в моей параллели между московской школой имени Радищева и барнаульской школой имени III Коминтерна губернские власти усмотрели «унижение» Москвы (?!?!). Председатель губисполкома Пахомов за кулисами сцены долго журил меня за «неудачное выступление».

Это донеслось до Косихи. И с этого момента эстафета гонения на меня заботливо передавалась от одних руководителей райцентра к другим. Все мои новшества в школьной работе претили недалеким районным и уездным (окружным) инспекторам народного просвещения. Я сидел у них бельмом на глазу. На разного рода конференциях они неукоснительно пускали ядовитые шпильки в мой адрес. Но однажды я окрысился:

– Приезжайте ко мне в школу, товарищи инспектора, живите у меня хоть неделю, хоть месяц; ходите на мои уроки, критикуйте меня безжалостно. Но потом будете давать мне показательные уроки, а я буду вас критиковать...

И что же вы думаете?! С тех пор ни один инспектор народного просвещения не показывал и носа в коммуны. А на разного рода олимпиадах, смотрах, выставках – ученики моей школы всегда выходили на первые места.

Районные и некоторые окружные властители хронически вели под меня подкопы не только за школьную, но и за культурно-массовую и – особенно – за селькоровскую и журналистскую работу. Это и понятно: я, на их взгляд, был «нарушителем спокойствия» в тихой провинциальной заводи. Но эту брехню хорошо понимали и они сами. Вот один лишь пример: спустя месяц после очередного их наскока на коммуны – они же направили туда экскурсию из Барнаульской совпартшколы – для «изучения опыта ЛУЧШЕГО в Сибири колхоза» (?!?!). Но такова уж логика людей, ослепленных ненавистью!..

Еще один штрих...

Коммунары из «Свободы» сказали своему учителю Зуйке Александру Ивановичу:

– Хотим, как у Топорова... Читай нам книжки вслух. Будем обсуждать их.

Зуйка взял у меня вязанку книг – и дело у него пошло. «Свободяне» пристрастились было к коллективным читкам, поняли в них толк, привыкли. Но районные руководители, прослышав про эту «топоровскую заразу» и в «Свободе», приказали Зуйке прекратить читки. Он повиновался. Привез мне книги обратно:

– Запретили!.. Нельзя... А скандалить с ними боюсь. Больной я...

Сложности начались в коммуне и не только для меня.

«Год великого перелома» был началом трагедии всего сельского хозяйства СССР и конца для «Майского утра». Перед этим коммуна в ее свободном развитии доросла до 500 работоспособных членов. В ней строго соблюдался принцип демократии, самоуправления. Совет и председатели ее выбирались из «своих». Все шло нормально. С каждым годом организация все больше и больше расцветала в экономическом и культурном отношении.

Вражда между колхозниками и единоличниками постепенно угасала. Крестьянин – практик. Он верит только делам, фактам, а не голословной агитации. Коммунары понимали это. Они устраивали смычки с единоличниками окрестных сел. В назначенные праздничные дни крестьяне собирались в коммуне. В кратком докладе председатель коммуны знакомил их с историей развития ее экономики и культуры, с хозяйственными успехами. Затем гости обзревали все отрасли хозяйства, жилища коммунаров, школу, детясли, садик, больницу. Напоследок – обед. В летнее время столы, протянувшиеся вдоль длинной березовой аллеи, ломились от блюд с холодцом, жареной рыбой, курятиной, гусятиной, свиной, бараниной; от пышных, белых, душистых каралек. В эмалированных ведрах и тазах пенилась крепкая сибирская медовуха. Перед гостями – тарелки, вилки, ножи и чайные стаканы. Хозяева не обносили гостей круговой чарой, а радушно просили их:

– Не черемоньтесь, сами вживляйте медовушку, сколь душа примет!

– Закусывайте, закусывайте, без совести, как дома!..

– Берите, что кому поглянется!..

За продолжительным обедом следовали – спектакль, концерт хора и оркестра, декламация, танцы и пляски...

Однако кампания ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации вызвала в единоличном секторе смертельный испуг, смятение. Поняв, чем пахнет «сплошная», кулаки и «крепкие» крестьяне злоумышленно резали скот, разматывали имущество. Коммунарам «Майского утра» скомандовали сверху: создать бригады агитаторов и отправить их в села для проведения сплошной коллективизации. По две-три недели эти бригады (автор принимал в них участие) жили не раз в селе Верх-Жилинском и в соседних селах – Косихе и Глушинке, проводя денно-нощно участковые собрания крестьян, призывая и убеждая их организовывать колхозы, на все лады доказывая обреченность «старого». Довольно трудно рождались новые колхозы...

Наша коммуна «разбухла» до 5 000 человек (в ней повторилось вавилонское столпотворение, куда более ужасное, чем при коллективизации 1921 года)! Старые коммунары сначала пытались противиться гигантомании, но это было в районе расценено, как саботаж. Окружные власти также давно косились на «майских» за их смелость иметь обо всем свое суждение и видели в этом влияние «топоровщины». Вот и решили «согнуть нас в бараний рог». Этому способствовало то, что коммуноу обезглавили: окончившего Омскую сельскохозяйственную академию Петра Семеновича Зубкова услали в другой район директором крупного животноводческого совхоза; Ивана Алексеевича Носова забрали в окружной колхозсоюз; а Василия Антоновича Титова – в райколхозсоюз.

Старые коммунары были объявлены политически неблагонадежными. Их снимали с ответственных постов. Навязали коммуноу новый Совет из людей пришлых, неавторитетных, сомнительных. Началась председательская чехарда...

Зима 1930–1931 годов была суровая, а новые руководители огромного, разбросанного, многоотраслевого хозяйства не имели никакого опыта по управлению им. Присланный из Ленинграда секретарь партийки тов. Пискунов,

по натуре милейший человек, ничего не ведал в сельском хозяйстве, а тем паче – в коллективном! Многое пошло прахом! Старые коммунары плакали, видя, как от холода, беспорядка и бескормицыдох скот; как от недогляда телята окоченевали или захлебывались коровьей мочой в желобах скотного двора. Раньше и заведующий этим двором, и доярки, и ночной сторож – точно знали и следили, когда и какая корова будет телиться. Теперь же скотные дворы остались без догляда.

Райцентр как будто сознательно творил разорение коммуны. Он прислал в нее для чего-то дикую проходимку Толстухину на должность женорганизатора. И на неопределенную работу навязал некоего Клевакина. Эти тунеядцы по целым дням только и занимались натравливанием нового сброда на старых коммунаров, которых клеймили позорными кличками: кулаки, оппортунисты, контрреволюционеры. Во время раскулачивания из коммуны изгнали многих честных и трудолюбивых ее членов, искусственно превратив их в кулаков.

А за мной они учинили явный и тайный надзор, как за «язвой здешних мест». Фактически лишили голоса. Коммунаров, заходивших ко мне на квартиру, бичевали, обзывали заговорщиками, подрывниками.

Содом в коммуне дошел до предела, когда все прочли в газетах знаменитую статью «Головокружение от успехов», в которой руководство страны всю вину за катастрофу в сельском хозяйстве свалило только лишь на местных извратителей линии партии (на Нагульновых). Впрочем, выходцам со стороны это не мешало растаскивать славную коммуну «Майское утро» во все стороны.

Но здоровый корень коммуны еще не умер. Чья-то светлая голова назначила нам председателем порядочного и умного «варяга» – тов. Киргетова. Я знал его как хорошего селькора, неоднократно встречался с ним на рабселькоровских съездах и в редакции газеты «Красный Алтай». Киргетов понимал, что старые коммунары – истинно советские люди и что вся жизнь организации шла по правильному пути. Это сознание удерживало его от дальнейших расправ с коммуной, которые настоятельно диктовал ему райцентр.

В конце 1930 года секретарем Косихинского райкома партии избрали Сергея Николаевича Ленкова, культурнейшего и умнейшего человека, способного самостоятельно «глядеть в корень». Он досконально обследовал коммуны «Майское утро» и пресек ее разгром. А конференцию просветителей поразил как-то неожиданной речью:

– Топорова травили, Топорова преследовали, но работу его не понимали. Я же исследовал ее вдоль и поперек, вглубь и вширь... И советую вам, товарищи: идите в «Майское утро» и учитесь у Топорова вести действительно советскую, многостороннюю культурно-просветительную работу...

С тех пор все мои «истребители» прикусили языки. «Карьера» моя стремительно пошла вверх. Меня заочно избрали членом пленума райисполкома и назначили уполномоченным по отгрузке из коммуны ценнейшей пшеницы в государственный семенной фонд. Это поручение райисполкома я выполнил успешно и досрочно...

К нашей беде, осенью 1931 года его перевели в Новосибирский горком партии. И разгром коммуны из райцентра возобновился.

Новый поход на меня возглавил председатель РайКК-РКИ Ожиганов. 9 ноября 1931 года было вынесено насквозь выдуманное, но убийственное постановление этого органа:

«Учителя школы коммуны «Майское утро» А.М. Топорова с работы снять, так как он игнорировал Постановление ЦК ВКП (б) о школе; не составлял рабочих планов, в то же время вел дневник; зажим критики и самокритики и в школе, и в коммуне; не работанность с учительством, недооценка детского коммунистического движения; не организовал школьного самоуправления, голое администрирование, явное извращение задачи самодеятельности искусства на данном этапе.

Предложить району Топорова с работы снять».

Меня и сняли с работы. Мое место занял еще один погромщик, приспособленец и мракобес, безграмотный учитель Константин Петрович Кокорин. Получив диктаторскую власть в коммуне, он прежде всего ликвидировал

«топоровщину», т.е. самоуправление в коммуне, читки, беседы, лекции, спектакли, концерты, изгнал искусство из школы.

В коммуне Кокорин решил уморить голодом и меня, и мою семью. Он запретил выдавать нам продукты. А в те лихие годы их негде было купить! Чтобы поехать в Новосибирск с жалобой на расправу надо мною, я до станции Баюново или Овчинниково, 25 километров, шагал по сугробам с посохом в руках: Кокорин распорядился не давать мне подвод.

От голода семью мою спасла краевая комиссия. Прибыв в коммуну, она предложила председателю ее Мананникову – выдавать семье моей продукты впредь до разбора дела в КрайКК-РКИ...

Под угрозой исключения из коммуны и школы – я приказал взрослым коммунарам и ученикам прекратить всякое общение со мной. Я сидел в квартире, как в изоляторе. Наиболее смелые друзья мои – взрослые и школьники – ночью тайно прокрадывались ко мне, чтобы разделить горе. Некоторые коммунары продолжали читать художественную литературу на дому и приносить мне свои отзывы о прочитанном. Таким способом был нелегально прочитан и обсужден роман Е.Н. Пермитина «Капкан»...

Как ни упрасивали меня сотрудники КрайОно – продолжать работу в Сибири, я не смог преодолеть чувства обиды за перенесенные измывательства. Работа в «Майском утре» была бы для меня невозможна. Всех старых коммунаров обезличили. Бразды правления захватили аферисты, ничего не понимавшие в большом, многоотраслевом коллективном хозяйстве. Демократию и самоуправление свели на нет. И славная коммуна катастрофически покатила вниз.

Первого мая 1932 я простился с нею навсегда...

От той культуры, на почве которой выросли родители космонавта-2 Г.С. Титова и он сам, давно уж нет и следа! Многие мои ученики, окончив специальные школы, получили назначение на работу вне коммуны и в нее уже не вернулись. Вслед за ними растеклись из «Майского утра» и их родители. А с 1934 года ее слили с артелью «Завет Ильича» в селе Глушинка. «Майское утро» стало отделением это-

го колхоза. Таков конец когда-то знаменитой организации. Из ее печальной истории никто не извлек поучительного урока...

Судьба забросила меня далеко – далеко от коммуны, коей я отдал лучшие свои годы и силы. Но жизнь ее всегда интересовала меня. Друзья – сибиряки и ученики сообщали мне о ней, но вести их не радовали. Передо мною – присланная учителем И.С. Болвановым вырезка из Косихинской райгазеты «Трибуна Стахановца» от 7 августа 1953 года. Это – письмо группы членов колхоза «Завет Ильича»:

«МЫ ЖДЕМ ВАС

Яркими красками рисуется совсем недавнее прошлое нашего поселка «Майское утро». Культурная жизнь здесь была ключом. У нас были радио, библиотека. Часто по вечерам проводились лекции на разные темы, читки газет и художественной литературы. На большой высоте стояла художественная самодеятельность.

Все это было. Остались лишь грустные воспоминания.

Секретарь колхозной партийной организации тов. Грецов Н.А. в нашей бригаде бывает редким гостем. Промелькнет на «Победе», даже рассмотреть не успеешь. Ни одной лекции, ни одного доклада не слышали мы от него в текущем году. А колхозники с удовольствием бы послушали хорошую лекцию, особенно о международном положении.

Радио у нас молчит. Газету не каждый выписывает. Да самому, без помощи, подчас нелегко разобраться в прочитанном.

В колхозе имеется замечательный клуб. Заведующего клубом тов. Хмелевца многие из нашего поселка не знают в лицо. Здесь он почти не бывает. Ни концерта, ни постановки нынче мы не видим.

Колхозники любят читать художественную литературу. Еще в прошлом году тов. Хмелевец привез нам книги, но обменивать нам их не собирается. А в Глушинке быть не каждому удастся. Чтобы прочитать произведение в 2–3 тома, требуется целый год.

Кинокартины в поселке демонстрируют редко. А в последнее время кинопередвижки совсем забыли дорогу к нам.

Одним словом, невесело живется в «Майском утре». Не чувствуете ли вы своей вины в том, т.т. Грецов и Хмелевец? Не в этом ли причины наших промахов и недостатков?

Мы ждем вас!..»

А тот самый «кипучий» Яков Матвеевич Ермаков, который в октябре 1917 года брал Зимний дворец, а весной 1918 года вместе мною и Иваном Ивановичем Титовым – преобразил в Косихе магазин купца Кутузова – в районный народный дом, на сцене которого играл во многих спектаклях под моим режиссерством, – нанес мне тяжелую психическую рану очередной «реляцией»:

«ДОРОГОЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ!

...А сейчас никаких оркестров нет в клубах, кроме гармошки. А в вашем культурном «Майском утре» все замерло. А резиденция в Глушинке. Там отвечает гармошка... А вот ваш ученик по музыке Степан Титов живет в Полковникове, играет на всех инструментах, выступает иногда в Косихинском районном доме культуры, ставит спектакли.

Вот что я вам хотел сообщить, дорогой друг Адриан Митрофанович... Прости меня, старика, что плохо написал: стал стар. Стукнуло 21 апреля 81 год...».

Готовя второе издание книги «Крестьяне о писателях», Новосибирское издательство командировало в «Майское утро» редактора Елену Рубеновну Расстегняеву. Об этой командировке она рассказала в письме от 25 июня 1962 года:

«УВАЖАЕМЫЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ!

Несколько задержала свой ответ на Ваше последнее письмо в связи с поездкой в Косихинский район. И вот, возвратившись, спешу Вам написать.

Моя командировка имела в основном две цели. Во-первых, посмотреть и собрать материал о сегодняшнем «Майском утре», чтобы дать его в сопоставлении с очерком А.Д. Аграновского, который мы хотим обязательно сохранить и в новом издании Вашей книги.

К сожалению, все сопоставления с прошлым коммуны оказались весьма не в пользу сегодняшнего «Майского

утра», а значит, и мысль наша о привлечении этого материала в книгу отпала. Но, тем ее менее, для меня лично поездка была очень интересна, хотя уезжала я из этого заброшенного поселка с очень тяжелым чувством. И, наверное, я не написала бы об этом, чтобы Вас не расстраивать, да знаю, что Вам уже все известно из писем Ваших друзей.

Второй моей задачей было разыскать уцелевших еще бывших коммунаров и крестьян-критиков, побеседовать с ними, разбудить в них далекие воспоминания и организовать несколько писем, где бы коммунары рассказали читателям о коммуне, о той огромной культурной работе, которую Вы вели в их дружном коллективе, чтобы они добрым словом вспомнили в письмах своего учителя...

Мне удалось встретиться с Я.М. Ермаковым, И.И. Титовым, Лузянинными, Н.В. Корляковой, А.Т. Пушкиной, И.И. Тубольцевым, П.Ф. Стекачевой. Как видите, многие еще живы, и все очень хорошо вспоминают о Вас, с волнением и сожалением говорят о тех годах, когда им так интересно жилось в коммуне. Все они кланяются Вам и шлют свои приветы...»

А письма моих учеников С.П. Титова, Г.Н. Блинова, М.П. Зверевой, П.Т. Никоновой, видевших полный упадок культуры в коммуне, мне невыносимо было читать*. Я не хочу терзать ими сердце и сейчас...

* В 1987 г. режиссер Р.П. Сергиенко снял на ЦСДФ (Москва) документальный фильм «Майское утро», рассказав о трагической судьбе одной из лучших коммун страны. – И. Топоров.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Сибири я отдал двадцать лучших лет своей жизни и работы. Простившись с нею, вернулся в Европу, «очнулся» в городе Очере, тогда Свердловской, а ныне Пермской области. Преподавал русский язык и литературу в школе – с 1 сентября 1932 года.

Очер числился рабочим поселком, но это был поселок особого рода. Земли, занятые им, в давние времена принадлежали знаменитому уральскому магнату, графу Строганову. После реформы 1861 года хитрый граф, желая прикрепить к заводу рабочих, «осыпал» их своими щедротами: нарезал земельные наделы, луга, пастбища; разрешил пользоваться лесом на топливо и на постройку домов, рубленых конюшен, коровников, свинарников, овчарен, птичников, сеновалов, кладовых, выходов, бань и прочих хозяйственных служб.

Почти каждый дом «рабочего» – сущая крепость. Стены из кондовых бревен, крыши железные или тесовые, заборы высокие, а за ними – злые псы. За двором – широкий огород. В Сибири в годы «великого перелома» таких хозяев, как очерские «рабочие», под метлу бы окулачили и выслали в «места не столь отдаленные».

Мне показалось, что Октябрьская революция вышибла из Очера только графа Строганова да несколько купцов-толстосумов...

Из многих учителей поселка лишь трое пришли из «варягов». Остальные – аборигены, домовладельцы. У директора школы и его жены, учительницы, – двухэтажный домина.

Педагоги-пришельцы – Лебедев, Кононова и я – сразу почувствовали себя в коллективе чужаками. Коллеги-очерцы относились к нам внешне корректно, но с плохо скрываемыми холодком и настороженностью: «Не нашего поля ягоды»...

Директор и его жена бесконтрольно господствовали в школе. Здесь царил атмосфера мертвого штиля, семейственности, подхалимства, взаимопрощения всех и всяческих грешков и преступлений. Педагоги-очерцы жили-были по принципам: «кукушка хвалит петуха...» и «я – тебе, ты – мне». Все язвы в учебной и хозяйственной жизни школы замазывались и лакировались.

Словом, я очутился в типичной глухо-провинциальной тихой и гнилой заводи. Скоро узнал, что в течение всего учебного года, как правило, учителя не проверяли ученических тетрадей. Насаждалась ужасающая безграмотность.

Двенадцать лет подряд директор не выдавал учителям зарплату за два отпускных месяца. Куда девались эти «сбережения», никто не ведал! А чтобы «свои люди» помалкивали, директор, вопреки закону, платил им квартирные деньги, зная, что эти педагоги сдают части своих домов под квартиры. Творились какие-то нечистые комбинации.

Своего тестя, кулака, хозяина большого подворья, эксплуатировавшего до революции сорок рабочих в металлургических мастерских, Пищалкин взял в завхозы школы. Удобно было им воровать государственное добро! Летом 1933 года они украли, например, 220 пудов сена, заготовленного для школьной лошади. Это – кража видимая. А невидимые кражи учету не поддавались...

Меня все это сильно заело. Что делать?! Пройти мимо этих бесчинств в школе совесть не позволяла. Начать борьбу с ними – значит повторить злокозненную сибирскую бучу... Ох, и нелегко же уйти от своего характера! Не вынесла моя селькоровская душа...

На педагогических совещаниях я заговорил о безобразиях в школе. И вот тут-то «пищалкинский» блок зажужжал, как встревоженное осиное гнездо. Меня поддерживал активно один-единственный учитель М.М. Лебедев. Конфликт уже зародился.

Как на беду, в руководящих «сферах», среди школьников и их родителей росла моя «популярность». Очерское «светило» по литературоведению, учитель Д.А. Гусев (тоже владелец длинного двухэтажного дома, приданного жены-купчихи) увидел во мне своего опасного конкурента. Червь зависти точил его душу. Зависть перешла

в ненависть... Видно, и в медвежьих углах водятся свои Сальери..

В «Майском утре» я научился работать с полной отдачей сил и знаний. И в Очере меня поставили в ряд педагогов-ударников. Мне поручались ответственные доклады в школе, клубе и по радио. Проводил я курсы и семинары учителей, школьные вечера. Постоянно консультировал коллег своего куста. Готовил учеников к районной олимпиаде, ставил спектакли, редактировал и выпускал стенгазеты в колхозах. Работал в комиссии по тарификации учителей. По просьбе народного судьи – выступал на суде, заменяя прокурора или адвоката...

В те годы физкультуры и спорта в школах не было. Во время перемен ученики разбалтывались, озоровали и хулиганили. Органы народного образования счастливо додумались до культурного проведения больших перемен. В Очерской школе такие перемены устраивали учитель Лебедев и я. Он – баянист, я – скрипач. Ребята разыгрывали коротенькие веселые пьески, пели соло, хором и ансамблями, декламировали стихи. Мы с Лебедевым исполняли дуэты. В заключение школьники танцевали под нашу музыку. «Культурные перемены» очень нравились молодежи. Озорство исчезло. Но ни в одной другой школе района эти перемены не прививались: не нашлось организаторов их!

Поняв, что злоупотребления служебным положением грозят ему неизбежным скандалом, Пищалкин летом 1933 года добровольно сдал «бразды правления». Их принял А.Г. Логинов. Хрен оказался не слаще редьки. Если Пищалкин по мастерству хищничества был вороном, то Логинов – соколом.

В районе и области верховодили родственники, друзья, собутыльники и небескорыстные покровители Логинова: зав. роно Овчинников, инспектор – родной братец, зав. облоно Перель, его заместитель Сухов, облпрокуроры Лейман и Свалов...

В школе Логинов опирался на парторга и завуча Шиловского и на тех очерских педагогов, которые ходили перед ним на лапках больше, чем перед Пищалкиным. И Логинов благоволил им. Ну, какой же диктатор живет без холуйского окружения?!

Чувствуя за спиной несокрушимую стену, Логинов действовал по правилу «чего моя левая нога хочет». Он также не стал платить учителям отпускные деньги за два месяца. Я написал жалобу Генеральному прокурору СССР. Тот немедленно пресек самоуправство Логинова и тем самым обуздал его местных, районных и областных пособников. Разумеется, теперь все они точили на меня зуб.

Директор и завуч разогнали школьный совет, ликвидировали методическое совещание, зажали педколлектив в ежовые рукавицы, уничтожили критику, установили свой неограниченный дуумвират. В школе стало невыносимо душно. Против этого открыто протестовали двое: Лебедев и я.

Дуумвират взял курс на изгнание строптивых из школы. Но так как в первый же год работы в Очере райконференция просвещенцев признала меня лучшим ударником (говорю об этом не для бахвальства!), то я получил награду – путевку на курорт. Эти факты сильно помешали Логинову и Шиловскому пойти на меня с открытым забралом. Они повели борьбу тихой сапой...

Страна переживала тяжелый продовольственный кризис. Правительство разрешило сельским школам организовать подсобное хозяйство. Очерской школе отвели хорошей земельный участок, дали семена, помогли вспахать, посеять. Завели здесь и свиней.

По инструкции Наркомпроса, 15 процентов от всего урожая выделялось учителям, принимавшим участие личным трудом в полевых огородных работах. Остальной урожай поступал в продуктовый фонд школьной столовой, где дополнительно питались ученики и педагоги, и на корм свиньям и лошадям. Свинина должна была идти в столовую.

Никому никакого отчета о собранном урожае Логинов не давал. Учителя, работавшие на поле и в огороде, за труд получили фигу. Меню в школьной столовой состояло из одного гороха. Никто в ней не видел и свиного хвостика, а не то, что сала. Свиньи «уехали» в район и область!

При школе работали древообделочная и металлургическая мастерские. Продукция их продавалась на рынке, а выручка исчезала в карманах Логинова. Он обнаглел на-

столько, что украл даже 1 704 рубля, внесенные учителями на покупку облигаций госзайма!

И опять я слал петиции Генеральному прокурору СССР и Наркомпросу.

Желая подсесть меня под корень, логиновская коалиция пустила в ход непредвиденный трюк. Дело было в мае 1934 года. Я возвращался из школы. У ворот квартиры меня встретила перепуганная и заплаканная жена:

– Только что были у нас милиционеры. Отобрали пишущую машинку.

Лечу в милицию.

– Почему у меня машинку отобрали?

– Потому что вы не имеете права держать ее.

– Но я литератор...

– Все равно. Это множительный аппарат...

– Дайте ордер на отобрание.

– Никакого ордера! Машинка уже оправлена в Верещагинский райотдел НКВД. (В то время Очер еще относился к Верещагинскому району).

Меня обезоружили!.. Я срочно подал об этом заявление Уполномоченному ЦК партии при Свердловском обкоме партии тов. Л.А. Паперде.

Мне повезло. Леонид Андреевич Паперде – бывший крупный партизанский и партийный работник на Алтае. В 1920 году он заведовал Барнаульским уездным отделом народного образования (УОНО). Я не раз бывал на учительских совещаниях под его руководством. В дни холода, голода и разрухи мы вместе после работы и продолжительных диспутов ночевали в УОНО. Спали рядом, прямо на столах, покрываясь нагольными полушубками. А днем на плитке «жарили» на воде лепешки из грубой ржаной муки, ели их и запивали кипятком без сахара.

Уехав из Барнаула, он приобрел в СССР широкую известность, как выдающийся деятель партии и просветитель Ойротии.

Леонид Андреевич знал меня очень хорошо. Случилось так, что он был моим истинным добрым гением. Когда решалась моя участь в Сибири, он представлял ЦК партии при Сибкрайкоме. Когда меня хотели известить в Очере, он в той же роли работал в Свердловской области.

Мое заявление о конфискации пишущей машинки он препроводил начальнику Свердловского областного управления НКВД Решетову. И через несколько дней к моей квартире подкатила машина Очерского уполномоченного НКВД.

– Вас просят прибыть в Верещагинский райотдел НКВД к тов. Андронову.

Поехали.

Тов. Андронов принял меня очень любезно:

– Извините, что произошла ошибка. Очерцы поступили опрометчиво. Мы им поставили за это на вид... Вот ваша машинка. Она была на замке. Ее никто не трогал. Проверьте... Проверьте... Дайте расписку в получении ее в полном порядке...

И на том же авто меня с машинкой шофер доставил домой.

Неожиданный финал эпизода с пишущей машинкой оглушил моих злодеев. Но они не унимались. О, конечно, теперь аппетит у них на съедение меня разыгрался сильнее прежнего! Ждали случая... И он скоро выпал.

В бывшем купеческом доме поместили две семьи: учителя Лебедева и мою. В кладовке моей половины лежала куча кем-то и когда-то брошенных церковнославянских книг с непонятным текстом, с титлами, с широкими пустыми полями. А у школьников – ни листа бумаги для письма на уроках!! Тетрадей в магазинах не продавали. Я взял церковнославянские книги, разорвал их на отдельные листы, которые и раздал ученикам.

– Пишите, ребята!

Шиловский и «поймал» меня. Отобрал «крамольные» листы у школьников, состряпал донос в роно. И заварилась каша!

10 декабря 1934 года Овчинников издал приказ о снятии меня с работы «за протаскивание в школу классово-чуждой идеологии». Затем мне пришивались те же самые обвинения, которые много раз опровергнуты высшими сибирскими партийными, советскими и профсоюзными органами.

Но 29 декабря 1934 года в журнале «За Коммунистическое Просвещение» появилась заметка:

«Жалобы учителей без ответа.»

В тяжелых условиях приходится работать учителям Очерской средней школы (Верецагинский район, Свердловская область). Директор Логинов не заботится ни о школе, ни о своем коллективе. Наступили морозы. Дрова не заготовлены. В классах холодно и грязно. Мы, школьные работники, уже два месяца не получали зарплату. На требование МК союза о дровах и выдаче зарплаты Логинов и роно отмалчиваются. Обращались мы за помощью и к председателю Верецагинского райпроса Тиунуову, но и он остался безучастным.

Не лучше обстоит дело и с учебно-воспитательной работой школы. Методические совещания педагогов не проводятся. Дисциплина среди учащихся отсутствует, до сих пор в школе нет даже школьного совета. Директор пытается всеми средствами изолировать школу от общественного контроля. Роно все это прекрасно знает, но почему-то поддерживает Логинова, а он продолжает безнаказанно разваливать школу.

Когда же наступит конец такому руководству?

ДЕМКИН, ТОПОРОВ, МОРОЗОВ, ЛЕБЕДЕВ, ЛЕУШИН, ЕВДОКИМОВ».

Эта корреспонденция вызвала смятение в рядах районных и областных заступников Логинова. Они поспешили замаскироваться мнимо-действенной реакцией на сигнал «ЗКП». Овчинников втихомолку, с благословения облоно, сплавил Логинова из Очера, а Сухов укрыл его в тепленьком местечке в городе Красноуфимске.

Тем временем обком партии командировал в Очер своего работника для досконального расследования аферы Логинова, которая подтвердилась целиком.

Вскоре Овчинников распорядился о немедленном восстановлении меня на работе. Да и сам Перель счел нужным запоздало откликнуться своим приказом на происходящее и открыто признал, что Овчинников жульнически премировал Логинова за образцовую работу, тогда как он вел школу к развалу. Но не подумайте, что и впрямь Логинова отстранили в Красноуфимске. Нет, он преспокойно продолжал работать, а облоно берег его под своим крылышком.

Но и без Логинова линию его на извод «возмутителя спокойствия» в Очере гнул Шилковский. Он повел атаку

на моего старшего сына, комсомольца и активного члена учкома. За эту активность ученики из кулацкого отродья в кровь избили его. Шиловский оклеветал сына перед бюро Очерского райкома комсомола (в 1935 году Очер уже был райцентром нового района). Бюро РК постановило исключить моего сына из комсомола «за развал работы учкома».

Наказав для видимости Логинова, облоно однако и пальчиком не шевельнул второго виновника всех мерзостей в школе – Шиловского. Мало того: в новом роно этот проходимец занял пост заведующего роно. О степени его невежества можете судить по документу:

*«Директору Очерской средней школы
т. Павлову.*

На основании облоно предлагаю тов. Топору за время его увольнения вылотить как за вынужденный прогул; в течении 3 дней.

ЗАВ. РОНО А. ШИЛОВСКИЙ».

Приняв эстафету от Логинова, Шиловский науськал на меня всех руководителей Очерского района: секретаря РК Батракова, председателя РИКа Михайлова, райпрокурора Тунева, судью Васильева, членов бюро РК Киприянова и Бурмистрова, директора педтехникума Михееву. Никто из них ранее не видел меня и в глаза.

И начался второй тур выживания «беспокойного» чело- века из района...

Окончен 1934/1935 учебный год. Лето. По кляузной шпаргалке Шиловского, одобренной в облоно, в школе учинили «ревизию» учебно-воспитательной работы. Причем, из 25 учителей терзали только двух: меня и Лебедева. Собственно никакой ревизии не было. Была постыдная трагикомедия. Однако, в местной газете «Сталинский ударник» вскоре была напечатана крикливая статья «Контрреволюционное гнездо в школе», в которой меня и Лебедева поносили словами: белобандиты, троцкисты, контрреволюционеры. Вышел и приказ РОНО об очередном отстранении меня и учителя Лебедева от работы.

Итак, уже дважды меня отрешили от учительства и в Очере!

29 января 1934 года было принято Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР, обязывавшее учителей начальных школ получить без отрыва от производства среднее, а учителей средних – высшее педагогическое образование. Нас с Лебедевым приняли на исторический факультет Пермского пединститута. А в июле следующего года уже перевели на 3-й курс. Дирекция института даже премировала меня за успешную учебу. По распоряжению Наркомпроса, мы с 1 сентября 1935/1936 учебного года были зачислены на стационар с сохранением зарплаты (по закону).

Но не тут-то было! Узнав об этом, очерские мракобесы послали в дирекцию педагогического института насквозь лживые «убийственные» характеристики на нас. Институт нам «улыбнулся».

Битва в Очере затянулась...

Вскоре здесь состоялся судебный фарс по делу Логинова. Приговор: год принудительных работ условно. А перед судом прошла длинная вереница преступлений. Гора родила мышь! Несомненно, что на судью Васильева давил двойной пресс вершителей судеб в районе.

А в сентябре тот же судья постановил – принудительно выселить учителей Лебедева и Топорова с семьями из занимаемых ими квартир. Исполнители этого варварского решения взломали двери в квартирах, повыбросили вещи на двор, перепугали детей, а матерей вогнали в обморок. Мы вызвали фельдшера для приведения их в чувство, а сами побежали к прокурору Туневу – рассказать о погроме. Но он одобрил его. Пришел в кабинет прокурора и судья Васильев. С его непосредственным участием погром довели до конца. Пострадала и учительница Лебедева, которой никто не предъявлял никаких обвинений. Восемь человек были втиснуты на второй этаж разоренного, нежилого дома без окон, дверей, печи, пола, с огромной кучей навоза посередине. В довершение этих «удобств» валил зловонный, ядовитый газ из нижнего этажа, в котором находился склад кожсырья. И ныне здравствующий в Очере фотограф А.В. Нецветаев запечатлел нашу трущобу, а санитарная комиссия составила акт о совершенной непригодности ее для жилья.

Я отправился в Свердловск – искать правду и защиту. Около сорока дней жил в доме работников просвещения – и не мог дожидаться приема у заведующего школьным отделом обкома.

Кинулся к областному прокурору Лейману. Рассказал ему о погроме, разложил на столе фотографии, справку фельдшера и акт санитарной комиссии. Но областной блюститель законности в ответ только ухмылялся и хмыкал. А его подручный Свалов, тем временем, добился отмены приговора Очерского нарсуда над вором Логиновым! Вот как!

И почудилось мне, что от Леймана и Свалова несло густым запахом очерских школьных свиней...

Спасибо, что хоть вопиюще дикое решение судьи Васильева о насильственном выселении учителей из квартир облсуд отменил.

Обо всей очерской издевательской вакханалии мы написали еще одну статью, подтвердив ее неопровержимыми документами. А чтобы очерские шпионы не перехватили материалы, мы переслали их в Москву с оказией – с Т.В. Нецветаевой, приезжавшей в отпуск к брату. Она вручила их известному публицисту-правдолюбу Льву Семеновичу Сосновскому, который уже защищал меня от сибирских Пришибеевых.

24 ноября 1935 года в №273 «Известий» грянул гром: статья Сосновского «Очер – это далеко».

Взбаламутилось очерское болото! Секретарь райкома партии Батраков, который до того не обменялся со мною ни единым словом, попросил прийти к нему.

Прихожу. Он виновато сахаром медовичем рассыпается, разливается передо мною, усаживает в кресло, велит техработникам подать два стакана сладкого чая, угощает сушками, кониной, колбасой и сокрушенно кается:

– Извините, товарищ Топоров, что так скверно вышло!.. Опутали меня проходимцы, обманули... Черт знает, что напели в уши и толкнули на грех... Извините... Но теперь мы докопались, кто такие они сами, эти шептуны... Квартира вам будет на днях готова ... Кушайте, пожалуйста, кушайте колбасу, сушки ... Кушайте!..

Секретарь сказал правильно. Через три дня мы прочли в «Сталинском ударнике» заметку, разоблачавшую пре-

ступную деятельность некоторых из районных руководителей, о которых шла речь в статье Л.С. Сосновского.

И председатель поселкового совета Мощенников завертелся, как бес перед крестом. 20 декабря он прислал мне извещение:

«ТОВ. ТОПОРОВУ.

Квартира для Вашего семейства готова по улице Ленина, №15. Поэтому ставлю Вас в известность для занятия ее с 21 декабря 1935 г.

ПРЕД. П/СОВЕТА МОЩЕННИКОВ».

Наутро он пригнал к трущобе подводу, сам укладывал на нее вещи, а на новой квартире заботливо расставлял их:

– Этот столик вот сюда поставим, детские кровати – сюда, а шкафчик с посудой вот сюда. Тут вам будет удобненько... Живите на здоровьице... До свидания...

На выступление Л.С. Сосновского были еще: отклик центральной печати («Известия» от 23 декабря 1935 г.) и постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б) по Очерскому делу. В итоге – решение Очерского бюро райкома ВКП(б) по делу учителей Топорова, Лебедева и Павлова было отменено, как необоснованное и политически неверное. Та же участь постигла и другое постановление – Президиума Очерского РИКа по этому же вопросу. Я был восстановлен на работе, а зав. районо Шиловский снят с работы и отдан под суд. Осталось только непонятным, почему не сказано было в постановлении бюро обкома о травле и тюремном заключении учителя Лебедева, о восстановлении его на работе.

Однако, выполняя поручение бюро обкома партии, Свердловский облпрокурор Лейман руками своего помощника – пермского городского прокурора Зубовского вступил на дорожку коварного покровительства преступников и сделал все, чтобы они выглядели невинными агентами, а учитель-селькор Топоров – Вельзевулом!

В мае 1936 года выездная сессия облсуда, под председательством судьи Елесина рассматривала в Очере дело Михайлова и Шиловского по обвинению их в организации издевательств надо мною. Судебное следствие с подставными свидетелями (учителями-домовладельцами, которых я критиковал на собраниях и в печати), защищавшими аферистов, клонилось к прозрачной цели – обелить их и

очернить меня. Елесин затыкал мне рот, когда я пытался до конца распутать все плутни предварительного и судебного следствия, продиктованного из областных органов юстиции. Поведение председателя суда возмутило публику. Слушание дела отложили...

Я пожаловался народному комиссару юстиции Крыленко на незаконные действия судьи Елесина и областной прокуратуры...

И уже новые очерские власти приступили к ликвидации последствий расправы надо мною, моим сыном и учителем Лебедевым.

Ведя изнурительную оборону, я одновременно усиленно готовился к сдаче зачетов в пединституте (после отзвов тех подленьких очерских характеристик – меня восстановили на его заочном отделении). В июне был в Перми. Внезапно получил телеграмму:

«Явитесь в облсуд двадцать первого июня для переговоров по вашему делу. Член Верховсуда Петров».

Бросив зачеты, я поехал в Свердловск. Было ясно: нажал наркомюст Крыленко.

Петров запросто поздоровался со мной за ручку, провел в особую комнату, усадил на широченный диван. Сам сел рядом, фамильярно согнул одну ногу калачом и, нагнувшись к моему лицу, деланно доверительным тоном заговорил:

– Выездная сессия, товарищ Топоров, действительно наломала дров, безобразно разбирала дело... За это я уже наказал судью Елесина. Назначу новое рассмотрение дела под председательством компетентного и добросовестного судьи. Но, знаешь что? Давай не будем заводить, товарищ Топоров, шуму...

Я видел, что Петров намерен гасить пожар, со мною дипломатничает, стремясь оградить негодяев. Отрезал ему:

– В облсуде и облпрокуратуре я полной правды не нашел и не найду. Прошу вас об одном: дайте мне спокойно учиться и работать.

В речах Петрова сквозила одна мысль: уймись ты, Топоров, не трогай крупных щук, если даже они слишком прожорливы. Мы для вида накажем несколько ершей – и будь доволен тем...

Переговоры с высоким лицом оказались бесплодными...

20 июля вторая выездная сессия копалась в муторном деле. Председательствовал уже судья Куксов. Это было очередное изымательство над правосудием, но более изощренное, чем елесинское. Михайлов и Шиловский на пару получили полтора года принудительных работ условно. Главные же заправилы травли остались и на сей раз нетронутыми. Они сидели в Свердловске... А очерские «законники» Тунев и Васильев все же были удалены от алтаря Фемиды, но ... за взяточничество!

В Очере так же, как и в Сибири, я вышел из войны с победой. Но это была «пиррова победа». Сколько времени, сил и нервов отняла она!

Не зря я назвал эту главу «Из огня да в полымя»...

ГЛАВА ВТОРАЯ. В ПОИСКАХ ПРИЧАЛА. РАМЕНСКОЕ

По приговору второй судебной трагикомедии, мне причиталось получить с Очерского РИКа 2000 рублей за вынужденный прогул и прочие компенсации. Затянулась злоумышленная волокита с выплатой этих денег. Ей потворствовали мои мстители из Свердловской облпрокуратуры. Раз так, я плюнул на эти деньги, чтобы не остаться не у дел в следующем учебном году. Уехал в Москву, где нашел временное пристанище у алтайского друга Анисима Алексеевича Перкина. Отсюда и делал разведку о местах работы. Тянуло в Воронеж. Поехал туда. Поклонился священным могилам Кольцова и Никитина, но вернулся не солоно хлебавши. Куда сунуться? Вспомнил о большом моем благодетеле Александре Васильевиче Козыреве, который год тому назад, будучи директором Пермского пединститута, премировал меня за успешную заочную учебу. Теперь он, получив звание профессора, возглавлял Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. Я созвонился с ним, рассказал о своем тяжелом положении. Он предложил мне любую из двух должностей – завуча или главного библиотекаря института. Я стал библиотекарем, рассчитывая и на продолжение учебы в институте.

Поселившись в одной из комнат студенческого общежития, я получил от Александра Васильевича задание – создать наглядную историю педагогики всех времен и народов – в форме портретной галереи ее главных представителей с кратким изложением сущности учения каждого из них. С жаром погрузился в эту интереснейшую работу, забыв о посещении достопримечательностей дивного города, который увидел впервые в жизни.

Вызвал семью. Но ни ей, ни мне не «поглянулся» климат Северной Пальмиры. Моросят дожди, сумрак, сонливые пассажиры в трамваях – отшибли охоту жить в ней.

Истекал уже август. До первого школьного звонка – считанные дни. А я с семьей все еще скитался между небом и землей. На вокзале лежали наши пожитки, прибывшие из Очеры. Мы переадресовали их на столицу. Сами – на «Красную стрелу» и туда же! Приткнув семью на Ярославском вокзале, я живо смотался в Московский областной отдел народного образования (МОНО), который помещался в Зарядье. Аллах мой! Что я там узрел!! Настоящую учительскую биржу труда. По комнатам здания, по коридорам, по широкому двору бродили толпы педагогов. Слышались крики:

– В Ногинск нужны преподаватели физики, химии и математики!

– Кто желает поехать в Рузский район? Требуются историки, литераторы, географы и биологи!

– Педагогов всех специальностей принимает Раменский район!

Расспрашиваю у москвичей про районы. На «ура» выбираю Раменский. Беру билет на Казанском вокзале, качу туда на электричке. Близко: 45 километров.

Являюсь в роно. Проникаю к заву. Высокий, тощий и рябой, он бурбонистым басом распекал какого-то школьного директора:

– На носу начало занятий, а у вас печи не сложены! Черт знает что!

Екнуло у меня сердце. Полезли в голову мрачные мысли: «Нарвался под горячую руку; укажет он мне «на порог и на семь дорог».

В кабинет без спросу вспорхнул подвижной, румяный, что яблочко, старичок с портфелем, в пенсне с половинными стеклами.

– Что это ты, Павел Васильевич, расходился сегодня? – обратился он к сердитому заву.

– Да вот посмотрите на него: целое лето дурака валяли, а про школьные печи забыли!

– Павел Васильевич, я же лежал в больнице, – оправдывался директор.

– Ну, ладно, ладно... Пока тепло, можно еще что-то сделать.

– Постараемся, Павел Васильевич.

Директор ушел.

– А вы что? – буркнул зав. мне.

– Заявление о назначении.

Старичок приткнулся к Павлу Васильевичу, фамильярно положил ему на плечо руку и тоже впился глазами в мое заявление. Спустя минуту он вскрикнул:

– Топоров?! Так это не вы ли автор книги «Крестьяне о писателях»?!

– Я самый...

– Батенька мой!! Читал, читал! Удивительная книга!

И старичок обнял меня и облобызал.

– Павел Васильевич, назначай его ко мне...

Потом спросил меня:

– Согласны?

– Конечно!..

– Дам комнату прямо в школе... учительскую отдам.

Так неожиданно я определился в Раменскую среднюю школу № 5 (ныне № 2). А приятный старичок был ее директор Александр Павлович Красильников, ранее работавший инспектором-методистом Наркомпроса РСФСР, милейший, образованнейший человек, знаток и любитель русской словесности, литератор.

Школа № 5 была новостройкой. Классы просторные, светлые. Всюду – блеск! В трех минутах ходьбы от нее – железнодорожная станция. Через каждые 15 минут электричка. А через час езды – Москва.

О больших удобствах я и не мечтал никогда. Личная связь с центральными редакциями улучшила мои лите-

ратурные дела. Беспардонно жадный до музыки, я часто посещал концерты выдающихся советских и зарубежных мастеров искусств. Особенно мне нравились бесплатные концерты студентов Московской консерватории. В левом крыле ее, в 13-й комнате, давали любое количество билетов на эти концерты с единственным условием – привлечь слушателей. И я привозил из Раменского большие группы учителей и школьников в концертные залы консерватории. Чего-чего только не наслушался я там! Программы были необычно обширны и разнообразны, а исполнители – без пяти минут законченные артисты. Многие из них потом стали профессорами, заслуженными артистами...

В Раменском я хотел прижукнуться, но не вышло это. Директор раззвонил обо мне встречным и поперечным. И поперли на мои уроки коллеги, сам Александр Павлович, завуч Богданов и зав. роно Титков. Надоели посетители до зла-горя! Мне поручили преподавание литературы в 8–9 классах (десятого в школе еще не было). Но неожиданно нагрянул приказ Наркомпроса: лицам, не имеющим законченного высшего образования, запретить преподавание в старших классах. Вот те на! А я был «незаконченным». И меня из старших классов – вон! Поэтому из зарплаты 10 процентов – чик!

На мое место в старшие классы прислали дипломированную учительницу. Послушали, послушали ее школьники – и подняли бунт, требуя вернуть им меня. Школьников поддержали их родители. Получилось неловкое положение. Моя заместительница постоянно просила у меня консультации о ведении уроков. Куда деваться? Я не отказывал ей. Добросовестно помогал ей без всякого чувства обиды, даже с удовольствием. Клянусь!.. Я хорошо понимал, что ни она, ни директор, ни в чем не виновны. В жизни бесчисленны случаи, когда польза дела приносится в жертву пустому формализму. Должно, никогда людям не миновать этого.

До приезда в Подмоскovie большая часть моей учительской службы прошла в селах. Тамошние школьники – тихи, робки, почтительны, послушны и застенчивы. А городские – в большинстве – сорванцы. Раменские ребята ошеломили меня после первого же урока. Раздался зво-

нок... Не дожидаясь конца последней моей фразы, они с буйным ревом кинулись к двери класса. Кричу:

– Погодите! Я не кончил!

Куда там! И слушать не хотят. Как будто и не им я кричал. Из всех других классов вырвались в коридор такие же лавины. Престарелые учительницы жались к стенкам, чтобы не угодить в опасный людоворот. У меня с непривычки глаза полезли на лоб. А местным педагогам эта стихия не в диковинку...

Класс 6 «в» слыл самым трудным. При распределении классных руководителей в него-то и пихнули меня раменские коллеги. Нехай новичок поваландается с ним, а нам он до ста чертей обрыд. Принял я обузу. Глянул в классный журнал – все поле усеяно колами, двойками да изредка тройками. Ну, наделили мне «коко с соком»! А отбрыкиваться неудобно. Думал, думал я, как быть, и придумал хитрую, но вполне педагогическую «ловушку». Когда-то и где-то я вычитал, что дети покорно идут за тем учителем, который поразит их каким-нибудь «чудом». Но как поразить «оголтелых»?! Спасибо, вспомнил мудрое высказывание К.Д. Ушинского:

«Внимание есть та единственная дверь нашей души, через которую все, что есть в сознании, непременно проходит; следовательно, этой двери не может миновать ни одно слово учения, иначе оно не попадет в душу ребенка. Понятно, что приучить дитя держать эти двери открытыми есть дело первой важности, на успехе которого основывается успех всего учения».*

Эти слова сохраняют всю свою силу и в отношении взрослых людей. Я пошел на эксперимент – собрал своих подопечных и повел к ним речь:

– Ребята, у вас целый лес колов и двоек. Срам смотреть! Но их можно превратить в пятерки, четверки и, на худой конец, в тройки. И очень скоро. Я знаю секрет, как это сделать. Хотите?

Все вылупили на меня глаза. Одни с искренним удивлением, другие с озорным недоверием, нашелся, мол, чудотвор! На лицах третьих я читал унылое: «Где уж нам исправиться?! Мы уже пропащие».

* «Руководство к преподаванию по «Родному слову». – 1964. – Ч.1 – стр. 53. – А.Т.

- Что замолкли? Хотите получать пятерки и четверки? Смеются, недоумевают.
- А как?
- Скажу, как.
- Затихли. Ждут «откровений».
- Только чур: секрет мой не рассказывать никому в течение одной недели. Выдержите слово?
- Выдержим.
- Честно?
- Честно!

– Ладно ... Все ваши колы и двойки от того, что вы не умеете слушать учителей на уроках, бываете невнимательны. Мысль ученика на уроке должна беспрестанно ловить мысли учителя, все, что он говорит. Представьте себе картину: преподаватель разъясняет, допустим, правило деления дроби на дробь, а ученик в это время смотрит на муху, что ползает по стене. Значит, в голове этого ученика будет муха, а не знание правила деления дроби на дробь. Или другой пример. Педагог рассказывает о походах Александра Македонского, а ученик ловчится щелкнуть товарища по затылку. И будет в голове этого ученика щелчок, а не походы Александра Македонского. Еще пример. Учитель толкует о значении корня в жизни растения, а школьник глазет на велосипедиста, что катит за окном. Конечно, в голове этого школьника будет катить велосипедист вместо понимания значения корня в жизни растения. Даже почесывание уха, носа или другой какой части собственного тела мешает вашей мысли схватывать то, что преподает педагог, затворяет двери в ваши души. Оттого знания туда и не проходят...

Давайте завтра же сделаем такой опыт. Мой урок по литературе будет у вас первым. Возьмите себя в руки всего-навсего на 20 минут, сидите тихо, не шевелясь, не отвлекаясь ничем, смотрите внимательно в мои глаза и слушайте, что я буду говорить. Знаю: трудно будет сначала выполнить это, потому что вы разболтались. Но крепитесь. После я сразу же стану проверять, как вы усвоили все то, что я говорил. Буду спрашивать вас. Вы увидите: все владельцы колов и двоек ответят удовлетворительно, хорошо и отлично. Мы все вместе будем судить по совести, кому

какую отметку ставить за ответы. Все ваши колы и двойки исчезнут ...

Это заинтриговало ребят.

– Попробуем! – закричали они.

На следующий день так и вышло, как я уверял арха-
рцовцев. Оценки давались без натяжки, справедливо. Опыт
удался. В конце урока я напомнил ребятам:

– На моем уроке вы вели себя отлично. Так ведите себя
и на уроках других учителей, и в течение всей недели. Но
никому ни гу-гу о нашем «заговоре»!

В учительской коллеги обращались ко мне с одним и
тем же вопросом:

– Что сделалось с вашим б «в»? Сидят тихо, слушают
внимательно и хорошо отвечают!.. Что такое?!

Я строго хранил «тайну» до условленного срока. Мои
питомцы крепко убедились в значении внимания на уро-
ках. К концу учебного года «трудный» б «в» занял первое
место по успеваемости и дисциплине...

Столетие со дня смерти А.С. Пушкина застало меня в
Раменской школе. На доклады о жизни и творчестве поэта
тягали меня в клубы, колхозы, на педагогические собра-
ния, комсомольские слеты и пионерские костры. Это меня
огорчало: вспомнилось, что досыта я хлебнул уже кислого
за «популярность». Но от себя трудно уйти...

Преподавание музыки и пения, занятия с солистами,
ансамблями, хором и оркестром – трудоемкая и нервная
работа! Как раз за нее-то и припаяли мне в Сибири ярлык
«КР». Грешен: в Раменском я долго скрывал умение играть
на скрипке, организовывать хор и струнный оркестр. Но
как-то вечером неосторожно выдал себя: играл в квартире,
а директор случайно подслушал и зашел:

– Э, голубчик, так вы и вон на что мастер! У нас нет учителя
пения. Скоро зимние каникулы. Планируем 22 елки в классах,
а некому ни спеть, ни сыграть на детских праздниках. Хоть
плач! Возьмитесь, пожалуйста, за пение и музыку! Выручите!

Прилип Александр Павлович, как банный лист. Как от-
казать?! Вот тебе и Подмосковьё! Ни пения, ни музыки в
школах.

Не стал я ломаться, обижать доброго старика. Сдался.
Впрыгся в трудный воз. Сколотил хор. Два паренька брали в

Москве уроки игры на скрипке. Я с ними и составил струнное трио. Елки прошли весело...

17 мая 1937 года я подбивал итоги учебного года. Слышу стук в дверь комнаты. Вошел сотрудник райотдела НКВД района Новиков в сопровождении понятого – предъявил мне ордер на обыск и арест. Перерыв все в чемоданах, библиотеке и архиве, страж госбезопасности изъясил «Азбуку коммунизма» Н.И. Бухарина (по ней я сдавал экзамен в ВУЗе), сборник литературно-критических статей А.В. Луначарского и письма Л.С. Сосновского. Составили протокол обыска и ареста. И повели меня в Раменскую тюрьму, откуда и пролег мой длинный крестный путь по сталинским узилищам.

Судила меня спецколлегия по статье 58, п.10, ч.1 УК РСФСР, т.е. за всю мою советскую культурно-просветительскую деятельность, облыжно названную «антисоветской агитацией». Вновь и вновь была пущена в ход вся гнуснейшая сибирская и очерская клевета, много раз опровергнутая и высокими органами власти, и печатью.

На фарс-суде спецколлегии в черном 1937 году обвиняемому не полагалась защита. А свидетелями выступали только мои заядлые личные враги. Все ходатайства о других свидетелях и документах отменялись. Таково было «правосудие».

Меня приговорили к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующим поражением в избирательных правах на два года...

Если иногда спрашивают меня о самом счастливом дне моей жизни, я отвечаю: это был день 29 октября 1937 года, когда спецколлегия пожаловала мне «пятерку». Я не шучу. Дело вот в чем. Возвратившегося из суда зека (заклученного) товарищи по тюремной камере допрашивали:

– Сколько тебе приварили?

Тот называл срок.

– А сколько было брехунов на тебя?

Ответ.

И чаще случалось так: два, три, четыре лжесвидетеля набрехивали на 12, 15, 18, 25 лет и на «вышку» (расстрел)!

А на меня брехали девятеро!! Я не сомневался, что по лучу вышку или, по меньшей мере, «четвертную» (25 лет).

Но, услышав приговор пять лет, я действительно почувствовал себя счастливым...

От рассказа о пережитом и виденном в шести тюрьмах и двух лагерях и архангельских дебрях я намеренно воздерживаюсь, следуя благоразумному наставлению А.К. Толстого:

*Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим...*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СВОБОДА!!!

Я прошел через Раменскую, Московскую областную, знаменитую Бутырскую, Свердловскую, Пермскую, Вологодскую тюрьмы и через Онежский и Каргопольский исправительно-трудовые лагеря НКВД.

Мой каторжный срок оканчивался 17 мая 1942 года, но никого из осужденных по 58 статье УК РСФСР и честно отбывших незаслуженное наказание тогда не освободили. На их заявления о противозаконном продлении заключения прокурор лагеря отвечал сухо, без всякой мотивировки: «Вы задержаны в лагере впредь до окончания военных действий».

И совершилось второе беззаконие надо мною. Почти целый лишний год просидел я в Каргопольлаге. Но весной 1943 года гитлеровским бандам сломали хребет, и они покатались на запад. Это и было причиной того, что вольнонаемная сотрудница УРЧ (учетно-распределительная часть) Мехреньгского лагпункта Анастасия Андреева прибежала в барак зеков и, сияя, возвестила:

– Топоров, на свободу! Поздравляю!

И добрая душа пожала узнику руку. С тех пор 22 апреля стало для меня праздником – днем моего воскресения из «мертвых».

На оформление выхода за колючую проволоку понадобилось еще три дня. Не могу забыть трогательного наказа мне от юной, синеглазой Жени Дегтяревой, томившейся в

неволе только за то, что Гименей связал ее с незаконно репрессированным советским офицером.

– Товарищ Топоров, – наставляла меня Женя, – когда выйдете за зону лагпункта, – непременно сломайте вот эту ложку и киньте ее обратно в зону, чтобы никогда не попасть в заключение! Обязательно киньте!

И она сунула мне в руку темную, обгрызенную деревянную ложку. Милая, несчастная, невинная красавица! Ей еще оставалось в лагере мучиться четыре года! И какие же заключения извела она?!

В УРЧ разостлали передо мною на столе географическую карту СССР и указали в каких республиках можно «добровольно» выбрать место жительства. Разъяснили, что нельзя ехать в места, где родился, учился, работал. И, конечно, во все режимные точки страны. Таким способом хотели изолировать бывшего «опасного» зека от знакомого ему людского окружения и закрыть доступ к пунктам военно-стратегического назначения. А на что ему эти пункты?!

Ну, раз не пускали в места желательные, то все прочие районы казались мне безразличными. Мой друг по каторге Алексей Петрович Штриков настоятельно советовал ехать в Татарию. В Казани жила его жена. Это обещало мне хоть узкий круг знакомых на новом месте обитания.

25 апреля 1943 года я держал в руках документ:

«СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

Управление Каргопольского

Исправительно-трудового Лагеря

2-й отдел.

25 апреля 1943 г. №2537

Архангельской области Пос. Ерцово.

СПРАВКА

Дана гр. Топорову Адриану Митрофановичу рождения 1891 г. уроженец с. Стойло Старооскольского р-на Курской области ранее не судимого осужденному В/С Спецкол. Свердловского облсуда 29 октября 1937 года по ст. 58-10 ч. 1 УК к заключению в ИТЛ на 5 лет п/п 2 лет, что он по отбытию срока наказания с правом выезда, как инвалид, к избранному месту жительства. Из Каргопольского Лагеря освобожден

22 апреля 1943 года, следует в ст. Казань ж. д. билет выдан до ст. _____ Камско-Устьинский район Там. АССР Каз. Ж.д. Выдано пособие руб. _____ Виду дом на жительство служить не может.

При утере не возобновляется.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 4 ОТДЕЛА КАРГОПОЛЬЛАГА НКВД

(подпись неразборчива).

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА 2 ОТДЕЛА 2 ОТД.

(подпись неразборчива).

Печать.

Фотография».

На фотографии я изображен во всей арестантской красе. Милиция Плесецкого района Архангельской области выделила мне:

«ПРОПУСК № 58

Разрешается гр-ну Топорову Андрияну Митрофановичу проезд от ст. Плесоцкой до гор. Казани Там. АССР. Цель поездки – к месту жительства. Паспорт серии – справка № 2537. Действителен до 25 мая 1943 года.

НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ (подпись неразборчива)».

Разумеется, стиль, орфография и пунктуация приведенных документов сохранены в неприкосновенности...

Прибыв в столицу Татарии, я в неудобоваримом облике направился в Кремль, где в Министерстве народного просвещения работала бухгалтером жена Штрикова, которой я привез от ее мужа обстоятельное письмо о быте лагерных заключенных...

Казанский Кремль был открыт для всех. Разыскивая О.П. Штрикову, я свободно расхаживал по узким коридорам и комнатам со сводчатыми потолками. На меня пахнуло Древней Русью. В памяти всплыли образы Грозного и его рати. Вспомнилась и песня Варлаама «Как во городе то было во Казани» и прочее...

Пользуясь приютом у О.П. Штриковой, я задержался в Казани на неделю. Познакомился с некоторыми достопримечательностями города – университетом, памятником Лобачевскому, домиком, где жил Горький и др. В воскресенье забрел в республиканскую библиотеку имени В.И. Ленина.

Меня судила спецколлегия, между прочим, и за «контрреволюционный»(?!?) опыт крестьянской критики художественной литературы. Участь книги «Крестьяне о писателях» была мне в те годы неизвестна. И мне пало на ум узнать о ней в Татарской республиканской библиотеке.

Зашел я туда в пугающем виде: с выпирающими скулами, длинная борода, лохмы волос на голове, измызганный, измазанный грязью серый плащ, прошедший со мною всю каторгу; на ногах – боты с разинутыми ртами и перевязанные веревочками...

Я взял требовательный листок. Написал на нем свою фамилию, автора нужной книги и ее название. Библиотекарша – хорошенькая татарочка, взяв у меня листок, мотнулась с ним в книгохранилище. Через пять минут она подала мне знакомую книгу в зеленой обложке, на которой расположились фотографии коммунаров «Майского утра», участников нашего «преступного опыта».

Улыбаясь, девушка удивленно спросила:

– Так вы – автор этой книги?!

– Да, я...

– Для чего же вы ее берете?

– Хочу еще раз перечитать, чтобы понять, какое мое преступление заключено в ней. Ведь за эту книгу я отсидел в тюрьмах и лагерях шесть лет... И вот только что вышел на волю...

Девушка сострадательным взглядом окинула всю мою жалкую фигуру.

В читальном зале я с обостренным вниманием проштудировал всю книгу и не нашел в ней ничего достойного пережитых страданий. Возвращая ее, я спросил девушку:

– Не изъята ли эта книга из библиотек?

– Нет, не изъята, но и не выдается всем...

Я не понял этого ответа... Да и вообще на свете много разного «перекабыльства». Два месяца тому назад «Советская Россия» выпустила третье издание моей «крамольной» книги. Воистину неисповедимы судьбы книг и их авторов!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КАМСКОЕ УСТЬЕ

Село это раскинулось на высоком берегу Волги, где она сливается со своей многоводной сестрой – Камой.

Сойдя с парохода, я с трудом взобрался по извилистой дороге на взгорье. Передо мною шумел продуктовый базар, который теперь интересовал меня больше всего на свете: изголодавшийся, исчахший организм диктаторски требовал жратвы...

В лагерях заключенным не платили зарплату, а «милоство» начисляли премиальное вознаграждение (еще одна из форм лицемерия!). Часть его выдавали зеку, а часть клали на его счет как бы в сберкассу. При освобождении зека – с ним производили полный расчет. Некую толику «сбережений» получил и я. Но в Камском Устье мой кошелек стал почти пуст. А цены на продукты ошарашили меня. «Рай», который мне сулил в Татарии А.П. Штриков, оказался мифом. По базару слонялись голодные, как я, толпы беженцев из Москвы, Ленинграда и других городов, временно занятых гитлеровцами.

Я «разорился» на покупку скляночки молока и ржаной пышки. Отошел от базара в сторонку и сел на землю. Хотелось сразу проглотить и пышку, и молоко. Мучительно сдерживая себя, я откусывал от пышки маленькие кусочки и запивал их птичьими глотками молока, скорбно поглядывая, как быстро все-таки понижался уровень вкуснейшей жидкости в скляночке и уменьшался хлебный кружок!

Цены на продукты были для меня вопросом жизни и смерти. Я решил ознакомиться с ними обстоятельно не только в Камско-Устьинском районе, но и в соседних местах. Поэтому не спешил являться в милицию за получением паспорта.

Подкрепившись пышкой и молоком, я поплелся по главной улице райцентра. Она вывела меня на просторный выгон, покрытый ярко-зеленой травкой. День был солнечный, тихий, благоуханный. Широчайшая водная гладь, образованная слиянием Волги и Камы, пламенела. Я разоблачился догола, раскинул на просушку свои арестантские шундры-мундры и разлегся на траве, глядя в безбрежное голубое небо и радуясь свободе. Только вы-

шедшему на волю узнику понятна вся несказанная благодать природы.

Ночевал я в ожидальном зале на пристани. Спал прямо на полу: все диваны занимали многочисленные пассажиры. Здесь и познакомился с тремя освобожденными из тюрем и лагерей. Одинаковая участь скоро сдружила нас. Один из моих новых спутников, державший путь в Елабугу, был отпетым уркачом, прошедшим огни, воды и медные трубы. А с таким в трудные дни не пропадешь. Он повел нас в карточное бюро райисполкома. Молодой и добродушный заведующий его выдал нам хлебные карточки на пять дней, да еще прибавил талоны на обеды в столовой.

В течение этого времени, скитаясь по селу, базару и пристани, я досконально расспрашивал многих людей об условиях жизни и работы в округе. И все они в один голос расхваливали Тетюшинский район. Эти похвалы и потянули меня в Тетюши. Но в моей лагерной справке значилось, что я добровольно избрал для жительства Камско-Устьинский район. Что делать?! – думал я. Ведь я – поднадзорный «враг народа». Самовольный уход в другой район зачтут мне за преступление – и беда неминуема! Пошла в голове круговерть. А посоветоваться не с кем: случайные товарищи уже расплзлись по своим местам... И надумал я действовать по закону: стрельнул на пристань и, договорившись с поваром парохода, зайцем поплыл по Волге-матушке обратно в Казань – к высокому начальству. Сунулся в республиканское управление НКВД. Подал в паспортный отдел просьбу о разрешении мне поселения в Тетюшинский район. Но неумолимый и грозный начальник паспортного отдела Косарев (как забыть эту фамилию?!), возвращая мне документы, рявкнул:

– Сейчас же убирайтесь в Камское Устье, иначе арестуем!

Как ошпаренный, вылетел я из паспортного отдела и мигом – на пристань. Но и там сначала напоролся на «колючий барьер». Старая, костлявая кикимора кассирша не дала мне билет:

– Вы по этому пропуску уже раз проехали от Казани до Камского Устья. Второй раз по нему ехать не положено...

И захлопнула свое окошечко. Я и сел на бобах! Рассказал о своем горе старичку-пассажиру, а он мне:

– Эх, растяпа, да ты валяй к начальнику пристани. Вон его дверь...

Вхожу. За столом сидела солидная дама в служебной форме, в фуражке. Я поведал ей свою «одиссею». Она вскочила со стула:

– Идемте!

Подвела меня к кассе и приказала кикиморе:

– Выдайте ему билет!

– Не положено, – заартачилась было кикимора.

– Выдайте! Я отвечаю...

Вернувшись в Камское Устье, я получил паспорт, но оставаться там не хотел. Еще с неделю волочился по селу, а ночевал по-прежнему на пристани. Как-то осмелился зайти к начальнику милиции попросить разрешения перебраться в Тетюши. Но этот толстяк с бульдожьим рылом отрубил мне:

– Выбрал наш район – и живи тут, не рыпайся... Иди!

Ну, думаю, придется, видно, хватить лиха в этом тырле... Повесил я голову. Плетусь по главной улице. Вижу вывеску: «ПРОКУРОР КАМСКО-УСТЬИНСКОГО РАЙОНА ТАТ. АССР». Дай заверну к прокурору. Что он мне скажет? Зашел. Спрашиваю секретаршу:

– Прокурор принимает?

– Принимает.

Слышу: мелодичный женский голос говорит по телефону в кабинете:

– Ну, как там судите, Валя?

Ответ:

– И сколько насудили?

Ответ:

– Что так мало?! Только 43 года! Мало, мало! Не за что вас там хлебом кормить. А мы вчера наскребли на 76 лет!..

Слушал я этот диалог – и поджилки у меня тряслись. Разговор в кабинете умолк. Я вошел туда и поклонился пышногрудой блондинке 32–35 лет, с высоким по-немецки зачесанным кубом.

– Что скажете?

Выслушав меня, она особенно участливо и просто сказала:

– Знаете что? Идите-ка сейчас к начальнику райотдела НКВД и скажите ему, что я послала вас к нему. Расскажите ему все. Он – человек внимательный. Поймет вас... Не беспокойтесь...

Обрадованный столь благоприятным оборотом дела, я помчался в райотдел НКВД. Начальник, окончив рабочий день, замыкал уже свой кабинет. Вид у него был флегматично усталый. Попросив прощения за беспокойство, я изложил ему свою просьбу. И, к моему вящему удивлению, он спокойно сказал:

– Поезжайте себе на здоровье в Тетюши. Явитесь к начальнику райотдела НКВД тов. Федорову, а я позвоню ему о вас. Вот и все. Не все ли равно, в каком районе вам жить?! Поезжайте ...

Так просто и легко разрешилась терзавшая меня «проблема». Даже при самом драконовском государственном режиме – доброе человеческое сердце найдет возможность для своего проявления.

ГЛАВА ПЯТАЯ. КАШКА

Пароход, на котором плыл я из Казани, причалил к пристани Тетюши. Вступив на берег, я спросил у старика:

– А где же Тетюши?

– Тама, на горе.

– А как пройти в город?

– Ступай вон по лестнице. Иди и иди. А тама, на верху, и Тетюши тебе будут.

Лестница эта, можно сказать, знаменитая. Никогда ни до, ни после я не видывал такой! Крутая, скрипучая, расхожая, с хлипкими, вихляющимися сюда-туда перилами, за которые страшно взяться. Я насчитал 960 ступенек! Сколько же человеческих сердец лопнуло при восхождении по ней! Сколько проклятий слышала она на своем веку!

А глинистый берег, по которому пролегало это ветхозаветное сооружение, был усеян халупами. Черт знает, как они тут держались! Рассказывали, что во время ливней и оползней – некоторые халупы сползли в воду и уплывали. Ходил даже анекдот, будто одна сонная бабка

доплыла на своей печке аж до Симбирска – и только там проснулась...

Одолев лестницу, я запыхался. Захотел пить. Зашел в первый попавшийся дом – попросить кружку воды. На счастье попал на добрых людей – беженцев из Подмосковья. Они сами хлебнули горя. Их было четверо: старуха, невестка и двое ребят (сын старухи был на фронте). Узнав, что я из лагеря, бабушка пособолезновала мне, накормила картошкой, а потом поинтересовалась:

– А ночевать-то тебе есть где?

– Негде.

– Ну, приходи к нам. В квартире тесно у нас, так поспишь в сарае на соломе. Теперь тепло. Мы тебя употай туда проводим, а то хозяева боятся чужих. Такие скареды!

Сарай и был моим пристанищем, пока я осматривался в новых местах.

Тогдашние Тетюши – городок маленький. Весь на виду, как на ладони. Станешь на восточном конце улицы – видеть западный, а с южного конца видеть северный. До революции этот «окуров» славился хлебной торговлей и домостроевским образом жизни его обитателей, остатки которого сохранились и при мне. По одну сторону городка раскинулся ровный, что зеленое полотнище, выгон, а на нем там и сям расселись рядами высоченные амбары былых хлеботорговых тузов...

Ознакомление с Тетюшинским районом я начал с базара, ибо всякий базар дает самую точную характеристику экономики местности.

Ух, ты! Ну и базар был в Тетюшах! Это тебе не Камское устье! Продуктов – завались! И цены на них против камско-устыинских в два-три раза ниже. Значит, здесь жить можно.

Сделав самую важную разведку, я почел долгом явиться к «подлежащему начальству» – к уполномоченному райотдела НКВД Федорову.

В затемненном от жары кабинете сидел за столом, покрытым зеленым сукном, элегантный человек с золотистой шевелюрой и приятным интеллигентным лицом. Он приподнялся и, улыбаясь, спросил:

– Товарищ Топоров?

– Да, тов. начальник.

– Прошу садиться... Мне о вас уже звонили...

Как было не удивиться такому «галантерейному» обращению с «врагом народа», которого давно уже вычеркнули из списка настоящих людей?!

Проверив мои документы и, убедившись, что я не «посехонец», Федоров продолжал со мной беседу в уважительном тоне.

– Так вы хотите обосноваться в нашем районе?

– Если позволите, – да.

– Пожалуйста, пожалуйста! Устраивайтесь на подходящую работу и живите себе на доброе здоровье. В случае какой заминки – обращайтесь ко мне: помогу...

Я поблагодарил Федорова и вышел. Но куда идти? Конечно, на базар. Шатаюсь меж телегами, я расспрашивал мужиков и баб, где в селах нужна чернорабочая сила. Посоветовали наведаться в недалекий колхоз. Я – туда. Вижу: идет пахота. На одном краю поля – большой курень. Зашел в него. На разостланном коврике, скрючив ноги, сидел мурластый татарин в тюбетейке и оплетал сметану и яйца с ситным хлебом. Я спросил его о работе. Ответил по-русски:

– Нету, нету...

Дебелая молодая татарка поднесла мурлану целое блюдо лепешек, вроде коржиков, налила в пиалу чаю, поставила стеклянную банку со свежим медом. Мурлан принялся сокрушать коржики, намазывая их толстым слоем меда.

Я присел у входа в курень и, испытывая муки Танталя, пожирал глазами чревоугодника. Чуть-чуть смутившись, он что-то буркнул татарке по-своему. Та ушла в задний угол куреня – и через минуту подала мне чашку с горошницей. Я живо выбуздал подачку и, сказав «спасибо», потянулся обратно в Тетюши. Заглянул в Дом крестьянина. Аллах мой! И на дворе, и в доме кишмя кишели «кореша» – уркачи и «болтуны», т.е. политические, такие же, как я, недавно выпущенные из узилищ, разбросанных по Советскому Союзу. Этих «отверженных» везде можно узнать по землисто-серым, озлобленным лицам с зеленоватым оттенком, по обтрепанным и замусленным телогрейкам и штанам, по арестантским шапкам, картузам и ботинкам. Некоторые из «доходяг» еле волочили ноги и уныло смотрели на мир осоловелыми глазами.

Я скоро сошелся с вором Федькой Крюковым и с «политиком» Матвеем Рыбкиным. Федька – парень жог, деляга, а Матвей – рохля.

– Айда со мной! – предложил Федька мне и Матвею.

И повел нас по улочкам Тетюш. У ворот чьего-то дома он усадил нас на лавочку:

– Сидите и не мыркайте, а я крутнусь кой-куда...

Скрылся за воротами. Минут через пять вернулся и:

– Айда копать!

Оказалось, Федька подрядился вырыть солдатке погреб за три дня. Харчи ее. Да еще денег на брата по четвертной...

Мы с Матвеем ночевали в амбарушке, а Федька спал с хозяйкой. Ходок! Успел уже приладиться к бабе! После бахвалился:

– Оставляла жить с ней. А на кой ляд мне такая шмара?*

Мы выполнили подряд. Хозяйка рассчиталась с нами по совести и еще в придачу оделила каждого ячменной буханкой. Я сговорил спутников толкнуться в райземотдел. Его заведующий, усасть агроном в вышитой украинской рубахе, ухватился за нас обеими руками:

– Добре, хлопцы, добре! У нас не нынча – завтра – сенокос, а там пристигнет и уборка хлеба. Мужики нужны – во как! Валяйте-ка в колхоз! Только в хороший.

– Знаю, знаю. Вам надо после лагерей подправиться. Пошлю в Кашку. Семь километров отсюда. Будет там и кашка, и масло...

Мы согласились. И следующей ночью, по холодку, двинулись в поселок Кашка, в котором и колхоз носил это идиллическое название. Шли мы лесами и полями. Ночь выдалась тихая и ароматная, с полной луной. Медленно брели бродяги, молчаливо любясь несказанной красотой и величием природы...

Вдруг мы заметили, что вдоль опушки леса скакали нам наперерез два всадника. Один в милицейской форме, другой – в мужицкой одежде. Нагнав нас, милицейский начальник заполошно вскрикнул:

– Стой! Руки вверх!!

Мы стали.

* Шмара – на арестантском жаргоне значит любовница. – А.Т.

- Ваши документы!
- Дали. Проверили.
- Значит, освобожденные из лагерей?
- Да.
- Куда идете?
- Ищем работу. Райземотдел направил в Кашку. Говорят, она где-то недалеко.
- Я – завхоз в Кашке, – отозвался мужик.
- И затем, обратившись к милиционеру, он попросил:
- Товарищ Гусаров, нехай они ко мне идут. Нужны рабочие.

Разговорились дальше – больше. Выяснилось, что на днях с колхозных выпасов воры увели три лошади. Поэтому начальник раймилиции Гусаров и завхоз Кашки Никифор Семенович Кузнецов гарцевали по полям и лесам, разыскивая лошадей и воров. Нас, бродяг, они и приняли за конокрадов. Когда недоразумение рассеялось, Кузнецов уже умолял:

– Пожалуйста, к нам, ребята. Не обидим. Идите прямо – прямо по большаку, а как встретите свороток налево, так по нему и дойдете в Кашку. В конторе скажите, что я вас послал...

Рождение поселка Кашка – одно из свидетельств той несурзаицы, которая творилась в глубинке в годы сталинского произвола. Всех кулаков из голого безводного села (в 12 километрах от Кашки) «сорвали с корня». Сорок пять их семей поселили в таком благодатном месте, которое можно без преувеличения назвать «крестьянским раем».

Поселок огибают две речки. За ними – на взгорьях шумит вековечные девственные смешанные леса, полные малины, диких груш и яблок, терна, черемухи, лещинового ореха, лип, грибов, земляники, клубники, лисиц, зайцев, волков и прочего зверья. Всюду в лесах звенят ручьи из горных источников. Вода их чиста, что хрусталь, вкусна и, несомненно, целебна. Никто не простужался, если пил ее, обливаясь потом на работе в самый палючий летний день.

А на лесных полянах растут буйные травы и цветы в полроста человека. Коси их, кто хочешь, заготовливай сено своим коровам!

Гусям и уткам кашкинцев раздолье на двух речках. А курам и индюшкам веками не переклевать речных жучков, мушек, личинок, червячков и всякой иной птичьей снеди. Птичьи песни не умолкают в лесах и днем, и ночью.

В долине меж холмами, покрытыми дубами-великанами, жалким полднем блаженствуют стада коров и овец. Из горного источника по желобу течет холодная вода в деревянные колоды, из которых пьет скот, когда и сколько хочет.

Я поразился величественным видом этого стойла: он напомнил некоторые библейские иллюстрации Доре...

Огородные полосы кашкинцев тянутся от дворов к речкам. Полив очень удобен. Огородных неурожаев в Кашке не бывает.

Как рачительные хозяева кашкинцы возделывают наилучшие сорта овощей. Картошка у них – в два кулака, белая, рассыпчатая, сверкающая крахмалом. Капуста – кочан до полпуда. Морковь – с детскую руку до локтя. И сладкая-пресладкая! Хрупнешь ее – соком так и обрызнешь лицо. Помидоры – одним наешься, хоть ты какой ни будь обжора. А шляпки подсолнуха – немного меньше кухонного решета.

У многих жителей на огородах стоят маленькие пасеки. Круглый год хозяева лакомятся медом.

В лесах уйма бересклету, этого богатого натурального гуттаперченоса. Сбор его – выгодный подсобный промысел. Государственный заготпункт хорошо платит за бересклет.

Как не благословлять кашкинцам судьбу за ликвидацию их как класса?! Их «выслали» в золотое дно!

Троих «арестантов» из лагерей расставили на квартиры по колхозникам. Я угодил к старикам Ефиму Игнатьевичу и Прасковье Феофановне Мордовчонковым. Им обоим было по семьдесят с гаком. Бабка хоть и одрябла, но держала еще дородность, важность и плавность в походке. На миловидном, слегка морщинистом лице ее еще не совсем потух румянец.

Дед Ефим – как дубовый сутунок: коренаст, приземист, мускулист. Руки сильные. Пальцы толстые, хватистые, с потрескавшейся кожей, похожей на древесную кору. Голос у Ефима песий, басовитый и стремительный. Слегка задымленные седой рыжие волосы на голове и в бороде вились колечками. Чесал он их раз в неделю, придя из бани.

Взгляд рысских глаз Ефима трудно было выносить. Должно, в них не мелькала ласковая искорка даже тогда, когда он держал на руках собственных младенцев. Да и держал ли он их?

Хата, кладовки, завозня, погребница и закуты для коровы и свиньи сляпаны у Мордовчонковых из кондовых бревен – на век! Просторный двор для чего-то разделен надвое. Во всех постройках навалены, натканы, наставлены дубки, ильмы, березы, липы, яблони, груши, клены, черемухи, лещины и другие древесные породы, годные на всевозможные хозяйственные изделия: топоры, вилы, грабли, челноки, гребни, косье, полозья, сани, телеги, колеса, сохи, плуги, цепи, метлы, бороны, лопаты, прялки, донца, калки, рубели и т.д. Всего древесного материала Ефим наворовал на сто лет! Ей-богу! А сухими, звонкими березовыми дровами и вязанками липовых лык забит весь бывший овчарник.

Во дворе Ефима двое ворот: одни на улицу, вторые на огород. Запирались они на засовы, да сверх того слагами.

Сейчас же за воротами в огород Ефим вырыл землянку. Это – мастерская, где тайно по ночам он валял валенки. Он, дьявол, – на все руки мастер! Поодаль от землянки стояли пять рамочных ульев. Дед понимал толк и в пчеловодстве. С каждого улья за лето он брал около полутора пудов меда.

Его породистая, брудастая мышастой масти корова Даренка была сущей молокогонной машиной. Чем только не пичкал ее Ефим! Поспу она не пожирала. И давала молока в день не меньше 24 литров. Опузырилась Прасковья Феофановна от молока! Часто по воскресеньям дед таскал на базар в Тетюши колоды сливочного масла, горшки со сметаной и творогом. Кладовка Мордовчонковых всегда была заставлена кринками с молоком, корчагами со сметаной и маслом, творогом, лозбеньями со свиным кусковым салом.

Бабка Прасковья сама пахтала масло на самодельной маслобойке. Оттого ее масло куда вкуснее любого заводского!

Пока дед и бабка ели сало от зарезанного в прошлом году борова, новый боров на 7-8 пудов кормился в закуте. Лишнее сало Ефим почему-то не продавал на базаре. В кладовке рядом со свежими окороками висели старые, уже

покрывшиеся ржавчиной и вонючие. Бабке это не нравилось. Однажды за обедом она попеняла деду:

– Яхим, покуль же будут висеть старые окорока? Они, чай, тухнут.

– Гм... Покуль? А ты бери их, режь на куски и вари борова. Он слопает...

И резали, и варили, и кормили ими борова! Но ни разу не предложили ни мне, ни беженцам ни кусочка от заржавленного окорока!

Сами старики питались обильно. Обед их состоял не менее чем из пяти-шести блюд. Но блюда эти они отведывали понемножку, из маленьких чашек. Перед каждой смелой обязательно крестились.

Выпарившись в бане, дед и бабка помногу хлестали чай с медом. Но мед расходовали очень экономно. Ефим клал на стол маленькую палочку. Ее поочереди совали в мед и затем облизывали. Запивали чаем. Еще бы! Мед – не квас: хороший хозяин не станет возить его ложкой!

Старики богомольны. В горенки и кутке святые углы заставлены иконами разных размеров. Но, как и все кашкинцы, не исключая женщин и несмышленных детей, Ефим сильно матерился, будь то за едой, в компании, при гостях, при малых детях. Иной раз он матюкался и стоя на молитве. Припоминаю случаи.

За ужином Феофановна поведала деду сенсационную кашкинскую новость:

– Яхим, бабы сказывали: учера у Настасьи Панфиловой кой-то аред с...дил шишнадцать хунтов пошена...

– Ну и х... с ей, с дурой! Клади хлеб надежней. Дур учить надо...

Если идти из Кашки в Тетюши, то изба Мордовчонковых будет предпоследней в поселке. Из ее окон видны жердевая загородка и ворота в поле, на котором зеленела пшеница. Кто-то забыл закрыть ворота, а бродячая телка вознамерилась пробраться через них на пшеницу. Было утро. Ефим стоял на молитве. Завидев телку, он прервал себя на слова: «...Достойно есть, яко воистину, блажити тя, богородицу...», бросился к раскрытому окну и заорал:

– Куда, ты, е... т... м..., лезешь?! Тпруси, шкода проклятая, е... т... м...!

Подоспевший к воротам мальчишка отпугнул телку, а Ефим снова стал перед образами, заканчивая молитву:

«...Присноблаженную и пренепорочную, и мать бога нашего...».

И удивительно: никто из кашкинцев не обижался на матюки, считая их за невинные украшения разговорной речи...

После тюрем, лагерей и странствий жизнь в Кашке показалась мне счастьем. Спал я на сеновале, где до головокружения пахло сеном. Мне установили хороший продовольственный паек на месяц: 18 килограммов пшеничной муки простого размола, килограмм сливочного масла, два килограмма пшена, килограмм гороху, пуд картошки. Ежедневно с молоканки отпускали литр молока.

Как раз я подоспел к началу сенокоса. А косить я умел. Всем косцам полагалось на работе дополнительное питание за счет колхоза. У меня и получилось два продовольственных пайка. Зажил я, что твой пан! Правда, трудно было косить на приволжских лугах: травы густые, высокие, грубые. За литовкой волокутся, путаются. За день так намотаешься, что ночью ломота в руках долго не давала уснуть. Но скоро руки мои обтерпелись, боли утихли...

Главной рабочей силой в колхозе были солдатки, девки, подростки и старики. И поэтому я ходил в цене. Как-никак мужчина! Почти все кашкинцы любили петь. Особенно солдатки и девки. Голоса у них чистые, звонкие. И пели они не унисоном, а на два-три голоса, гармонично. В их пении я впервые услышал дивную «Землянку», в словах и музыки которой верно запечатлены и народная трагедия, и печаль разлуки влюбленных, и сознание неотвратимости жертв в борьбе с врагами рода человеческого – фашистами. Бабы и девки не ведали авторов «Землянки». А я, надолго оторванный от культурной жизни страны, тоже не знал их. Лишь через двадцать лет с лишком я прочел имена творцов бессмертной песни «Бьется в тесной печурке огонь» – поэта Алексея Суркова и композитора Листова. Глядя на ноты «Землянки», я вспоминаю, что кашкинские бабы и девки кое-где вносили в нее прекрасные вариации.

Среди их любимых песен были «Катюша» М. Исаковского – М.Блантера, «Темная ночь» В. Агатова – Н. Богословского и проч., непременно мелодичные, трогательные...

Поняв, что в тетюшинской глуши пропаду с тоски, я задумал купить скрипку. От сенокосной поры сэкономил двенадцать килограммов добротной пшеничной муки. А к тому времени в Тетюшинский район нахлынули новые тысячи беженцев из оккупированных немцами областей. Цены на продуктовом базаре чертовски скакнули вверх! Низкосортная ржаная мука дошла до 4000 рублей за пуд!

Я махнул свою пшеничную муку за 2000 рублей. И в межпарье катнул в Казань за покупкой скрипки. В этом городе было необычно много комиссионных магазинов со всевозможными товарами. Продавали и музыкальные инструменты.

В одном магазине я пробовал неважную скрипчонку. Сюда влетела роскошная красавица в широченной шляпе с зонтиком. Подойдя ко мне, она потихоньку заговорила:

– Если вам нужна порядочная скрипка, – могу дать адрес.

– Пожалуйста!

– Идите на гору. Улица Ленина, дом 39, квартира 6. Спросите Паршиных. Но, чур! Не говорите, что я вас к ним направила. Я – актриса. Живу по соседству с ними... Увидите двух старушек: одна – жена, другая – сестра умершего их мужа и брата. Он играл солистом в оркестре Казанского оперного театра... У Паршиных богатая коллекция смычковых инструментов. Продают... Жить надо ... Зайдите, посмотрите.

Зашел. В тесной квартирке Паршиных на стенах висели скрипки разных размеров, альты. В углу стояла виолончель. На пианино лежала куча нот и струн.

Миниатюрная старушка показала мне скрипку в футляре. При ней два смычка, сурдинка, запасные колки, подставки, души, аккорды струн, комок парижской канифоли и кусок замши. На скрипку накладывалось теплое покрывало. На его оранжевом шелковом поле зеленым шелком вышита лира. Очевидно, на скрипке играл настоящий артист и берег ее, как зеницу ока. Указывая на покрывало, старушка прослезилась:

– Сам покойник вышивал...

Она запросила за инструмент 2000 рублей. Не говоря ни слова, я выложил их. Стыдно было уносить от несчастной, быть может, самое дорогое ее воспоминание...

Вернувшись в Кашку, я уже витал на седьмом небе. Скрипка в моей жизни была спасительницей от всех скверных увлечений, от горя и тоски.

Вероятно, потому, что судьба нещадно колотила меня, я глубже воспринимал музыку минорную: колыбельные песни, элегии, ноктюрны, раздумья и т.п. Их-то я и играл вечерами в избе Мордовчонковых. Ефим уходил в завозню спать, а бабка подолгу слушала мелодии Бетховена, Чайковского, Глинки, Шуберта, Гречанинова, Шумана, Шопена, Венявского... А под «Смерть Оза» Грига она горько заплакала:

– Дюже сумно на сердце от этой песни!.. Про сыновей думается... На войне они. Може, уже погинули... И не увижу их...

Гиганты классической музыки, даже в моем слабом исполнении и без словесных объяснений, проникали в сердце архизаскорузлой старухи! Какие еще нужны доказательства того, что не с примитивов искусства, а с классиков следует начинать эстетическое воспитание низовых трудовых масс?!.. Наряду со сложнейшими композициями у великих музыкантов есть неисчерпаемое море и предельно простых технически, но гениальных творений. Истинно высокому искусству покорны все возрасты, все уровни умственного развития*. Так было, так будет во веки веков!

Под руководством деда Ефима я постиг искусство кладки стогов сена и скирдов ржи, пшеницы, ячменя, проса, овса и гречихи. Мой авторитет рос. Своей вершины он достиг в День урожая, который кашкинцы отмечали очень пышно. К празднику наварили и нажарили рыбы, свинины, баранины, говядины, курятины, утятин, гусятин и индюшатин. Бабы напекли разной разности. Пир шел горой. Присутствовали районные руководители. Три дня и три ночи гремело и сотрясалось помещение конторы колхоза

* Сам Адриан Топоров почти до 90 лет вместе с внуком Володей (будущим выпускником Московской консерватории и известным российским альтистом) играл на скрипке в симфоническом оркестре Николаевской областной народной филармонии. – И. Топоров.

от топота пьяных плясунов и горлопанов. Музыкальный дуэт был центром внимания. С тех пор его известность распространилась до самых Тетюш.

Мои «кореш» Федька и Матвей не выдержали трудового испытания в Кашке. Федька, как тракторист, подался в совхоз за длинными рублями, а Матвей зачах, уплелся в Тетюши и устроился на пасеке потребсоюза...

Почти все кашкинцы по-прежнему остались в душе кулаками, скопидомами и на колхоз смотрели, как на неизбежное зло. Дед Ефим эксплуатировал меня, как ба-трака. Нередко, закончив колхозную работу, я поливал его огород, рубил и пилил дрова в лесу – для бани и хаты, таскал воду на кухню, а корове – пойло, метал сено на сеновал, носил мешки с зерном, полученным им за трудов-ни, а всю осень чертомелил на огороде, убирая урожай с него.

А бывало и такое. Дед брал у «Микишки» (т.е. у завхоза артели) лошадь с телегой, и мы с ним отправлялись ночью в лес. В буераках валили подходящие дубы. Ефим засыпал пеньки землей, чтобы полесовщик не заметил незаконную порубку. Хлысты мы распиливали на сутунки. Надрывая пупы, выпирали эти сутунки наверх и клали их на телегу. Нагрякивали такой возище, что лошадь едва везла его. Таким-то порядком непрерывно пополнялся древесный склад Ефима. За мою «помогу» бабка Прасковья отдавала мне недоеденную похлебку или кашу.

Жадности деда, кажись, не было уему. Я нашел в лесу полянку, поросшую густым красным клевером. В выходной день выкосил ее. Поставил стожок первосортного сена. Ефим заграбастал его себе. А тогда этот стожок стоил ру-блей 700–800!

Случилась следующей зимой беда: у беженки тяжело заболел ребенок. Она не могла для него добыть кружку молока. Я попросил его у Феофановны. Дала, но ... за ог-ромный воз моего клеверного сена! Да еще упрекнула за то, что я напомнил ей об этом сене ...

Пьяный плясун на Празднике урожая, размахнул ру-чищи, вышиб у меня скрипку, а другой кутила раздавил сапогом слетевший с нее подбородник. А без него я отвык играть.

В Тетюшах мне указали старика – татарина, делавшего скрипки. У него нашелся и лишний подбородник. Он уступил его мне, но не за деньги, а за пшеницу. Как раз перед этим я на трудодни получил из первого обмолота ее полпуда. И пшеница была – золото! Хранилась она в кладовке, в Ефимовом мешке. Не подозревая ничего худого, я мешок с пшеницей на спину – и к татарину менять на подбородник.

– Чистая? – спросил тот.

– Конечно!

– Покажите!

– Смотрите.

Раскрыл я мешок, а там озадки пополам с землей!! Черт возьми! Дед подменил мою пшеницу этой дрянью. Сгорел я со стыда. Схватил мешок – домой.

– Дед, зачем же ты подвел меня?! Я же перед татаринком жуликом оказался! Обещал ему хорошую пшеницу, а принес навоз.

– А на што ему добрая пошаница за финтифлюшку? Слопает и снетки.

– Нет уж ... Не могу. Верни мою пшеницу сейчас же!..

Вытряхнул я из мешка снетки. Дед забурчал себе под нос. И нагреб из кадушки чистой пшеницы.

– На, нехай жрет татарва...

Самому матерому кашкинскому «скупому рыцарю» дали прозвище: Федор Богатый. А прозвали его так вот за что. При временном правительстве он накопил большой сундук керенок. А когда они лопнули, Федор оклеил ими все стены своего дома. Я не раз посещал этот своеобразный дом-музей. Богатый задолго до того покинул свои владения и уехал в Астрахань...

Зная, что Кашка – кулацкое гнездо, районное начальство командировало в колхоз председателем (на смену «Микишке») «верного» человека – коммунистку, бывшую учительницу. Но кулаки очень быстро обратили ее в «свою веру». Они позволили ей увести колхозную корову семье в другое село. Туда же председательница то и дело гнала возы с продуктами. Никто из колхозников не возражал ей. У председательницы, разумеется, все больше и больше разыгрывался аппетит на колхозное добро. А кулацкие Ме-

фистофели плели и плели сети вокруг неопытной ротозейки. Скрыли от государства большое количество пшеницы. Это дошло до соответствующих органов.

И зимой афера вскрылась. В Кашку нагрязнула комиссия – проверять наличие зерна. Перевешивали пшеницу, пересыпали ее из амбара в амбар. Я участвовал в этой операции в качестве грузчика.

И что же? Кашкинцы скрыли от государственного учета целый амбар семенной пшеницы! Налицо – страшная улика! Председательницу и кладовщика сняли с работы и отдали под суд. Временным руководителем артели поставили опять же «Микишку» Кузнецова.

Из района строго приказали: ни колхозникам, ни наемным рабочим не выдавать за трудодни ни зерна, ни муки – впредь до окончания следствия и суда... Пропали мои шесть пудов заработанного хлеба! Для меня наступили черные дни, хуже, чем в тюрьмах и лагерях. Если у колхозников имелись – тунный хлеб, коровы, овцы, свиньи, птицы, овощи, то я был гол, как облупленная липка! Отказали мне во всех продуктах. Словом, обрекли на голод за кулацкие грехи...

На узкой и длинной луговой полосе между лесом и речкой колхозники поставили стог сена. В январе–феврале 1944 года ударили 30-градусные морозы, забушевали бураны. Метровый слой снега покрыл землю. Добраться до дальних полевых стогов было невозможно. Скоту грозила бескормица. Колхозники надеялись на стог, стоявший между лесом и речкой, но в низине снегу настрогало еще больше, чем в поле. Лошадям с санями не пробраться к этому стогу.

Правление колхоза надумало составить бригаду из 25 человек. Для «проламывания» дороги к заветному стогу. Голова бригады – я. Пошли. У колхозников на ногах высокие валенки, а у меня дырявые липовые лапти и лагерные отрепья – портянки вместо онуч и чулков.

Шли гуськом, увязая по колено в снегу, ступая след в след. Так люди топали от моста к стогу и обратно весь день. А назавтра по человечесьим следам поехали за сеном на лошадях. Такой борьбы со снежными заносами я до Кашки не видел нигде!..

Дед и бабушка Мордовчонковы смекнули, что от меня им уже мало проку припадало, и удумали выжить невыгодного постояльца. Старички объявили «морозную» войну тараканам и заодно – мне. Растворили в избе дверь, выставили окна. Сами перебрались к невестке. А я куда? Едва умолил тетку Аграфену дать мне уголок до весны. Согласилась, спасибо! А жевать что?!

Тютюшинский леспромхоз вербовал в колхозах рабочих на лесозаготовки. Платил натурой: мукой, пшеном, мясом, картошкой. Я да еще трое ребят-допризывников были сданы колхозом в аренду леспромхозу. В двух километрах от поселка отвели делянку для лесоповала.

В марте неожиданно потеплело так, что снег насытился водой. Бродя по этой каше, я с напарником перевыполнял нормы. Напарник Аркашка питался хлебом, а я, окончив трудовой день, срубал ильму толщиной в руку и волок ее на квартиру. Говорили, что из ее коры пекли лепешки. Дома я ошкуривал ильму, дробил кору, сушил в печке и толок в ступе. Тетка Аграфена пекла лепешки из ильмовой муки. Я ел их. Все нутро палило огнем. Но другого хлеба не было! Картофельные очистки казались несбыточной мечтой! А леспромхоз платил продукты только по сдаче дров. Но этих продуктов хватало лишь на то, чтобы не задирать лытки! Спасла весна. На лещиновых прутьях рано повисли сережки. Я набирал их полное лукошко, клал в горшок и парил их в печке. Подошли и сморчки. Сваренные, они годились в наполнители желудка, но мучили тошнотой...

В жуткие дни голодания я наблюдал возмутительный эпизод, тоже характерный для кашкинских нравов.

Воскресенье ...

Мимо моей квартиры утром «Микишка» Кузнецов вез на тютюшинский базар воз ядреной картошки. Под вечер он возвращался с тем же возом. Я спросил его:

- Никифор Семенович, почему везешь картошку назад?
- А ну их к е... м...! Давали по 700 рублей за ведро. А разве моей картошке такая цена?
- А какая же?
- Тыща рублей ведро!
- Что так дорого?

– По 700 рублей ведро полугнилая идет, а моя, смотри, одна к одной. Как поросята! За зря и не продал. Везу обратно...

– Но где же беженцы наберутся по 700, по 1000 рублей за ведро картошки?!

– Ну, я не солнышко, всех не обогрею...

От голодовки и изнурительной работы я иссох. Написал об этом брату в родное село Стойло. В ответном письме он сообщил, что в их краях можно кое-как перебиться на картошке. Звал меня в Староосколье. Но я же прикреплен был к Тетюшинскому району! Я – политический преступник, за которым смотрит недреманное око. Как быть?!

Я пошел к Федорову, чтобы откровенно рассказать ему о своей беде:

– Товарищ начальник! Посмотрите на мою фигуру и прочтите вот это письмо брата. Положение в Кашке вам известно ... Я издохну там с голоду. Отпустите на родину!..

Обозрел меня Федоров с головы до ног, прочел письмо брата и, немного подумав, решил:

– Поезжайте. Разрешаю.

Передо мной встала новая трудная задача – выудить из колхоза честно заработанные шесть пудов хлеба. Ни райпрокурор, на райземотдел не оказали содействия. Помогла беженка, заведующая торговым ларьком:

– Эх, ты, недотыка! Не ходи ты по районным начальникам, а купи поллитра самогону и залей им глотки Микишке и Гордею – завтра же получишь свои пуды...

Гордей – один из крепышей в Кашке, влиятельный член правления артели, наглый и чванливый человек. Ну, еще бы! Сын служил лейтенантом в раймилиции, а сам Гусаров – частый гость Гордея. Вопреки закону, он резал и опаливал на дому у начальника его свиней. А уж обделявать зарезанный скот никто в Тетюшинском районе не мог лучше Гордея. Недаром он до Советской власти долго маркитанил...

Способ, порекомендованный мне беженкой для получения хлеба, что и говорить, нечист, но он был единственным верным, легко и просто приведшим к цели.

В избе Гордея хозяин и Микишка «раздавили» мою поллитровку самогону, раскраснелись, развеселились. Гордей расщедрился – принес из кладовки брусок свиного сала – на закуску.

И наутро я привез к себе на квартиру три пуда пшеницы, два пуда проса и пуд гороху. До отъезда из Кашки горохом питался сам, а пшеницу и просо продал на базаре, выручив шесть тысяч тогдашних рублей. Враз стал крезом!

Не имея понятия об аккредитивах, я запихал эти бу-мажные капиталы в холщовый гаман и повез его с собою, подвесив через плечо на прочной веревке. Сверху надел плащ. Но гаман заметно оттопыривал правый бок плаща, и это беспокоило: хоть деньги были и дешевые, а уркачи могли меня за них «пощупать»...

До Камышина я плыл по Волге-матушке, а потом на поезде доехал и до Старого Оскола.

Не счесть пережитых железнодорожных приключений!

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДНЫМ ПЕНАТАМ

Фашистские троглодиты почти дотла разрушили мой бывший уездный городок Старый Оскол. На месте домов и храмов я увидел пепелища и огромные кучи кирпичных обломков. Не тронули тевтоны только здание тюрьмы над Стрелецким обрывом. Когда-то рядом с нею возвышался великолепный собор. Как символично было для царской России соседство его с узилищем!

На северном конце городка уцелела оголенная, обшарпанная кладбищенская церковь, некогда утопавшая во фруктовом саду. По обе стороны ее входных ворот смотрели на проходящих потускневшие фигуры святых со строгими лицами и с крестами в руках.

За церковь – кладбище, где покоится прах моего отца и брата Тихона.

Пришел я на Казацкий спуск. С самой высокой его точки передо мною открылась дымчатая даль на запад. Отселе видны: и слобода Казацкая, и села Соковое и Стоило, и деревня Песчанка, и даже Бродок.

Ровная и широкая в дни моего детства полоса шляха взбаламучена, изрыта танками и автомашинами. На обочинах ее уже нет гладких стежек для пешеходов.

Осколец усох, стал канавой. Исчезли высокие, раскидистые осоки, осенявшие в прошлом его берега. Куда-то девались темно-зеленые омота под нависшими кустами. Будто сонные в летнюю пору заводы, сплошь затянутые жирными, лоснящимися «блинами» лилий с белыми и желтыми головками, тоже пропали. Нет и следов от когда-то тучных барских лугов. На их местах простирались унылые, общипанные, кочковатые толоки, по коим бродили тощие коровы и лошади, пархатые телята и овцы.

Не мог узнать я место, где полвека тому назад шумела и стучала толкачами Калмыковская мельница, окруженная прудами, непролазными камышами. Высохли ерики. Сведена ольховая роща.

Жадно, но тщетно искали мои глаза пойму Оскольца около мельницы, некогда покрытую густыми душистыми зарослями черемухи, смородины, куманики и хмеля. Это было излюбленное место ребячьих путешествий с приключениями. Высох и большой пруд помещиков Сухотиных. Вырублена начисто их дубовая вековечная роща. Будто ветры буйные сдули яблони, груши и лещины на склонах горы над Калмыковской мельницей.

Куда ни бросал я взор – меловые горы да хаты «голые», без дворов, мулили глаза.

Долго я стоял на Казацком спуске, грустно озирая оскудевшую окрестность. Зашлось сердце. И тревожила мысль: не зря ли я вернулся к родным пенатам? Но пятиться было некуда! И зашагал я в слободу Казацкую, на Веселую улицу, где жила моя сестра, неграмотная вдова-старуха. В ее глиняной мазанке я и приткнулся.

Начался новый этап в моем житье-бытье. На родине испил я чашу, наполненную медом и ядом. Сестра поведала мне горестную быль: немцы-оккупанты, узнав от местных полицаев о том, что мои родные – жена и два сына – добровольно ушли на фронт воевать против фашистов, разграбили все мое культурное имущество: библиотеку, которую я собирал 35 лет, опубликованные и приготовленные к печати работы, архив, ноты, скрипку. Растащили и последнее барахло. Значит, мне выпало два горошка на ложку: от Сталина – каторга и ярлык «враг народа», а от фашистов – ограбление.

Отступая с воинскими частями, жена едва успела наказать сестре – зарыть в землю мои пенсионные документы и один экземпляр книги «Крестьяне о писателях». Они спасли меня от многих бед и зол.

Курские облсобес и облторготдел предложили старооскольским районным властям «возобновить учителю-пенсионеру А.М. Топорову выплату пенсии и зачислить его на продовольственное и промтоварное снабжение». По карточкам я теперь получал ежемесячно по восемь килограммов фасоли или столько же печеного ржаного хлеба. А Ямская кооперативная лавка выдала мне и промтовары – две мягкие, с пушком, белые портянки. Из одной я сделал пару портянок, а другую превратил в полотенце. И зажил я, что твой кум королю!

В слободе Казацкой люди исстари жили «по-городскому»: в домах полы деревянные и крашенные, стулья, диваны, железные кровати, на окнах тюлевые занавески. Ели из отдельных тарелок. Мясную и овощную снедь не цапали пятерней, а укалывали вилочками. Жидкие блюда хлебали алюминиевыми ложками.

Внешняя культура слегка коснулась и моих односельчан. Но война и крайняя нужда ужасно огрубил их нравы.

В Стойле долго чах безродный мужик Тереха Фетисов. Когда он «загнулся», колхозные ребята взвалили его труп на телегу, привезли к глубокому яру и чебурахнули на дно, как мусор. И все!

Районное карточное бюро помещалось в большой подвальной комнате бывшего особняка купца Кобзева на нижней площади Старого Оскола. Когда я впервые зашел в этот подвал за карточками, то остолбенел: толчея несусветная, рев, споры, драки за очереди к «благодатным» окошечкам. Но вот содом постепенно стих. Что такое?! В подвал ввинтился рыжий детина. Морда розовая, холеная. С какой планеты он свалился?! Одет в шикарное пальто. На голове моднейшая шляпа «а-ля черт побери»!

Толпа раздалась на две стороны, образовав коридор, по которому детина важно проплыл прямо к окошечку. Все удивленно воззрились на великана. Ясно слышался его разговор с девицей, выдававшей карточки.

Повернувшись от окошечка к толпе, он спросил:

– Товаришшы-граждане, не напишет ли мне кто заявление в бюро? Чтобы, значит, хлебные карточки мне выдали на три дни. Мне надеть до Ельца доехать, а карточки все уже вышли. Напишите, пожалуйста!

Я подумал, что великан чудит, и спросил:

– А почему вы сами не напишите заявление?

– Ды я неграмотный. Еду в отпуск с хронту...

Какая-то бойкая бабенка тут же, в углу на столике, написала ему заявление.

Понятно: рыжий детина – один из тех, которые на фронте хапали трофейное имущество и посылали его домой или привозили лично.

Таких хапуг я знал много в селах Староосколья. Одна стойленская баба на дрогах привезла со станции железной дороги длинные, роскошные стенные часы, присланные сыном из Венгрии. Другая получила от мужа из Австрии высокое великолепное трюмо. В хате оно не установилось: низок потолок. Баба на время поместила трюмо в сарае. Вернувшись из стада, корова подошла к диковине и, увидев другую корову, рассердилась. И поперла на трюмо. А из трюмо навстречу ей налезала лупоглазая противница. Разъяренная корова буцнула рогами в трюмо – и оно разлетелось в брызги!

В Казацкой я познакомился с бухгалтером Борисом Ивановичем Чунихиным. Его сын и мой младший сын – товарищи по средней школе. Этот бухгалтер и рассказал мне о том, как погибли рукописи второго и третьего томов моего труда о крестьянской критике художественной литературы:

– Немцы-оккупанты не разогнали наш казацкий колхоз, а назвали его общиной. Мне приказали: «Веди учет трудодней и прочего, а то тебе – капут!». – «Бумаги, говорю, нет для учета». – «А вот тебе и бумага – рукописи, что у Топорова взяли». И притащили мне в контору толстые стопы меловой бумаги. Листы были испечатаны на машинке только на одной стороне. Другая – чистая. «Вот на чистой и пиши трудодни!». Ну, я и писал... Жена моя училась в гимназии. Много читала. Понимала толк в литературе. При немцах она тяжело болела. Не вставала с постели. «Дай, – скажет бывало, – почитать рукописи Топорова!». Я давал, а она мне: «Что ты, Борис, делаешь! Это же ценные литературные

труды, а ты их изводишь на что?!». – «А что я сделаю? Иначе мне – хана».

Вонзил мне Борис Иванович нож в сердце. Видно, будо носить его там до могилы. Но винить невольного грешника не налегает душа. Все попытки мои найти следы рукописей окончились «нетом».

Жизнь все больше и крепче брала меня в клещи. И надумал я пошукать доли на Украине. Езда по железной дороге зайцем, под лавками, на крышах вагонов, на буферах, вместе с мешочниками, с неизменными взятками кондукторам – это же был кошмар! Дивлюсь, как я вытерпел! Исколесил я «край, где все обилием дышит», но не нашел желанного Беловодья.

Попадались учительские вакансии, но как только сотрудники отделов народного образования «докапывались» до того, что я «враг народа», выпущенный из лагеря, – открещивались от меня, как от беса.

В дороге настигла меня еще одна беда: в Кременчуге жулики сперли мой мешок с пожитками. Да спасибо, что среди них нашлись «сознательные» уркачи: оставили мне скрипку.

Вернулся я в Казацкую, «яко благ, яко наг». Но жизнелюбие звало на борьбу «до победного конца».

Засунув в карман колобок толченой фасоли или краюшку ржаного хлеба, я с мешком и палкой в руках брел в лес на сбор фруктов. Ими и кормился. Пареный терн, улежалые сушеные или моченые леснички-груши и яблоки – вкусны, душисты и очень питательны.

Уборка огородов дала мне поденную работу до глубокой осени. Плата – натурой: картошкой, свеклой, капустой, морковью, репой и печеным хлебом. Овощами я запасаю на всю предстоящую зиму. Заработал и по пуду кукурузы и подсолнухов.

В конце огорода сестры была лужайка. Я выкосил ее исполу, поставил два стожка отличного сена. Одним словом, ожил человек.

Зимой 1945 года я поселился в Стойле у вдовы моего младшего брата Авдотьи и племянника Павла. Их хатушка прилепилась на самом юру. Весной ручьи с горы, а летом ливни захлестывали ее.

Павел был хромой инвалид. В детстве у него приключился туберкулез бедра. А тут еще парнишка-озорник стегнул кнутом по глазу Павла и повредил его. Болезнь задержала развитие Павла и прервала его учебу. Но он был способный парень. Имел красивый голос и тонкий музыкальный слух. Я быстро научил его играть на балалайке. Мы часто музицировали с ним. А стойленцы, как я уже говорил, шибко любили музыку и пение. Несмотря на войну, девки и парни устраивали вечеринки, пели, танцевали, играли. Они приглашали на эти вечеринки наш единственный в селе «музыкальный ансамбль» – скрипку и балалайку. Угощали нас с Павлом по горло да еще и деньги платили. Смешон был наш дуэт, но лучшего не нашлось тогда в Стойле. Радовались и ему.

Играли мы и на торжественных собраниях, на выборах в Советы, даже на митинге по случаю победы над фашистской Германией.

Тяжёлое зрелище представлял колхоз родного села. Трудовая дисциплина в нём упала донельзя. Колхозники то и дело отлынивали от нарядов. Патриархальная простота нравов и добродушие сгнули. А политико-воспитательная работа в селе замерла. Клуб опустел. Одинокое стоял он в лощине, всеми забытый.

Воровская зараза охватила почти всех моих земляков. Они волокли все что можно с полей, огородов, из садов и лесов. В колхозном сарае навалом лежало свеженамолоченное зерно. Ночами его караулил полуслепой, глухой 80-летний дед Михайло Сидоракин. Растянувшись на соломе и поставив себе в изголовье чуть мерцающую «летучую мышь», он всегда крепко спал. А в это время колхозницы с подростками приходили в сарай, нагребали зерно, сколько осият унести. Молодежь получала «предметные уроки» расхищения социалистической собственности. Впрочем, эти уроки давал всем колхозникам и сам председатель артели Соколов, присланный из Старого Оскола, известный выжига, не раз судимый рвач, ничего не понимавший в сельском хозяйстве. Он транжирил колхозное добро на подарки начальству, родным и друзьям. Препятствий его «ндраву» не терпел. Разумные возражения объявлял контрреволюцией. Грозил немедленно отправить возражателей «куда следует».

Мне довелось работать на отгрузке яблок из колхозного сада облпотребсоюзу. Брели яблоки из вороха и сыпали в автомашину. Особой бригаде председатель приказал срывать с лучших деревьев плоды и не бросать на землю, а осторожненько класть в корзины. Из корзин яблоки ссыпали в отдельные мешки и клали в кузов машины сверху. Это – презент начальству, родным и приятелям. Пример этот не остался без подражания. Колхозники ловко прятали яблоки под кустами, замаскировывали их листьями и травой, а ножами уносили к себе.

В логу у самой Бугрянки (часть села) очень плодородная земля. На ней колхозники построили парники и разбили большой огород. Но близко не было воды. Ее привозили издалека.

Каждой весной по логу бурлило половодье. Соколов и решил соорудить плотину, чтобы задержать весеннюю воду на все лето для полива огорода. Как старики не доказывали никчемность затеи председателя, он принудил таки колхозников зря чертомелить две недели на стройке плотин. Но первый же напор паводка разнес нелепое «гидроосоружение», как детскую городушку.

Безумное диктаторство Соколова привело колхоз к полному упадку. Травы остались нескошенными, а скотдох от бескормицы. За трудодни колхозники ничего не получали. Росло массовое возмущение. Назревал крах артели. Понимая его неизбежность, начальство сняло самодура с работы и отдало под суд.

Индустрия неотвратимо вторгалась в издревле застойные углы. На бывшей усадьбе господ Калмыковых разросся спирто-водочный завод. К нему подвели железнодорожную ветку от линии, связывающей Южную и Южно-Донскую железные дороги. В длинной прямоугольной оцементированной яме завода хранилась барда, которую продавали населению на корм скоту. Ядовитые отбросы завод спускал в Осколец. Почти всю рыбу в нем отравили. Идешь, бывало, по берегу канавы и видишь: плывут белым пузом вверх издохшие крупные голавли.

Отравлялись на заводе и многие рабочие, стоявшие у чанов со спиртом. Пей его тут, сколько влезет! Контроль и запрет фактически невозможны. Пили безмерно и «сгорали».

Авдотьяна хатушка-развалюшка подвергалась атакам всех стихий природы. Ветер завертывал валом полу-сгнившую соломенную крышу, дождь струился сквозь нее внутрь, образуя на земляном полу лужи. Все мои попытки укрепить крышу деревянными притугами были тщетны. Засучив рукава, я ведрами вытаскивал вон небесную благодать, обернувшуюся для меня бедствием.

В зимнюю стужу жилось мне у Авдотьи не легче. Все стойленцы маялись от нехватки топлива. И потому воровски истребляли леса: свой, бродчанский и государственный, бывший купца Грачева. А как осудишь людей?! Не пропадать же им было от холода!

«Зеленого» друга охранял лесник Федор, «свой брат», стойленец. Жил он в Соковом. Опивал и обирал в своем «царстве» всех без зазрения совести. Самый красивый дом в Соковом – его! Не дом – а картинка! Во всей округе беспардонного взяточника почтительно именовали Федор Петрович. В каждой избе принимали его, как родного, и в любое время дня и ночи. И уж, конечно, на столе перед ним немедленно появлялись поллитровка самогону и яичница.

А хорошо в зимнюю ночь воровать лес! Никто его не караулил. Положив на санки топоры, пилы и веревки, стойленцы и направлялись в леса. Понятно, не скопом, поодиночке и в разные места. И сокрушали дубы, яблони, груши, клены. Мы с Авдотьей тоже грешны. Но раз лесник поймал-таки нас днем. Приказал сложить накраденное около хаты сельсовета. Помедлив немного, Федор ввалился в нашу халупу и разразился филиппикой по моему и Авдотьиному адресу. Но невестка знала, что эти «страсти-мордасти» – инсценировка. Она быстро охладила искусственный пафос «защитника государственных интересов», выставив на стол поллитровку мутного и вонючего самогона, которую и «раздавил» Федор Петрович. А уходя, он для виду все же наказал:

– А ты, Алдокея, не дуже тово ... С умом тяпай...

Так как на идеологический фронт мне были заказаны все пути-дороги, я задумал заняться сельским хозяйством, чтобы подвести хоть какую-нибудь материальную базу под свое житье-бытье.

Как учителю-пенсионеру мне отвели под огород 12 соток колхозной земли. Мой участок лежал рядом с огородом деда Скачка, который к тому же приходился мне родней: его сын женился на моей двоюродной сестре. Дед Скачок и Авдотьиная мать, слепая старуха Федосья, согласились консультировать меня по всем огородным агротехническим вопросам. Бабка, не слезая с печи, наставляла, как, когда и что надо делать на огороде, а дед непосредственно руководил моими трудовыми операциями.

Свободного времени у меня некуда было девать, а работать я люблю. И так я угоил свой участок, что на него завистливо поглядывали исконные землеробы. Не земля, а черная пуховина!

Распланировал я свое земледелие так: шесть соток пустил под «королеву полей», четыре сотки – под картошку, остальное – под разные овощи. Огурцы мои вышли самыми ранними в Стойле. И я предполагал «поджиться» на них. Но мои консультанты проворонили срок сбора – огурцы неожиданно быстро пожелтели, потрескались и потеряли товарный вид. Эх, дьявольщина! Я потерпел первый крах в сельском хозяйствовании.

Еще хуже получилось с кукурузой. Но тут нужно сделать лирическое отступление в сторону старооскольской кукурузы. Нигде ни раньше ни позже я не видывал таких сортов ее! И рисовая, «кобылий зуб», и желтая, и – что особенно поразительно – многоцветная. Початок многоцветной кукурузы – точно разрисован художником. Рядки белых, желтых, коричневых и красных зерен располагались на нем в причудливых сочетаниях. Не початок, а художественное произведение!

А величина початка – тоже диво-дивное: с мою руку от пальцев до локтя. Ей-богу, не вру! Стояла моя кукуруза, что лес! Я думал: ну, запасу зерна! Но перед самой уборкой урожая надежды мои лопнули как мыльный пузырь. В течение нескольких минут. Вот как.

В жаркий день пастух в обед гнал в село коров. И вдруг они бешено ринулись с горы прямо на огороды... Вы видели когда-нибудь коровий зык? О! Это – стихия, которую ничто не может унять. Промчалась обезумевшая рогатая лавина и по моей кукурузе. Сожрала, растоптала, перековеркала

все. Лишь кое-где торчали искалеченные початки. Меня постиг второй провал на сельскохозяйственном поприще.

Однако я не сдался. Занялся животноводством. Но, не имея ни кола ни двора, сначала надумал купить козу: животное небольшое, удобное, кроткое, корму требует мало и неприхотливо к нему. Закута для козы не нужна: поживет пока что в сенях, не стеснит. А молоко козье, по уверениям медиков-пищевиков, куда питательнее коровьего. Словом, все резоны за козу.

Начались поиски ее. Невестка где-то прослышала, что садовод, огородник и пчеловод в Грачевском лесу продает дойную козу. Мы – туда. И наткнулись на сюрприз: хозяин козы Кузьма Иванович Завьялов, толстенный мужик с одышкой, – это же мой товарищ по Каплинской второклассной учительской школе. Это – тот самый бочкообразный Кузя, которого в школе дразнили:

*Кузя, Кузя,
Что у тебя в пузе?!*

Неисповедимы судьбы человеческие! Вот ведь где мы стыкнулись! Через 36 лет!

Сад, огород и пасека в Грачевском лесу принадлежали Старооскольскому кооперативному союзу. Кузьма Иванович жил туз тузом. Великолепный казенный дом в саду, посреди лес, огород, культурная пасека. Кругом – «благорастворение воздуха». Жена красивая, полнотелая, бездетная баба.

Мы вспоминали далекое былое. Обменялись пережитым. Подошли к козе. Оглядели ее. Вся черная, как уголь. Животина зыркала на людей колючими, злыми глазищами.

– Маня, Маня! – ласково успокаивал ее хозяин.

А она, как дикий зверь, шарахалась от него. И хозяйка принялась уговаривать ее:

– Что ты, что ты, милая! Ты не бойся: мы твоих козляток не отнимем. Вишь, она боится за козлят.

Кузьма Иванович зажал Маньку между ног, ухватившись за рога. Только тогда подоили ее. Дали покупателям попробовать молоко. Понравилось.

– А зачем продаете? – спросил я.

– Хотим купить корову, – сказал Кузьма Иванович. – У нас же тут для нее всего хватит.

Купля-продажа Маньки состоялась.

Я верил: люди знакомые, обманывать не станут. Повели мы покупку домой и измучились с ней вконец. Мекекевает, рвется назад, бодается. Того и гляди изуродует. Дома корм не нюхала: объявила голодовку. Доиться не давалась. Как только Авдотья с подойником подходила к Маньке, она осатанело кидалась на нее, как собака, и буцкала рогами. А рожищи крепкие, большие, рубчатые.

Мы влопались. По знакомству нам ввернули зверюгу заместо кормилицы. Отвели ее обратно Кузьме Ивановичу. Он-то знал, почему. Не спорил, вернул деньги. Связи со мной не порвал. Я часто заходил к нему и играл на скрипке. Иногда мы с ним пели дуэт «Не искушай меня без нужды».

В откровенных беседах Кузьма Иванович досадливо жаловался на одно неудобство в его жизни:

– Все у меня идет тут ладно и складно, но начальнички из города то и дело шныряют сюда. И каждый норовит что-то урвать. А рвать тут есть что. Ну, и рвут, а я трясусь: за все отвечаю. В случае какой-нибудь заворошки – меня же под суд упекут, а рвачи будут в сторонке похихикивать.

Опасения Кузьмы Ивановича не напрасны. Однажды я был невольным очевидцем налета начальничка-рвача. Сидим мы у Кузьмы Ивановича за столом, стебаем окрошку. Вдруг слышим: к дому подкатывает сверкающая машина. Хозяин всполошился:

– Вот он: сам начальник райотдела НКВД!

И цап меня за рукав:

– Пойдем, пойдем поскорее. Я тебя спрячу в сарае. Посиди там и в щелку погляди, что будет...

Из автомобиля вышел рослый, стройный и строгий на вид начальник. Хозяева с напускной приветливостью встретили его на крыльце. Какой-то деловой разговор закончился минут через десять–пятнадцать.

Затем Кузьма Иванович в пчеловодной сетке на голове принес с пасеки к машине тяжелую, насквозь светящуюся рамку сотов свежего золотистого меду и вручил ее шоферу. Начальник козырнул пчеловоду, хлопнул дверью и завихрился.

– Видал? – спросил меня Кузьма Иванович, выводя из «засады». – Понял?

– Видал и понял.

– А знаешь, что он мне сказал на пасеке?

– Что?

– Неси это и отдай шоферу... Сам не взял. Не-ет! Хитер. Я, мол, не брал, знать ничего не знаю, брал шофер. А попробуй, не дай – завтра же моего духу тут не было бы!..

И мы пошли доедать окрошку. Он продолжил рассказ о том, как городские начальнички тащили из Грачевского леса, сада, огорода сено, овощи, фрукты и мед. А он и пикнуть не смел против этого хищения, потому что был офицером царской армии, хотя и добровольно перешедшим к красным...

Неудача с Манькой не поколебала моей веры в то, что только от коз пойдет улучшение моего материального положения. Втемяшится же в башку такая бредь! Я нередко бродил по городскому базару, присматриваясь к продаваемым козам, расспрашивал знатоков о признаках высокой удойности этих животных. Раз услышал, как одна баба, продав козу, бахвалилась:

– У меня есть еще одна такая же. Тоже продам. По три литра в день дает. И корова на дворе не нужна при такой козе.

– А не врешь? – спрашиваю.

– Вот те крест! Не веришь – пойдем со мною в деревню, ночуй у меня. Утрешь при тебе подою, гляди и пей молоко. Пойдем, коли добрая скотина нужна.

Пошел я с теткою в деревню Курскую. Ночевал там. Видал дойку. Отведал парного молока. Поглянулись и молоко, и молодая серая козочка Лидка. Отвалил я за нее три тысячи целковых.

Лидка оказалась умненькой, послушной животинкой. Ходила по выгону недалеко от нашей хаты. И обнаружила странные способности: ревниво оберегала халупу, гнала от нее чужих собак, кошек, гусей, кур, телят и ягнят. Удивительная козочка!

Но злой рок неотступно преследовал меня. Не повезло мне и с Лидкой. Отлучился я куда-то на два дня. Возвратился, а Авдотья ревом ревет.

– Что такое?!

– Я Лидку зарубила...

– За что?

– Стояла она возле стены. Стояла, стояла и – хлоп на-земь. Задергалась, закрючилась, будто родимец ее взял. Я бегом к ветеринару Максиму. Он пришел, поглядел и говорит: «У нее заворот кишок. Руби скорей голову, а то вот-вот издохнет». Я – за топор и отмаслячила ей голову.

Съели мы бедную Лидку!

Продолжение следует.

После фашистского грабежа из моего семейного добра остались пальто жены, самовар и швейная машина. Они были спрятаны у брата Дмитрия. Я продал их. Сколотил некую сумму на покупку стельной телки. В моем «перспективном» плане значилось: корова даст много молока, буду сам сыт, накоплю сметаны, творога и масла – и на рынок. Оперюсь.

Нашлись советчики, одоббившие этот план. Свели меня с каким-то аферистом, который будто бы собирался уезжать из Старого Оскола в Воронежскую область и потому срочно ликвидировал свое хозяйство. Продавал он и породистую стельную телку.

Мой стойленский друг Сережа Золотых славился экспертом по коровьей части. Он вызвался оценить достоинства этой телки. Охापал ей бока, шею, морду, под пузом, разнял шерсть на конце хвоста, вкладывал пальцы между ребрами, чтобы определить удои и жирномолочность будущей коровы. В итоге экспертизы последовало заключение:

– Бери, Адриан, будешь с молоком.

Я взял. Ходил за Милкой, как за ребенком. Извелся в заботах о ней. Водил кормить в лесах, оврагах и на межах. Пока она паслась, я рвал траву, набивал ею мешок и пер-домой, раскидывал на крыше хаты для сушки. На зиму таким образом заготовил сена вдосталь. Но скоро чуть-чуть не погиб от Милки.

Пустил я как-то корову на пастьбу в Соковском логу. Она пасется, я сижу себе на полянке и читаю рассказы Бунина. Солнце поднялось уже высоко. Припекло. А я читаю и читаю. И... внезапный удар в висок валит меня, и я теряю сознание. А придя в себя, увидел, что Милка куда-то убежала. Видимо, большой и ядовитый овод ужалил ее, и

она, ища защиты, поднеслась ко мне и саданула в голову. Ощупав лицо, я почувствовал, что верхняя правая челюсть сильно выперла, а зубы не попадают на зубы. Ох, черт возьми, – подумал я, – ведь Милка могла и вовсе укокошить меня. Вот тебе, Адриан, молоко, творог, сметана и масло!

А когда Милка отелилась, то выяснился ее страшный наследственный порок, о котором мне после рассказали знающие животноводы. Если при отеле корове позволят облизать теленка, то она все молоко будет отдавать ему, а людям – фигу. Облизанная при рождении телочка, став коровой, в силу наследственности, тоже будет стремиться облизать свое потомство. Милка при рождении и была облизана матерью, что прохвост хозяин скрыл от меня. Чтобы получить от нее хотя бы литр молока, Авдотья сперва подпускала к ней телка, но и когда насосавшийся теленок отпадал от вымени, она туго отдавала молоко.

Эта канитель измотала мне нервы. Банкротство мое в сельскохозяйственных делах было очевидным. Спустя неделю после увечья я продал Милку на базаре жулику-маркитанту. Расплачиваясь, он сел на площади прямо на землю и умышленно бросал мне тройки, пятерки, десятки, чтобы учинить сумбур. Дул сильный ветер. Воспользовавшись невозможностью точно проверить деньги, жулик обсчитал меня на сто рублей. Хорошо, что не на тысячу!

Да бес с ним! Вероятно, каждый умный богач испытывает райское блаженство, когда освобождается от тягостного бремени огромной собственности. Я таких богачей знал до революции в Барнауле. Это миллионер-кержак Андрей Морозов и мельничный и «электрический» магнат Иван Платонов. Последний исповедовался мне:

– Знаете, человеком я стал, как только советская власть отобрала у меня все имущество. А до революции ни днем, ни ночью не знал покоя. Ей-богу!

Простившись с безрассудной мечтой стать сельским хозяином, я перешел на поденное батрачество. Чертомеллил в колхозе и личных хозяйствах его членов. Зарплата – питание. Другой не брал.

У родного дяди Степана Тихоновича я выполнил такую работу, какой не видывал и в архангельских дебрях в чер-

ные 1937–1943 годы, будучи зеком в исправительно-трудовых лагерях.

Нехватка сена и соломы для коров и овец понуждала стойленцев заготавливать веточный корм. На огороде и лужайке дяди Степана росли высоченные осоко́ри. С них-то и надо было срубить ветки на корм. Но сам старик не мог этого делать. Ему было 80 лет. Он еле-еле волочил ноги, задыхался и годился лишь на командование. Лазать по деревьям пришлось мне. Куда деться? Лазал. Да еще с топором. Одной рукой держался за стволы и сучья, а другой срубал ветки. Теперь дивлюсь, как это я ни разу не грохнулся и не разбился в лепешку. Да, могучая сила инстинкта самосохранения может творить чудеса!

Вспоминается один драматический эпизод из моей лагерной каторги.

Февраль 1942 года. Длительные снегопады завалили железную дорогу между Вологдой и Архангельском. Поезда с продовольствием не проходили. Снегоочистители не помогали. Лагеря были без хлеба. Люди мерли от голода как мухи. И вот пригнали нас, зеков, на железную дорогу – выкапывать паровоз из-под снежной горы. Бушевал буран. Но временами проглядывало необыкновенно резкое, ослепительное, кусучее солнце. И тогда снег быстро превращался в воду.

Вохровцы (военная охрана) подвели зеков к паровозу, наполовину погребенному под снегом. А с обнаженной части паровоза ручьями лила вода. Нам скомандовали:

– Лезьте на паровоз! Мигом!

И я, пятидесятилетний человек, ужасно истощенный голодовкою и каторжной работой на лесоповале, как кошка, взлетел на паровоз. Невесть откуда взялись сила и ловкость. А лазанье по дядиным осоко́рям – да это же шуточка!

В колхозных подсолнечниках всегда изобильно росла повилика. Какая-то особенная: с длиннейшими нитями, заплетавшими землю, и будылья подсолнухов. Я рвал эту повилику и вязанками носил коровам родственников. За это меня подкармливали.

Здорово выручила меня картошка. Тридцать шесть пудов нарыл. Да еще мелочи – отхода для свиней было пудов пять. Телочку Динку, что принесла Милка, я променял

на бычка и зарезал его. Казалось бы, жить да радоваться: казенного хлеба я получал полпуда на месяц, картошка своя, мясо свое. Но я не имел своего помещения для хранения продуктов. Растыкал их по чужим дворам. А уж если спустил с глаз свое добро, – пиши пропало: улечит-ся скоро...

В любых условиях жизни я не отрывался от литературы и искусства. Ими дышал, скрашивал все невзгоды и лишения. Из Стойла регулярно ходил в Старооскольскую районную библиотеку, искал общения с культурными людьми.

Я познакомился с бухгалтером Песчанского спирто-водочного завода Гусевым. Его жена вышла из клерикального рода-племени, окончила епархиальное училище, любила искусство, организовывала в клубе завода хор и театр. Сама – меломанка. Под аккомпанемент моей скрипки задушевно пела «Легенду» Чайковского, «Сожженное письмо» Кюи, «Дитяtko» Пасхалова и другие классические произведения малой формы. Гусевы часто приглашали меня к себе. У них я и впрямь отдыхал душой.

Фашисты уничтожили мою нототеку. И я все чаще и чаще ходил в Старый Оскол в надежде попасть на ноты. (А наш городок исстари был музыкальным). И счастливая случайность подвернулась мне.

Иду как-то по мясному ряду и стреляю глазами по сторонам. В корзине одной женщины мелькнули ноты, на которых лежали куски свежего мяса.

– Постойте, гражданочка! – крикнул я. – Позвольте глянуть на ваши ноты!

Гражданочка простецкая, добрая. Улыбается:

– А на что они вам?

– Интересуюсь. Я немножко музыкант.

– Ну, глядите.

Я извлек из-под мяса весь первый акт оперы «Евгений Онегин». Клавир с партиями.

– Продайте, пожалуйста!

Смеется бабочка:

– Да что вы – продайте. Я вам их даром отдам, коли нравятся. У меня таких нот дома еще пять мешков в кладовке.

Я сражен.

– А кто же вы такая?

– Да жена Кравченко. Разве вы не слышали про Кравченко?! Регент был самый первый в старооскольских церквях. Я сама в его хоре пела. Умер он. Ноты остались. Разные. Много их. Вот я их и расходую туда-сюда. И скрипка мужни-на висит на стене.

– А можно зайти к вам – посмотреть?

– А хоть сейчас пойдете. Я недалече живу.

Пошли. Скрипка меня не прельстила: простенькая. А нот – уйма! Большая часть – церковные. Но много и светской классики. Ксения Павловна подарила мне изрядную кипу нот. На прощание пожелала:

– Беспременно спознайтесь с Сергеем Васильевичем Роменским. Беженец он, из Ленинграда. Ох, какой скрипач! А живет он рядышком с прежним духовным училищем.

В очередной приход в Старый Оскол я посетил Сергея Васильевича Роменского. Это ленинградский адвокат. Жизненные перипетии заставили его переквалифицироваться на педагога-историка. Работал в Старооскольском учительском институте. Жена его там же читала физику и математику. Сергей Васильевич – рафинированный интеллигент и в то же время простой, неотразимо обаятельный человек. На скрипке он играл, как настоящий виртуоз. Мы сдружились. Многочисленные беседы с ним о науке и искусстве были для меня истинной отрадой.

Роменский указал мне адрес учительницы Ивановой. У нее якобы имелась 2-я часть скрипичной школы Берлио, которую я хотел приобрести.

Странно было видеть в разрушенном Старом Осколе аккуратный двухэтажный ошелеванный дом, покрашенный голубой краской и обнесенный дощатым забором. Владельцы его – брат и сестра Ивановы, оба – педагоги. Он еще работал, она – пенсионерка. Ей было лет за шестьдесят. Брат выглядел здоровяком, этаким коммерческим «соколом». Лицо лукавое, «волкодавское», совсем не педагогическое. Ходил он в балахоне, вроде подрясника из добротного зеленоватого сукна. Сестра – приземистая, обрюзгая старуха. Волосы седые и растрепанные, как будто ее только что били, и она не успела причесаться.

Объяснив повод моего прихода, я попросил старуху показать мне ноты. Она рывком схватила ключ со стены и буркнула:

– Пойдемте.

По пути осведомилась:

– А вам что из нот надо?

– Вторую часть скрипичной школы Берио.

– Кажись, была.

Мы вошли в длинный каменный и сырой лабаз. В одном углу его белела куча нот, брошенных как попало.

– Ройтесь, – ткнула старуха пальцем в кучу.

А куча – сущий музыкальный клад. Тут были дореволюционные издания на плотных, будто жестяных, листах, давно уже пожелтевших, волглых и пахнущих плесенью. Долго я копался в гениальных творениях. С нот смотрели на меня И.С. Бах, Бетховен, Глинка, Чайковский, Шопен, Бизе, Паганини, Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Шуберт, Рахманинов, Танеев, Гречанинов, Гуно, Иоахим, Кубелик, Бронислав Губерман, Сарасате, Россини, Доницетти, Шаляпин, Собинов, Лабинский, Нежданова, Антон Рубинштейн, Касторский, Даргомыжский и многие-многие другие корифеи музыкального искусства. Откопал я в куче и желанную скрипичную школу Берио – в черном массивном переплете. На некоторых листах ее виднелись следы мышиных пиров.

– Сколько за эту просите?

– Сто! – отчеканила старуха.

– За что же так дорого? Уступите! Ведь все равно сгниет.

– Не сгниет. Соберусь как-нибудь – и свезу все это в Воронеж на базар. А не продам, – пусть пропадает.

Торг мой со старухой походил на тошнотворный торг Чичикова с Коробочкой. В сквалыжничестве она не отстала от гоголевской героини и выжала-таки из меня сотню за Берио.

Так в маленьком районном городе я увидел два богатейших нотных собрания, которые, несомненно, погибли бесследно. Как много еще у нас дичи, непонимания ценности бессмертного культурного наследия минувших веков! И невольно лезет в голову страшный вопрос: «Где же духовный прогресс масс, которым мы так кичимся?!»...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В ПУТЬ-ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ

Летом 1946 года Украину и всю черноземную полосу РСФСР захватила засуха. Земля потрескалась. Местами в трещинах застревала нога человечья. Жизнь особенно туго прижала бедноту.

Авдотья с Павлом уехали на заработки. Кто ее знает, куда. Я перебрался на квартиру к доброму мужику Андрею Каплину. Хата у него просторная, пол хоть и земляной, но чистый. Семья маленькая: сам, жена Анна и дочь Дуся.

Сбили Андрея с панталыку родственники из города Талды-Кургана Казахской ССР. Долбили и долбили ему в письмах: приезжай да приезжай к нам жить. У нас кукуруза нипочем, свой бык с телегой, возим на нем курай на топливо. Изба теплая, пол из овечьего навозу. Сад есть, яблок – завались! Есть куры, гуси, корова... Приезжайте! У нас воскреснете! Какого ляда вы дохните в своем Стойле!

Уговорил Андрей жену и дочь – переселяться. Искусил и меня. А мне все едино: в Азию, так и в Азию!

Начались сборы в дальний путь. Заранее мы знали, что перед нами встанут многие барьеры. Как их перепрыгнуть или обойти? Над этим вопросом долго ломали головы. Пришли к единственно правильному в тогдашних условиях решению: **совать!** Эту гнусь мы и не считали позорной, ибо везде **совали**. Бытовала эгоистическая философия: шкура дороже высоких моральных принципов.

Правление колхозов, нарушая закон, тормозили отход членов на сторону. Вот тебе и первый барьер был перед Каплиным. Надо **совать!** Андрей – мужик тямкий. Ассигновал на это «мероприятие» килограмм сала от недавно зарезанного боровка и литр самогону. Пригласил на беседу председателя колхоза и счетовода. Беседа протекала в теплой дружеской обстановке. И барьер взят.

Предстояла муторная канитель – добывание метрик жене и дочери Андрея. Первой – из Курска, а второй – аж из сибирского села, где она родилась! Без метрик не выдавали паспорта, а без паспортов в городах не прописывали. Что делать? Ясно: **совать!** Удача первого опыта окрылила Андрея.

Через три двора от его хаты жила секретарь сельсовета, рябая и кривая, но грамотная девка Нюрка. Так ее и звали: секретарь Нюрка. Девка – жох! Всеми делами сельсовета ворочала. Андрей – к ней. И через час-полтора он поднес к моему носу оформленную по всем правилам на казенном бланке – метрику о рождении Евдокии Андреевны Каплиной ... в Стойле! Андрей подмигнул мне:

– Зелененькую* сунул.

Метрику из Курска ждать не захотели. Взяли Анне справку из колхоза. Думали, обойдется и так.

Андрей спешно распродал имущество. Нас пугала самая ужасная задача – получить четыре билета на проезд по железной дороге от Старого Оскола до станции Уш-Тобе Казахстана.

Эпидемия взяточничества гуляла тогда почти беспрепятственно, а на железных дорогах она была настоящим социальным бедствием. Агентура лихоимцев всюду расставила свою паутину. Подсыпалась к Андрею некая пронырливая особа, будто дальняя родственница – седьмая вода на киселе – и нашушукала ему:

– Жена моего брата – заместитель начальника станции. Куда хочешь, она достанет билет...

Мы, разумеется, **сунули** этой особе 300 рублей. Не надо. Перед отъездом мы получили билеты у нее на квартире, вблизи вокзала. Все в порядке!

Днем 31 декабря 1946 года дул пронизывающий до костей ветер. Мы подвезли к багажной платформе вокзала свои пожитки для отправки их малой скоростью. Они лежат возле весов, а приемщик вальяжно слоняется, хищно поглядывая на нас. Видит, что мы ежимся, ляскаем зубами от холода, а он и в ус не дует. Ждет на лапу. Просим:

– Принимайте, товарищ, багаж!

– Успеет еще.

Я Андрею:

– Суй!

Сунул тридцатку. И в ту же минуту наш багаж попал на весы.

* Купюра в 50 рублей до первой денежной реформы. - А.Т.

Подобное повторилось и у приемщицы багажа, который следовал с нами в поезде.

В Москве на Казанском вокзале народу было тьма-тьмущая! Сесть негде. Мы расположились на полу. Сидим и гадаем: когда попадем на поезд? Снуют носильщики с бляхами на груди. Андрей (он уже стреляная птица!) перемолвился с одним из них и ловко ввернул ему «барашка в бумажке». Дело в шляпе. Перекинув через плечо два самых тяжелых наших тюка, носильщик повел нас четверых по залам, коридорам, подвалам и вывел к поезду теплушек, уже битком набитых пассажирами. Должно быть, блатниками.

Поехали стойленцы без всякого компостирования билетов! Три недели скрипели до узловоей станции Арысь. А тут на вокзале – жуть!

Люди на полу тискались и кишели, как черви. Проходов – никаких, за нуждой шагали к дверям прямо по телам и головам. Крик, ругань! Детский плач иглами колет уши...

В путешествии в далекую страну я поплатился за свои невежество и непрактичность. За неделю до отъезда я продал валенки, считая, что в знойной республике они не нужны. Взамен их приобрел легонькие бурки, настеганные на тряпье, и клееные калоши из красноватой резины. Ехали в дырявых вагонах. Их обогревали маленькие печки. Топливо собирали сами пассажиры на стоянках. У печек всегда очереди, ссоры.

Мои калоши оказались предательскими. Испарения от ног резина не пропускала. Они охлаждались, превращались в ледяную броню, которая оковывала мои ноги. Случайное «открытие» избавило их от ревматизма. В вещевом мешке я вез пуховую подушку – остаток бывшего благоденствия. Я сел на нее, поджав под себя ноги и предварительно скинув оледеневшие изнутри калоши. Чувствую: теплота разливается по ногам! И я вспомнил, что птичий пух – надежнейший защитник от холода и хранитель тепла тела, что он спасает птиц даже в Антарктике в самые лютые морозы. «Эх, растелепа! – корил я себя – сколько времени мерз напрасно!»

В Арыси мы долго шоркали пол. Раз я стрельнул на базар и отхватил себе желтые трофейные ботинки номер 45. Зашел в один дом. Представился хозяйке.

– Разрешите погреться и посушить бурки на плите!

– Грейтесь и сушитесь...

Я презентовал доброй хозяйке свои предательские ка-лоши, напялил ботинки на бурки. Обувная проблема была решена.

На поезд, шедший от Арыси до Уш-Тобе, мы попали по-тому, что **сунули** кондуктору.

Один случай на этой дистанции едва не отправил меня «на лоно Авраамово». Как бы зло смеясь над пассажирами, морозы в «знойном» Казахстане дошли до минус 39 граду-сов! Да еще с метелями. На станциях поезд изводил людей многочасовыми стоянками.

На одной из них в наш вагон влез талды-курганец. Он шибко хвалил Талды-Курган. Мы осыпали его расспросами. На следующей остановке он, пригласив нас в свой вагон, скрылся.

И вот новая изморная остановка. Мы с Андреем от-правились к талды-курганцу, но не нашли его. Вернулись. Ищем свой вагон. Найти не можем! А поезд тронулся. Мы – на буфера. На ходу поезд сильно заболтало. Как назло мо-роз усиливался. Буфера и железные прутья у вагонов по-крылись ледяной коркой. Наши руки и ноги окоченели и скользили. Не за что было держаться. Каждую секунду мы рисковали свалиться под колеса. Я уже готовился прыгать на обочину железнодорожного полотна и глазами выиски-вал удобное место, чтобы не напороться на попадавшие металлические стояки. И только я напрягся для прыжка, как поезд стал.

Мы мигом соскочили с буферов и бегом вдоль поезда, крича у дверей вагонов:

– Анна!

– Дуся!

Насилу нашли их...

С Уш-Тобе до Талды-Кургана ехали на автомашине. Без приключений. Только сильно заколели.

Жизнь Андрея у родственников сложилась скверно. Его обобрали, как липку, и вытурили из хаты на все четы-ре стороны света белого. Дуся счастливо вышла замуж за хорошего казаха. А с безграмотной и глуповатой Анной Ан-дрей помыкал горя! Она жила без паспорта. Пряталась от

участкового милиционера. Но и в этом ее положении выручил «барашек в бумажке». И не малый!

Балакая с бабами, она проговорила, что живет без спорта, дрожит день и ночь, и не знает, как быть. А молодая собеседница ей:

– А что же ты, дура, мне про это не сказала прежде? Давно бы ты уж с паспортом была.

– А как?

– Завтра тебе скажу, как. Мой же деверь – лейтенант милиции.

И верно. На следующий день молодайка разъяснила Анне:

– Гони четыре сотни – будешь с паспортом. Все будет честь – честью. Никто не подкопается.

Так и вышло...

В первый вечер по приезде в Талды-Курган Андрей, подвыпив, орал песни с родичами. А мне чудилось в этих песнях что-то зловещее. Предчувствие не обмануло меня. Уж больно плутоватыми показались мне свойственники Андрея...

Каплины и я в черный год неурожая могли бы на родине худо-бедно перебиться. Мы еще не доходили «до края».

А в 1947 году стойленцы взяли небывалый урожай хлебов, овощей и фруктов. Читая об этом письма с родины, мы с Андреем от досады чуть не рвали на себе волосы. Черт попер нас в Талды-Курган голодать и бедствовать!

В этой главке я умышленно говорил откровенно о взяточниках и взяточдателях. Не скрыл я, что и сам давал взятки. Но написал сущую правду-матку. О взятках знают все. К ним прибегают очень многие, но боятся или ложно стесняются признаться в этом.

Я глубоко понимаю, что перед лицом закона равны преступники: и лихоимец, и взяточдатель. Оба они развращают общество.

Взяточничество – отвратительное социальное зло. Все это верно. Но борьбу с этим злом надо начинать с его корней. А корни лежат не в личных качествах индивидуумов, а в каких-то ненормальных условиях общественной жизни. На эти-то условия и следует направлять уничтожающие удары...

Взятка, как наиболее злокачественная личина блата, извечно сопутствовала «культурному» человечеству. Исчезла ли она у нас теперь, в начале второго полувека со дня Октябрьской революции? Увы, нет! Наоборот: проникла во все поры общественной жизни. Даже в литературу – выразительницу совести народной.

Кому же неизвестно, что храм советской литературы превратился в торжище?! Официально уже не раз засвидетельствовано, что наши издательства выпускают «макулатуру большим тиражом»^{*} и таким образом впустую тратят миллионы и миллиарды народных рублей! А сколько общественно полезного времени, сил и материальных средств сжирает макулатура! Почему все это происходит? Да потому, что в издательствах царит приятелизм, т.е. блат, т.е. взяточничество.

Народ фактически не контролирует издателей. Произведения художественной литературы не подвергаются оценке широких низовых трудящихся масс. Их оценивают только профессиональные критики, а народ **безмолвствует**. Отсюда и все беды в самом крупном секторе издательского дела.

Я неискоренимо убежден в том, что **лучшее** из написанного в СССР не опубликовано, а, следовательно, все напечатанное не **лучшее** из написанного...

В наше время формы взятки так многолики и так тонко замаскированы, что остаются совершенно неуязвимы от закона. Одно спасение от лихоимства – это нравственное усовершенствование личности. Но об этом у нас пока что много и бесплодно суесловят, а на деле воздвигают гонения на честных, истинно советских писателей, поборников коммунистической морали. Яркий пример тому – клеветнический «разгром» сочинений А. Солженицына и В. Тендрякова.

Какую сатанинскую эквилибристику лживой мысли высказывают такие истребители правды, совести и чести,

^{*} Е. Агофонков, зам. управляющего Всесоюзным объединением книжной торговли. «Макулатура большим тиражом». «Известия», – 7962, – № 253 от 24 октября 1962 года.

Н. Михайлов, председатель комитета по печати при Совете Министров СССР. «Бумага, рукописи, книги». «Литературная газета» №134 от 12 ноября 1956 года и другие.

аллилуйщики и подхалимы, как В. Иванов и В. Панков! Они беспардонно извращают произведения А. Солженицына, В. Тендрякова, будящие разум и совесть читателя. Они предают на «распятие» этих «рыцарей без страха и упрека», продолжателей заветов Льва Толстого и Достоевского в благородной борьбе за торжество правды, справедливости, совести и человечности.

Тошно и стыдно читать позорное блудословие нынешних инквизиторов честной и смелой мысли

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. В ТАЛДЫ-КУРГАНЕ

Большое село Гавриловка неожиданно было возведено в звание областного центра. С этого момента оно и получило новое, национальное имя – Талды-Курган, по-русски – город, окруженный тополями. Не ручаюсь за точность перевода: казахского языка не знаю. И правда, что тополей в Талды-Кургане много, но еще больше яблоневых садов, где преобладает знаменитый алма-атинский апорт.

Приезжего человека сразу ошарашивает в Талды-Кургане множество собак. Ночами от их тысячеголового бреха как-будто раскалывается небо. Нигде и никогда я не слышал такого грандиозного собачьего хора!

Население Талды-Кургана смешанное: казахи, русские, украинцы и высланные сюда корейцы и чеченцы.

Если вы хотите узнать самое важное и характерное в той местности, куда впервые попали, – идите на базар...

Позавтракав у родичей Андрея Каплина, я прежде всего отправился на талды-курганское торжище. Было воскресенье. Базар шумел вовсю. Солнце слепило глаза, а морозище нажимал и нажимал, в воздухе стоял снежный скрип. Шерсть скота, усы, бороды, ресницы людей, тополя были белы от инея.

Ноги мои скоро начали колеть. Вижу: согбенный старикашка тащит по дороге салазки, на которых лежит мешок. В руках у старикашки железная лопата. Найдя замерзшие коровьи «блины» и лошадиные котяхи, он поддевал их лопатой и сыпал в мешок. Кричу ему:

– Что ты, дедок, делаешь?

– Топку гоношу. Зябнем дюже в хате... Чужие мы. Нечем боле обогреться. Така тут жисть...

А на базаре хваленая кукуруза и другие продукты скакнули в цене так, что к ним и не подступиться!

Интеллигентные беженцы, изможденные голодом, холодом и дорожными муками, носили на руках роскошные платья, шубы, одеяла, шали, зеркала, драгоценную посуду и прочую всякую всячину, предлагая все это покупателям за бесценок.

От всей этой жуткой картины обуяла меня оторопь. И я еще и еще раз проникся смыслом пословицы «Хорошо там, где нас нет».

Лучшие дома Талды-Кургана заняты учреждениями, магазинами и высокопоставленными лицами. Большинство рядовых жилищ – мазанки с земляными полами. Потолки заменены двускатами из сволочков (коротких жердей). Крыши – толстые слои глины, на которых летом нередко вырастает бурьян.

В такой мазанке казаха Муслима я и снял себе приют. В маленькой комнате теснились – хозяин сам-пят и я. Мазанка стояла на болотистом зыбуне. Копни лопатой на два штыка – и засверкает вода! Моя кровать расположилась, должно, над самой хлябью. Через три месяца ее изголовье осеняли какие-то растения, вроде карликовых пальм. Днем кровать служила мне и рабочим столом, и кладовкой, где хранилось мое движимое имущество: одежда, книги, ноты, скрипка.

Отапливалась мазанка одной плиткой. Топливо – курай. О, чтоб его сто чертей сожрали, этот курай!! Это – колючая, высохшая степная трава. Все руки об нее издерешь. И никакие рукавицы не спасают. Ехать за нею надо далеко-далеко. А на ком и на чем ехать-то?! А если и наймешь быка, наломашь воз кураю, – все равно домой не довезешь: на дороге словят колхозники, отберут воз да еще шею намнут...

Как судимый по «страшной» 58-й статье УК РСФСР, я и не пытался снова лезть в «шкрабы». А жить-то надо было как-то. Где искать работу?! Оставалась надежда только на Фортуна: авось, думалось, она сослепу накатит на меня на своем вилючем колесике! И что ж ты скажешь? Накатила-таки!

В Талды-Кургане было три ресторана облпотребсоюза. Самый «фешенебельный» стоял на бойком месте – на базе. Захожу туда. В уголке зала, на эстрадке, баянист в солдатской гимнастерке наяривает «На сопках Маньчжурии». Выпив стакан чаю, я подошел к баянисту:

– Сыграйте, пожалуйста, «Музыкальный момент» Шуберта.

– Не могу. Здесь никакие «моменты» не идут.

Испытующе оглянув меня с головы до ног, он спросил:

– А вы что, музыкант?

– Немножко скрипач.

– Но?!

– Да.

– А нам же до горла нужен скрипач. В городе – ни одного. Не хотите ли со мной на пару?

– Могу.

– Я сейчас директору скажу.

И баянист нырнул в контору. Немного погодя вернулся и:

– Айда к директору!

Пошли. В конторе сидел горбоносый и большеглазый чеченец и щелкал на счетах. Познакомились. Договорились: завтра после закрытия ресторана мне предстояло показать свое искусство.

Экзаменовало меня авторитетное жюри: баянист, чеченец, три официантки и судомойка. Главенствовал баянист. Сначала он осведомился о моем репертуаре. Я назвал ему многое: классику, революционные и народные песни, произведения советских композиторов, танцы и пляски.

– А ну, вальс «На сопках Маньчжурии»! – задал мне баянист.

Я сыграл.

– Ну, а теперь играйте, что хотите.

Я исполнил «Венгерский танец № 2» Брамса, «Легенду» Венявского, «Колыбельную» Годара, «Элегию» Массне, «Канцонетту» Чайковского.

– «Молитву Шамиля» можете? – спросил чеченец.

– Конечно.

Я сыграл и молитву.

– А как учились играть – на слух или по нотам? – полюбопытствовал баянист.

– Учился в школе. Только по нотам.

– Гм... Все ясно. Надо принять такого скрипача.

Чеченец согласился.

Мне положили зарплату 600 рублей в месяц, плюс бесплатное питание в ресторане.

Наутро в квартире баяниста Петра Афанасьевича Фролкина я ближе познакомился с партнером. Это был деревенский самородок. Учился он в баянной школе-мастерской, играл на слух, обладал хорошей музыкальной памятью, но не знал нот. Его репертуар состоял из нескольких незатейливых и пошловатых вещичек, которые обычно визжали в захудалых провинциальных ресторанчиках и пивнушках.

В Талды-Кургане вершиной репертуара любого музыканта и критерием его исполнительского мастерства считался вальс «На сопках Маньчжурии». Его здесь любили все.

Наш дуэт – баян и скрипка – стал известностью в городе. Клиентура ресторана увеличивалась. Правление облпотребсоюза предложило Петру Фролкину и мне обслуживать и второй ресторан, что находился у карагачевой рощи. Днем мы играли в базарном ресторане, вечером – у рощи...

Зимой проходили выборы в Советы. Здание не отапливалось. В нем было так студено, как и на дворе. Мы подрядились играть с первой до последней минуты выборов. Засунув руки в перчатки с отрезанными концами напальчников, чтобы удобнее было играть, прозябнув до костей и не взяв за весь день ни крошки в рот, мы стоически вытерпели нашу маяту. И все это за 150 тогдашних рублей, которые, кстати сказать, с большим скандалом выколотили у нанимателя.

После выборов, поздней ночью, нас пригласили «повеселить» богатую свадьбу.

В набитой гостями хате – жарница! Мочи нет! Свадебная гульба бушевала. За неимением другого свободного места – музыкантов заперли на пуховую постель. Там и потчевали. Из 39-градусного холодища мы попали в пекло. Сидели возле русской печки, к коей нельзя было прислониться: в ней несколько суток подряд пекли, варили, жарили и парили свадебную снедь.

Обрадовавшись случаю пожрать до горла, мы с Петром суматошно ткнули инструменты на печку. А когда, на-

бив курсаки, схватились готовиться к делу, то я еле вырвал скрипку из футляра: от сильного жара лак нижней деки размяк, распустился, она прикипела ко дну футляра и покрылась мелкими пупырышками. И я проклял всю эту свадьбу! Ведь моя скрипка – творение знаменитого пражского мастера Дворжака (не путайте с композитором Антонином Дворжаком).

А тут и второе горе едва не настигло меня на свадьбе, будь она неладна! Заиграли мы «Камаринскую». Пьяные, распотелые, краснолицые мужики и бабы понеслись по хате в буйном плясе, натываясь друг на друга, регоча и гикая. Какой-то дылда размахнул ручищи, вышиб у меня скрипку, и она, злосчастная, полетела над головами пляшущих вон на ту сторону хаты. Екнуло мое сердце. Ну, думаю, в щепки раздавят черти мою единственную кормилицу! Бросился я спасать скрипку. И, о чудо! Ни одна нога не тронула ее! Можете представить мою радость...

На безрыбье и рак рыба. Не было в Талды-Кургане оркестра. Так мы с Петром Фролкиным – оркестр. На первомайской демонстрации мы шли в колонне и играли революционные песни и марши. Так пожелало начальство. Получилось небывалое в городе зрелище. Обычно всюду на праздничных демонстрациях гремят духовые оркестры, а тут – на тебе! Баян со скрипкой. Но что за диво? Недавно я прочел в книге «Давид Ойстрах» И.М. Ямпольского о том, что прославленный одесский педагог-скрипач П.С. Столярский хаживал на праздничные демонстрации со своим скрипичным классом. И выходило здорово! Жаль, что его пример ныне забыт...

Репертуар Петра Афанасьевича Фролкина я легко и быстро освоил. Но он был рассчитан на весьма примитивный вкус. Я не раз убеждал партнера – выучить со мною хотя бы с десяток несложных классических пьес на случай спроса на них в ресторане. Но мой Петр Афанасьевич по лени отнекивался:

– В Талды-Кургане классикой никого не прошибешь.

Но кое-как я уломал его. Свободно владея баяном, он податливо «шел за скрипкой». Спустя неделю наш репертуар пополнился и классикой. Подоспел случай, когда Петр Фролкин убедился в правильности моего предвиденья.

Однажды в ресторан зашла небольшая кампания интеллигентных людей. Тихо беседовала за своим столиком, пила, ела, слушала музыку. Солидный мужчина из этой кампании подошел ко мне:

– А не сыграете чего-либо из классики?

– Сыграем.

– Например?

– Полонез Огинского «Прощание с Родиной».

– Неужели?!

– Да.

– Пожалуйста, прошу!

Мы «отхватили» «Полонез».

– Знаете ли, я приятно удивлен: Талды-Курган – и вдруг «Полонез» Огинского!

Он дал Петру десятку и попросил:

– Сыграйте что-нибудь такое.

Зазвучали «Куплеты тореадора» из оперы «Кармен» Бизе, «Мелодия» Глюка, «Турецкий марш» Моцарта, «Сердце красавицы» Верди, «Сентиментальный вальс» Чайковского, марш из оперы «Норма» Беллини...

И за каждый номер щедрый клиент платил десяткой. Напоследок он сказал:

– У меня жена – пианистка. Любит классику. И я тоже. Я – начальник областного управления сельского хозяйства.

Назвал свою фамилию и предложил развести нас по квартирам на его автомашине.

Мое материальное положение окрепло. Помимо зарплаты, «лабухам» немало перепадало «на чай». Какого еще дьявола надо было? Жить бы да радоваться. Ан – нет! Скоро пришел капут нашей лафе. И все из – за Петьки Фролкина! Он еще до моего приезда в Талды-Курган перешел из рядовых пьянчуг в разряд отпетых алкоголиков.

Я не терплю даже запаха спирта, водки, никотина. А известно, что многие завсегдаи ресторанов – это прожигатели жизни, забулдыги, наркоманы, воры и аферисты. Во время кутежей они непременно «накачивают» и «лабухов».

Так как я и в рот не брал водки, то Петька глотал два пая ее: свой и мой. Проходил час – и он уже не мог держать баян. Ни уговоры, ни угрозы выгнать с работы – на него не действовали. Раз как-то, наливавшись до чертиков,

он грохнул баян, расселся на полу посреди зала – и давай во все горло крыть всех гостей витиеватой матовой вязью. Насилу два милиционера смогли укротить его и увести на квартиру. Так бесславно закончил свою ресторанный карьеру баянист Петр Фролкин.

А что было делать в ресторане одному скрипачу? Мне грозила безработица. Но из тяжелых положений людей часто выводит счастливая случайность. На сей раз она выручила из беды и меня. Шофер мощной грузовой машины облпотребсоюза Семенов ходил в фаворитах у председателя этой организации Ишимбаева. Ловкий водитель авто пристроил своего 14-летнего паренька Тольку на место Петра Фролкина. Долговязый Толька выглядел старше своих лет, отлично играл всякую музыкальную «вермишель» на роскошном аккордеоне, за который Семенов-папаша отвалил 15 000 тогдашних рублей!

Мой новый партнер тоже не знал нот («слушач»), ухвати-сто подбирал аккомпанемент к любой мелодии. В этом отношении он превосходил Фролкина. Словом, мне повезло. Красивая внешность Тольки, его веселый мальчишеский нрав и добродушная фамильярность в обращении с людьми обворожили всех работников ресторана.

Отец Тольки – высокий, сильный блондин с серыми лупастыми глазами, был мужик – хват. Не пропускал мимо рук все, что плохо лежало. На своей машине часто делал дальние рейсы до Алма-Аты. За два года такой езды он набил мощну так туго, что купил большой дом с надворными постройками, садом и огородом. Семенов не пил, не курил, не блудил, семью не угнетал, но крепко держал в ежовых рукавицах.

Провожая Тольку на работу в ресторан, он предупредил:

– Ты у меня смотри: чтобы ни курева, ни водки, никакого прочего баловства ни-ни! Придешь домой – все равно проверю.

И проверял:

– Дыхни-ка мне в нос!

Но Толька вел себя безукоризненно. Как рачительный хозяин, Семенов сообразил, что водку и спирт, которые подносили «лабухам» клиенты ресторана, можно превратить в доходную статью. Он инструктировал нас:

– Возьмите вот эту широкогорлую бутылку и поставьте ее в укромное местечко позади себя, там ... на эстраде. Поднесут вам водку, а вы ее незаметно – бултых в бутылку. А потом со скидкой буфетчице ее. Вам доход и ей доход.

При этом Семенов прорепетировал с нами «незаметную» операцию слива водки в бутылку. В ресторане Толька выполнял ее артистически и с азартом. Каждый вечер мы возвращались домой трезвыми и с дополнительным заработком...

Нагляделся я в ресторанах на разных людей. Многие из них – криминальные типы, которых безошибочно следовало тащить из ресторана в тюрьму.

А как-то в ресторан закатился рослый, статный красавец лет тридцати-тридцати трех. Ну, что твой Аполлон Бельведерский в коверкотовом костюме! Он чуть-чуть замешкался у буфета. А потом, звучно скрипя ботинками, прошагал к эстраде:

– Музыкантам привет!

И молча воткнул Тольке и мне в карманы по пачке самых дорогих папирос. Пальчиком подманил к себе официантку и продиктовал ей:

– Сюда, к музыкантам, столик, а к эстрадке – для меня.

Оба столика скоро были завалены, заставлены винами, закусками, печеньем, шоколадками и конфетами.

– Товарищи музыканты! Прошу подкрепиться! По усмотрению...

Мы «подкрепились», пропустив по стопочке невинной наливки, а водку спустили в бутылку. Благо, сделать это было удобно, так как красавец сидел спиной к эстраде, чинно выпивал, ел и курил. Вот он запустил три пальца в верхний карман пиджака, вынул оттуда зеленую тридцатку и, не глядя на нас, через плечо подал ее Тольке:

– «На сопках Маньчжурии»...

Прошло пять–десять минут – и снова он через плечо подал Тольке зелененькую. Так он весь вечер степенно выпивал, ел, курил и подавал через плечо тридцатки нам, зазывая пьесы.

Наконец встал, благодарно пожал нам руки. И, должно, заметив наше изумление широтой его натуры, добродушно заулыбался, указывая на столики:

– Все это для меня – ноль. Я – шахтер-стахановец. В месяц «вырубаю» шесть тысяч рублей. Что мне? Приехал к матери в отпуск. Холостой. Отдыхаю помаленьку... Всего вам.

И вышел.

Дома мы с Толькой ахнули, когда сочли «профит»: по 120 рублей попало нам на брата! Вот это вечерок выдался!

В жаркий июльский полдень в ресторан затесался странный посетитель: босые ноги в пыли, лохматые волосы точно вихрем разметало во все стороны, длинная засаленная рубаха без пояса, на портках – квадраты зарплат, а пальцы на руках – что сучковатые засохшие ветки карагача. Мы, грешным делом, подумали: вероятно, это какой-то архаровец. Гремя стульями, он решительно, будто дома, сел за столик. Шмякнул по нему ладонью, призывая так к себе официантку. Охолостив несколько стопок спирту, он, вихляясь, притопал к музыкантам. Лукаво прищуривая то правый, то левый глаз, вытянул из кармана портков горсть крупных денежных купюр, поднес их к Толькиному носу и заверещал на весь зал:

– Ету самую усю отдам, ежлив дерните мне, как Маша ходила в лес по грибки, по ягодки и как там ее шпокнули... А ну, дерните!

Увидев, что перед нами самодур, захотевший поколобродить, мы заиграли какую-то, не помню, русскую народную песню. Чудак, стоя перед эстрадой, послушал-послушал и отрицательно замотал головой:

– Нет! Не! Не! Не ета! Не! Вы мне дерните про Машу!

И он, шурша кредитками, запихнул их обратно в карман и зашоркал к своему столику. Я шепнул Тольке:

– Крой за мной!

Я заиграл импровизацию, что-то похожее на «Сама садик я садила». Лохматый самодур сорвался со стула, подбежал к эстрадке и восторженно заорал:

– Ага! Ага! Она! Она-она! Маша, так ее мать!

И он шлепнул полсотенную кредитку на Толькин аккордеон:

– На! На! Не жалко. Плевать мне на нее! Одно колесо согну – и все тут!

– Почему колесо? – спросил я.

– А-а-а... Значит, ты меня не знаешь? Не знаешь Федора Михалыча Мухортова. Колесник я. Как сроблю колесо, так и гони полста. И крепше моего колеса нету. Хочь сто лет ездѣ по камням – не размелешь ступицу! Да... колесник я, Федор Михалыч Мухортов... Тыщи заробить могу...

Позже я узнал, что Мухортов и в самом деле был редкий колесный мастер. Все колхозные обозы Талды-Курганского района имели его колеса. Но даровитый мастер погѣбал от запоя и одиночества...

Среди кутил и мотов общественных средств попались в ресторанах и настоящие любители поэтической музыки. Такими были, например, семеро клиентов, работавших в Талды-Курганском облпромсоюзе. Они, правда, редко посещали ресторан, но засѣживались в нем подолгу. Трое – украинцы. Они то и дело просили сыграть им отрывки из «Наталки-Полтавки», «Місяцю ясний», из оперы «Запорожец за Дунаем», «Ой, не світи, місяченьку», «Повій, вітре, на Україну», «Гандзя», «Стоїть гора висока», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Чорні брови, карі очі», «Кармалюк», «Ревуть, стогнуть гори, хвилі» и др.

А инструктор Голобородько приятным лирическим тенорком тихонько подтягивал музыке, стоя возле нас, млея от наслаждения и жмурия глаза.

Клиенты из облпромсоюза не баловали нас ни деньгами, ни угощением. Они «благодарили» иначе. Голобородько шепотком спросил нас:

– Валенки нужны?

– О, да! Ноги мерзнут в ресторане, – ответил Толька.

– Приходите завтра ко мне в одиннадцать ноль – ноль. Жду.

Указал адрес. Мы так и сделали. Инструктор завел нас в длинный сарай, где лежали как зря кучи серых валенок.

– Выбирайте любые!

Так мы «заиграли» теплую обувь, завели дружбу с облпромсоюзом в надежде и еще когда-нибудь погреть у него руки...

Нередко в закрытом ресторане учинял гулянки «сам», т.е. председатель облпотребсоюза, Ишимбаев. Он приводил с собою ватагу. Мы, «лабухи», обязаны были потешать гуляк, сколько им угодно. Что говорить: нас по горло кор-

мили, поили шампанским (мне оно казалось приятным, «непьяным» кваском), но наши карманы и бутылъ с широким горлом пустовали. Это огорчало. Но ничего не попишешь: хозяева работникам не платят. Ишимбаев не платил и буфету. Было видно, что ватага крала и пьянствовала за счет государства. Пахло уголовщиной. Нагрязнула ревизия облпотребсоюза и вскрыла миллионные растраты. Ишимбаева и его присных взяли под замок. Заварилось громкое дело. Вели его республиканские власти. На объективное расследование его в областном центре не надеялись. Впрочем, полная картина хищений и растрат в облпотребсоюзе вряд ли была вскрыта и республиканскими органами.

По процессу Ишимбаева свидетелем проходил и Толькин папаша. Он рассказал следователю, как по приказу Ишимбаева доставлял в Алма-Ату муку, мед, сало, масло, рыбу, фрукты и прочие продукты и промтовары, как развозил их по квартирам начальственным персонам.

Я не дождался последнего акта трагикомедии Ишимбаева, но не сомневаюсь, что этот «герой» отделался легким испугом, ибо и у республиканских жрецов Фемиды были рыла в муке и меде из Талды-Курганского облпотребсоюза.

Осенью 1947 года мой хозяин Муслим нашел себе выгодную работу на станции Уш-Тобе, перевез туда и семью. Я перебрался на другую квартиру. По договору – топливо мое. А где же я мог взять его? Саксаул добывают в песках пустыни, курай растет у черта на рогах. Ни за тем, ни за другим мне не добраться. Грозная топливная проблема встала передо мной во весь рост. Правда, в Талды-Кургане был и простой способ заготовки топлива. Этого способа я еще нигде не видывал.

Когда по утрам пастух гнал рогатое стадо на пастбище, то на улицах города происходила ругань и бабьи битвы за коровий помет. Тогда всюду слышались воинственные крики, вроде:

– Это от моей коровы г...о, а ты его, паскуда бесстыдная, подобрала! Отдай! Отдай, говорю! А то я тебе все рыло им вымажу!

– Нако-сь! Не твоя, а моя корова оставила г...о. Ты протри лупалы-то! У твоей вся подхвостница задристанная. Из

нее жидким свистит, а у моей коровы все чисто. Она крутым валит...

И бабы с тазами и ведрами в руках бегут за стадом, хватают помет. Дома смешивают его с землей и соломенной трухой, валяют большие лепешки, прилепляют их к солнечным стенкам мазанок и сараев. Высохшие лепешки хранят до зимы. Это – бесплатное топливо. Но я был «бескоронный» житель города и потому не имел возможности для заготовки пометного топлива.

Зима 1948 года была не менее злой, чем предыдущая. Днем я терся у Семеновых, где учил малыша чтению, письму и счету, а Тольку – нотной грамоте. До полночи играл в ресторане. Пугала меня остальная часть ночи. Квартира моя совсем не отапливалась. В ней стояла «арктическая» температура. Спал я в таком снаряжении: на голове шапка-ушанка, ноги в шерстяных чулках и валенках; сверху старого пальто на енотовом меху я натягивал овчинный тулуп и покрывался еще одеялом. И всю зиму так спал.

Бани, конечно, не знал. Диву даюсь, как это ко мне не пристала тогда никакая зараза! Жил, как дикарь – и ни черта! Тут надо молвить слово о талды-курганской бане. Это – достопримечательность. В городе было две церкви. Одна на базарной площади, другая – на окраине. Первая превращена в радиоузел, вторая – в баню «по-белому». Действовала она всего-навсего несколько дней в году. Об этой случайной работе жители узнавали по колокольному звону. Если били по три удара с перерывами – звали мыться женщин; если по четыре – звали мужчин.

Когда потеплело, я перешел на нормальную ночевку. Както глянул на свои ноги – и ужаснулся: на них была не кожа, а рыба чешуя! Как скребнул я ногтями от ступени до колена, так эта чешуя и зашелестела, и посыпалась! До такого положения я не доживал даже в сталинских тюрьмах и лагерях!

А летом банный вопрос решался просто. Два ведра воды я в полдень ставил на солнцепек. И через час-два вода, как огонь! Я шел в хозяйский сад – и там под яблоней совершал омовение брэнного тела. В рыке купаться опасался: в нем вода слишком холодна.

Новое правление Талды-Курганского облпотребсоюза, получив от Ишимбаева тяжелое наследство, ввело строжай-

ший режим экономии. Первыми жертвами его в ресторанах оказались служители муз – Толька и я. Нас сократили. Но мой юный коллега ничуть не пострадал: его семья завербовалась на Южный Сахалин. А для меня наступили черные дни. Мучили изнурительные хлопоты о продовольственных карточках, многочасовые стояния в очередях за хлебом и прочими толиками продуктов... Голодал.

В Талды-Кургане мне уж нечего было делать. Пришлось сматывать удочки. Жена к тому времени демобилизовалась из Советской Армии, приехала в Житомир к старшему сыну, который работал инженером на Центральном телеграфе. Мы списались.

И 16 октября 1948 года с самолета-кукурузника я послал последнее «прости» городу, окруженному тополями. Мой воздушный путь лежал через Алма-Ату, Москву, Киев...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЛЕЧУ НА УКРАИНУ!

Впервые в жизни рискнул я проплыть по воздушному океану. И не мало, а 5 300 километров! В кассе немудрящего Талды-Курганского аэровокзала я выкинул за билет до Киева более 1 100 рублей. Изучил правила о весе ручного багажа, который пассажир может взять с собой в самолет. А у меня этого багажа-то всего-навсего кот заплакал: скрипка, баульчик с парой белья, куском хлеба и кружкой...

С грустью оставил я на вокзале свою вишневую палочку, которой оборонялся от собачьих свор, возвращаясь ночами из ресторана в глиняную халупу.

«Обнарядка» моя в пути-дороге была на удивление: замусленная солдатская шинель, обвислая клоунская кепка и бурые трофейные боты. Все – надежное, как раз подходящее для дальнего путешествия. И для жуликов не зазывное. К тому же, в последние месяцы проживания в Талды-Кургане я голодал, а потому шибко усох.

Из города, «окруженного тополями», до Алма-Аты я летел на «кукурузнике». А в нем – тесно, неудобно и тряско. Впрочем, тряска для меня – трын-трава.

Хотя было уже 16 октября, – в столице Казахстана стояла жара.

До отлета в Москву оставалось часа три. Я отправился поглазеть на привокзальные улицы. И меня ошибло обилие яблок высокоценного сорта «апорт». Куда ни глянь – везде яблоки, яблоки, яблоки! Лежали они навалом в лавках, под навесами и просто под открытым небом. Большие кучи уже гнилых и полугнилых яблок дышали горячим зловонием. Видимо, никому до них не было дела. Черт возьми! Сколько же добра пропадало от дикой бесхозяйственности!!!

От Алма-Аты до Москвы летели в шикарном самолете. Рядом со мною сидел очень разговорчивый молодой казах, ученый биолог. Он во всеуслышание хвастался:

– Я вызван в Москву на сессию ВАСХНИЛ. Там мы, советские биологи, под командованием Лысенко будем громить всех этих «генетиков», «мухознатцев» и «мухоедов» – Вавилова, Кольцова, Жебрака, Дубинина. Словом, всех заплесневелых менделистов, морганистов и вейсманистов... Мы им всем устроим торжественные похороны...

Никто из пассажиров не дерзал вступать в прю с ярым левозагибщиком. Если он ныне здравствует, то, вероятно, ведет себя ниже травы, тише воды после всесветного скандала разоблачения теоретических и практических авантюр Лысенко и его последователей, затормозивших развитие советской биологии на тридцать с лишком лет!

Под бахвальство «ученого» в моей памяти всплыл эпизод из «каторжной» эпопеи.

В марте 1938 года большую партию осужденных по 58-й статье УК РСФСР липовых «врагов народа» (а в ней был и я) из Пермской тюрьмы повезли в академию социального перевоспитания, т.е. в исправительно-трудовые лагеря в архангельских дебрях.

В Вологодской тюрьме наш этап задержали на две недели. Мой сосед на нарах оказался одним из ближайших научных сотрудников гениального биолога Николая Ивановича Вавилова, возглавлявшего Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Сосед любил поэзию. На почве этой любви мы и сблизились с ним. Он тихо, но с артистической выразительностью декламировал стихи многих поэтов. Но особенно часто повторял выражавшее его душевное состояние стихотворение А.Н. Апухтина:

МУХИ

*Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая;
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая,
Валится книга из рук, разговор упадает бледнее...
Эх, кабы вечер придвинулся! Эх, кабы ночь поскорее!
Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою:
Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою!
Только прогонишь одну, а уж в сердце впилась другая, -
Вся вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая!
Хочешь забыть, разлюбить, а любишь сильнее и больше.
Эх, кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!*

Однажды коллега по несчастью доверительно прошептал мне на ушко:

– Я причислен к крамольникам потому, что заступился в ВИРе за учение Николая Ивановича Вавилова, этого неповторимого гения. Но обманутый авантюристом Лысенко – Сталин дал ему дубину в руки, чтобы глушить крупнейших наших биологов. Он истребит и Николая Ивановича Вавилова. И наша биология на много лет умрет ... Но поверьте: если, паче чаянья, нам суждено будет остаться живыми после каторги, мы будем свидетелями краха всех афер Лысенко и его подпевал...

Эти пророчества полностью сбылись. Н.И. Вавилов уничтожен. Лысенко опозорен, а советская биология воскресла после ее тридцатилетней смерти и ныне идет вперед гигантскими шагами, наверстывая потерянное. Учение Н.И. Вавилова вновь торжествует победу...

На Внуковском аэровокзале я трое суток ожидал летной погоды. В зале против меня на диване расположился по-домашнему некий высокопоставленный гражданин, следовавший на юг лечить ноги. Он охотно завязал со мною разговор и вел его в покровительственно-сочувственном тоне. Думаю, что это внушал ему мой жалкий вид.

Раз на ужин мой богатый спутник достал из чемодана банку с консервами, дорожную колбасу, красную икру, сливочное масло и каравай из муки высшего сорта, такой пыш-

ный, румяный и ароматный! А в разрезе он – как куриный желток!

Чувствую, что у меня полон рот слюны, а в животе заверещало. Дабы не испытывать мук тантала, я вышел в другой зал. А когда вернулся на свое место, сосед ко мне:

– Товарищ, не хотите ли скушать вот это?.. Я его не люблю.

И он указал на каравай, от которого была отъедена только корочка. Я принял предложение, которое изумило меня... Вскоре мой добряк заснул, а я, налив полную кружку кипяченой воды, жадно и быстро «освоил» неожиданный подарок весом с полкилограмма. При этом я и не подумал, что обжорство вслед за длительной голодовкой могло кончиться заворотом кишок.

Жуя и глотая невыразимо вкусное кондизделие, я, признаться, невольно размышлял о страшных социальных контрастах, которыми полна еще наша жизнь...

И пал мне на ум 1920-й год. Я был охоч до науки и не туп. Меня тянули в Институт красных профессоров. Но я решительно отшел от соблазна. Остался учительствовать в селе. Хотел на самом деле строить социализм. Непокколебимо верил: самое-самое большое – через 15 лет воцаряться на Земле подлинная свобода, равенство и братство. Какая наивная, младенческая вера! Но тогда не я один страдал такой «святой простотой!

Да, плохо мы учились, как мало знали о сложности жизни, о борьбе многочисленных сил, движущих историю человечества! Да что и говорить о подобной нам мелкоте! Многие великие умы садились в лужу со всеми прогнозами развития хода мировых событий...

От Москвы до Киева я несся в лайнере, еще более роскошном, чем алма-атинский.

Вот я и в столице края, «где все обильем дышит, где реки льются чище серебра».

Из Киева до Житомира воздушной линии еще не было. На автобусной станции я купил билет «на завтра». А где же ночевать? Посоветовали: в Доме колхозника. Разыскал я его, устроился. Комната большая, светлая, постель чистая, народу мало. Одно слово – благодать!

Вечерело, но спать не хотелось. Я пошел смотреть Киев. Иду медленно по широкому бульвару Шевченко, пялю глаза на разные диковины, которых в городе не счесть.

Внезапно передо мной вырос величественный храм. Смотрю: как будто он знаком мне. Спрашиваю встречного:

– Это какой храм?

– Владимирский собор.

Ага, это тот самый Владимирский собор, изображение которого я видел в раннем детстве на картине «Киевские святыни». Только на той картине Владимирский собор был красный, а теперь я видел его белым.

Я робко вступил в знаменитый храм, загроможденный сетью строительных лесов: реставрировали внутренние украшения.

Во мраке огромного собора тускло мерцали немногие свечки перед иконами, из далекого клироса доносился слабый голос псаломщика. Молящихся – не более десятка. Шла будничная вечеря...

Впервые я обозревал Владимирский собор в августе 1929 года. Цекпрос созвал со всего Советского Союза 29 учителей-журналистов и повез их на экскурсию в образцовую МТС при совхозе им. Шевченко Одесской области. Я в этой экскурсии представлял всю Сибирь. В Киеве была остановка часов на пять. Экскурсанты воспользовались ею для посещения исторических мест. Между прочим мы осматривали и Владимирский собор. Объяснения давал монах. Он сокрушенно жаловался на то, что храм не берегли как святыню и памятник искусства. Собор не отапливался в холодное время. От сырости живописные шедевры Васнецова, Нестерова, Котарбинского, Врубеля и других – покоробились, свернулись в трубки. На стенах хулиганствующие атеисты гвоздями понацарапали похабные рисунки и выражения.

Скорбь и возмущение монаха были законны и понятны.

Я через 19 лет опять во Владимирском соборе! И мне радостно было видеть, что славный архитектурный памятник восстанавливался во всем его первоизданном величии...

Горячие, увесистые, да oprичь того, и дешевые пирожки с печенкой тоже оставили от Киева сильное впечатление у человека, на раз бывшего при смерти от голода.

Автобус мчал пассажиров на Житомир по ровному бетонированному шоссе. По обе стороны дороги расстились неоглядные дали, облитые мягким светом осеннего солнца. Кругом виднелась левитановская «золотая осень», а в уме звучали пушкинские строки:

*Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...*

В Житомире я прежде всего зашел на Центральный телеграф, где инженером работал мой старший сын. Произошла сцена – и смешная и грустная. В операционном зале я спросил телеграфистку:

- У вас работает инженер Топоров Юрий Адрианович?
- Работает.
- А можно его видеть?
- Пожалуйста.

И она мотнулась в другую комнату. Через минуту оттуда вышел с телеграфисткой и сын. Официальным тоном он спросил меня:

- Что вы хотите?

Я нарочно долго молчу, ожидая, что сын узнает меня. Но... не узнал! Полная метаморфоза произошла со мной за двенадцать лет каторги!

– Так ... так, – наконец прервал я неловкое молчанье. – Так... Родного отца сынок не узнал!

- Батька! Да ты ли это?!
- Как видишь, сынок...

Объятия, поцелуи, восклицания.

Сын привел меня на квартиру моей жены – на Ново-крошенскую улицу. Жена была во дворе, когда я появился в отворенной калитке. Увидев меня в затрапезном облачении, она на мгновение опешила, а потом узнала пришельца.

Жила жена в частном доме, в комнатке-«пенале». Ей не дали даже коммунального пристанища, хотя она добровольно с Советской Армией дошла до самого Рейхстага!

В Житомире я не успел ознакомиться с достопримечательностями. В самом начале 1949 года сына назначили инженером Центрального телеграфа в городе Николаеве, куда перекочевали на жительство я и жена.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

39-я СТАТЬЯ. АМНИСТИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ

В Николаеве сыну дали мизерное обиталище – прилепок в доме Центрального телеграфа, на улице Розы Люксембург (по-старому, на Никольской), против греческой церкви. В нашей квартире было две комнатухи, выходившие во двор. Из глубокого подвала под ними сквозь щели в полу зимой и летом пер холод.

К западной стене квартиры примыкало крыльцо, через которое служащие телеграфа круглые сутки бегали в надворные туалеты, оглушительно грохая дверьми. От этого грохота сотрясались тонкие стены наших комнат и мозги их жильцов.

Выйдя из исправительно-трудового лагеря, я первый паспорт получил в Камско-Устинском РО милиции Тат. АССР. Второй – в Старооскольском РО Курской (ныне Белгородской) области. Третий – в ГОМ города Талды-Кургана Казахской ССР. Как и подобало, в первом паспорте значилось: «Выдан на основании справки Каргопольлага НКВД и статьи 39-й Положения о паспортах».

Во втором и третьем паспортах основанием для выдачи их служили предыдущие паспорта и таинственная 39-я статья.

В Старом Осколе, Талды-Кургане и Житомире эта статья не чинила мне препятствий при прописке. Не то в Николаеве. Здесь я из-за нее пережил изнурительную канитель. Жену и сына прописали, а меня – нет.

– Почему не прописали? – спросил я паспортиста.

– У вас 39-я! – ответил он, ухмыляясь.

Ядовитая статья уже брала меня в тиски. Много раз до того я допытывался, **что** она означает. Сотрудники паспортных столов уклончиво отвечали:

– Это для служебного пользования.

– Но, может быть, я ненароком нарушу ее, не зная, что она требует от меня, и опять попаду в тюрьму?

Загадочные улыбки и молчанье...

В милиции города Николаева я понял, что паспорт, «украшенный» 39-й статьей, – это нечто вроде дореволюционного «волчьего билета», запрещавшего политически неблагонадежным лицам проживание в режимных местах. Это – «хвост» статьи 58-й УК РСФСР. Мне неведомо было, кто и когда мог отрубить его. Давила мрачная мысль: вероятно, с этим «хвостом» придется лечь в гроб.

И пошел я по мукам в хлопотах о разрешении прописки в Николаеве. Подал петицию в паспортный стол областного управления МВД. И потерял счет моим явкам к толстому, провонявшему табаком майору Антонову и хромому капитану Бебешко. Дергали они и моего сына. Заставляли его давать морально-политическую характеристику отцу. Но длиннейшая волынка все же подошла к концу. Майор Антонов объявил мне:

– Идите во второе отделение милиции, там получите результат.

Я пошел. Смуглявый, прыщеватый писарек-паспортист завел меня в особую комнату.

И он подсунул мне печатную формочку:

– Вот... Прочтите и подпишите.

Я прочел и дал подписку о выезде из города корабелов. А прыщеватый писарек посоветовал мне:

– Ну, а теперь пишите, товарищ Топоров, заявление начальнику областного управления МВД майору Свиридову.

– О чем?! – удивился я.

– Как о чем?! О разрешении вам проживать с семьей в Николаеве.

– Так сам же этот начальник предписал мне убраться отсюда. И я только что дал подписку о выезде.

– А я вам говорю: пишите заявление. Он разрешит.

Хоть и нелогичным было предложение писарька, но я видел, что оно от чистого сердца. Я послушался моего доброхота. К моему изумлению он оказался прав: майор Свиридов разрешил мне полугодовую прописку – до 1 октября 1949 года. По истечении этого срока я снова просил майора Свиридова о продлении прописки. Так я переби-

вался в режимном городе корабелов до смерти Сталина и последовавшей амнистии от 27 марта 1953 года. И я еще раз убедился в том, что даже при самом драконовском режиме любой начальник может оставаться Человеком, если того пожелает.

Теперь великодушный майор Свиридов в отставке и на пенсии. Я иногда встречаю его – спокойно шагающего по тротуарам Николаева или сидящего с удочкой на берегу Южного Буга. Все порываюсь поговорить с ним и благодарно пожать ему руку за его доброе сердце...

На мою учительскую пенсию в 210 рублей старыми деньгами существовали двое: я и жена – иждивенка. Этой пенсии едва хватало, как говорится на хлеб насущный... без масла! А про культурные потребности пришлось забыть. Я, отдавший всю жизнь, все лучшие годы и силы народному просвещению, не мог теперь позволить себе хотя бы раз в месяц пойти в театр, кино, выписать литературный журнал, поставить радиоточку, послушать концерт какого-нибудь лауреата.

Об учительской работе уж и не помышлял: кто же осужденного по 58-й статье пустил бы на идеологический фронт?! Мои корреспонденции печатали крайне редко, и только те редакции, которые не знали о том, что я был одной из многих жертв лихолетья.

Попытался я восстановить свой профсоюзный стаж, но Цекпрос отрубил: нельзя! И в этот раз я почувствовал тиски 39-й. Лишь амнистия 1953 года вырвала меня из них. Из моего нового паспорта был навсегда изгнан этот тиран. Однако амнистия – только помилование, а не оправдание. Клеймото «враг народа» она не смыла с моей репутации. Жгучее чувство обиды за незаслуженный позор, лишения и страдания – было столь сильно, что в течение пяти лет рука моя не поднималась просить о реабилитации. Я отдавал всю душу советской массовой культурно-просветительной работе, партизанил против колчаковщины, а мне приклеили страшный ярлык и долго терзали в тюрьмах и лагерях.

Материальная нужда в моей семье дошла до предела. Жена пилила меня:

– Подавай же на реабилитацию! Доколе же будем сидеть на корке хлеба да на воде?!

И начальство в управлении связи настаивало:

– Подавайте! Необоснованно обвиненные по 58-й статье теперь подают заявления. Их оправдывают. Они получают двухмесячную зарплату, квартиры и даже компенсацию за арестованное при аресте имущество. Не забывайте и то, что ваша судимость по политической статье дурно отражается на служебной карьере вашего сына... Подавайте!

Мое горделивое упрямство было сломлено. Я обратился к Верховному суду РСФСР. Последовал немедленный ответ:

«РСФСР ВЕРХОВНЫЙ СУД

16 декабря 1958 г.

№45-8нс-51.

Москва, К-12, ул. Куйбышева, д.3/7

СПРАВКА

Выдана в том, что приговор Свердловского областного суда от 29 октября 1937 года, которым Топоров Адриан Митрофанович, 1891 года рождения, работавший учителем школы №5 в гор. Раменское, Московской области, был осужден по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР, определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 9 декабря 1958 года отменен с прекращением дела производством за недоказанностью предъявленного ему обвинения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

РСФСР

В. КРЮКОВ»

Глава одиннадцатая. Я СНОВА «ВЫШЕЛ В ЛЮДИ»

13 июля 1961 года я получил неожиданное письмо, написанное на бланке редакции «Известий»:

«Уважаемый Адриан Митрофанович!

Журналистская судьба привела меня и нашего алтайского корреспондента А.И. Волкова в хорошо знакомое Вам село Верх-Жилинское. Там, собирая материал о культурной работе в колхозной деревне, мы впервые услышали Ваше имя. А затем – имя Вашего ученика – одного из самых уважаемых людей в районе, чудесного, разносторонне одарен-

ного человека, который и до сих пор продолжает дело, начатое Вами. Это – Степан Павлович Титов.

Вместе с ним и его женой мы побывали в «Майском утре», прошли по Тропе Коммунаров (она не заросла и сейчас, эта легендарная тропа!), побеседовали со многими людьми. Потом раздобыли Вашу уникальную книжку, порылись в архивах, в музее. И перед нами встала удивительная история коммуны и Вашей деятельности в ней.

То, что Вы сделали, – колоссально! Мы гордились тем, что наша газета в свое время поняла это и сказала свое слово.

Сейчас мы пишем документальную повесть (она, по видимому, будет печататься в «Известиях») о Степане Павловиче Титове. Как Вы догадываетесь, первая ее часть (не глава – часть) будет называться «Тропа Коммунаров», и одним из главных героев в ней будете Вы...

– Всем, что я имею доброго, – сказал он нам, – я обязан учителю моему Адриану Митрофановичу Топорову. Передайте ему большое спасибо за то, что он отнял у меня досуг и в то же время научил его скрашивать. И себе, и людям...

Я рад передать Вам это...

Очень бы Вы нам помогли, если бы смогли сообщить все, что вспомните о самом Степане Павловиче, о его жене Александре Михайловне. Может быть, о его детях – Германе и Земфире. Интересуют нас и родители их (Ваши «критики»!) Михаил Алексеевич Носов и Павел Иванович Титов.

Очень хотелось бы залучить Вас в свой авторский коллектив. Напишите, какие проблемы волнуют Вас сейчас, о чем Вы хотели бы рассказать нашим читателям.

С приветом. Зам. ответственного секретаря
Н. ШТАНЬКО.

«Что за оказия?! – подумал я, прочитав это письмо. – Тут что-то не так. Какая-то загадка».

Желая посылить помощь журналистам, сел за написание воспоминаний о коммунарах Титовых и Носовых. Работа разбухла. Я приготовил ее в двух экземплярах: для Н. Штанько и Степана Павловича Титова. Второго хотел поставить в известность, что я ничего дурного не сказал о своих друзьях – коммунарах, о нем и о Саше Носовой.

Срочно отослал экземпляр Н. Штанько, понимая, что журналистам подавай материал с пылу, с жару. У них работа молниеносная, иначе она теряет цену на литературном рынке.

С отправкой бандероли Степану Павловичу я не спешил. Понес пакет на почтамт утром в воскресенье 6 августа 1961 года. Было тепло, солнечно. Иду обратно. Из раскрытого окна одного дома до меня донесся четкий голос радиодиктора Левитана: в космос полетел корабль «Восток-2» на борту с летчиком-космонавтом Германом Степановичем Титовым...

Я остолбенел: имя, фамилия и возраст нового космонавта были мне знакомы. Я и все члены моей семьи с волнением спрашивали друг друга:

– Неужели это – сын наших Степы и Саши Титовых?! Может быть, в СССР есть второй Герман Степанович Титов?!

Сидя у репродуктора, мы сгорали от нетерпения, ожидали сообщения краткой биографии героя. Минуты тянулись мучительно долго. Наконец мы услышали: это – он, да, он, наш Герман!! Сын моих славных воспитанников из «Майского утра» Степы и Саши Титовых! Волна неизъяснимой радости облила мое сердце. Ликовала и семья. Так вот в чем разгадка таинственного письма Н. Штанько ко мне!

В №№ 187, 188, 189 и 190 «Известий» была опубликована документальная повесть А. Волкова и Н. Штанько «Отчий дом», в которой мне отведена изрядная жилплощадь. С этого момента мое незаметное имя прочно прилипло к космонавту-2 Герману Степановичу Титову. На 70-м году жизни я сразу стал «умным», нужным человеком. Началось паломничество ко мне, точно и я летал в космос. Первыми прибыли журналисты, писатели и фотокорреспонденты: Б.А. Анашенков, Э.Н. Горюхина («Литературная газета»), А.А. Аграновский («Известия»), В.Я. Стадниченко («Радянська освіта», Киев), Ю.А. Чубуков («Ленинская смена», Белгород), М.С. Федик («Комсомольская искра», Николаев) и др.

Меня нарахват таскали на встречи, чтобы поделиться опытом культурной работы и рассказать о «Майском утре», о династии Титовых и т.д. Где и перед кем только я не выступал тогда! И так меня заездили, что я совершенно потерял голос. Лечился два месяца.

За мной присылали машины из соседних областей, приезжали из Ленинграда студенты-северяне. Они часами сидели, озирая меня с ног до головы и... молчали (?!).

Были у меня и супруги Пятыгины, приехавшие из Сибири в отпуск к родным в Николаеве. Они около 35 лет тому назад вместе со мною работали в Косихинском районе Алтайского края.

Иногда моя небольшая комната до предела была набита посетителями. Не хватало места посадить их.

Проведали обо мне многие друзья, ученики, сверстники и соратники, с которыми была порвана всякая связь 30, 40, 50 и более лет! Разыскала меня и Софья Ерофеевна Шельдяева-Серпуховитина из Курска. С нею я сидел на одной парте в Бродчанской церковно-приходской школе (Старооскольского уезда) в 1900–1903 годах! Через 60 с лишком лет нашла меня! Не диво ли?!

Из Сиднея (Австралия) отозвался и мой учитель по языку эсперанто Иннокентий Николаевич Серышев, с которым я познакомился в селе Верх-Жилинском еще осенью 1915 года. Подробно об этом я написал в одной из предыдущих глав. Подала голос и его сестра, учительница-пенсионерка и эсперантистка Варвара Николаевна, ныне здравствующая в городе Высоковске Московской области. Об этой коллеге я ничего не слышал около 45 лет. А когда-то учительствовали вместе в Барнаульском уезде.

Добрался до меня и чехословацкий педагог-эсперантист И. Килиан, который в первую империалистическую войну, будучи пленным, проживал в Томске и потому знал меня как одного из пропагандистов международного вспомогательного языка. Не имея точного моего адреса, тов. Килиан на конверте написал:

«Украина, город Николаев, А. Топорову. Он – старый эсперантист, автор книги «Крестьяне о писателях». Ему около 70 лет».

Признаки верные. По ним почтальон и доставил мне письмо чехословацкого друга.

Сейчас не перечислю всех «давно забытых лиц», чьи жизненные пути-дороги надолго разошлись с моими, но пересеклись вновь благодаря полету в космос моего «духовного внука» Германа Степановича Титова...

Я уехал из Сибири в мае 1932 года. Мои ученики – Саша Носова и Степан Титов поженились через два года. Их первенец, будущий космонавт, родился в 1935 году. Ему обо мне дали знать родители, деды, бабки. А я представлял его по их письмам. Лелеял мечту о личной встрече с ним. С этой целью я и приехал в Москву в октябре 1961 года, перед открытием XXII съезда КПСС.

Остановился у писателя-друга Анатолия Абрамовича Аграновского. Утром 14 октября он поговорил по телефону с Николаем Ивановичем Штанько. Тот немедленно прислал машину. И через несколько минут мы были в его кабинете. Н.И. Штанько – душевный человек, с которым в первую же минуту знакомства чувствуешь себя, как с близким родным.

Друзья стали думать и гадать, как связать меня с Германом Степановичем. Нужно было преодолеть немалую трудность – испросить разрешение на свидание с космонавтом у тех, кто ведет наблюдение за состоянием его здоровья. Звонили туда-сюда, разыскивали генерала авиации Горегляда, но попытки были тщетны.

На следующий день Н. Штанько позвонил А. Аграновскому:

– Вчера в редакцию «Известий» заходил Степан Павлович Титов. Хотел видеть меня, но не застал. Оставил записку. И другая досада: звонил мне сам космонавт – и тоже не застал. Две неудачи за один день!

Оказалось, отца и мать космонавта еще 3 октября пригласили в Ленинград – поделиться педагогическим опытом на съезде учителей. На обратном пути родители завернули к сынку в Москву. Счастливый для меня случай! Но я опасался, что не смогу воспользоваться им: а ну-ка Саша и Степан, не зная, что я в Москве, побудут у сына день-два – и упорхнут в Сибирь!

В редакции все-таки узнали квартиру космонавта, но и это не успокоило меня. Герман Степанович должен был лететь в Румынию и вернуться оттуда только 16 октября в семь часов вечера. Значит, мне нечего было и помышлять о свидании с ним. Я соображал: прилетит он из Бухареста поздно вечером, утомится. А 17 октября будет на съезде. Так никого из них я не увижу. Приуныл.

Захожу в квартиру А. Аграновского. Слышу: он говорит по телефону с Н. Штанько, который придумал умный ход – написал записку космонавту, что я в Москве и желаю с ним встретиться. Записку эту передал с редакционным фотографом Сметаниным, работавшим на съезде КПСС. Космонавт прочитал записку Н. Штанько, немедленно позвонил ему из Кремля и просил передать, чтобы я сегодня же в два часа дня был в редакции «Известий», куда приедут он и Степан Павлович.

Мы с А.А. Аграновским прибыли к Н.И. Штанько. Сюда собралось много сотрудников редакции. Все спустились к парадному подъезду. И точно в два часа подкатила машина, из которой вышли отец и сын. Ну, понятно, пошли объятия, поцелуи, сопровождаемые междометиями, которые трудно теперь воспроизвести.

Поздоровавшись со всеми общим поклоном, космонавт и Степа повернулись ко мне. Я подхватил их под руки, и мы зашагали по широким лестницам редакции к лифту. Тут уж я не сдержался и воскликнул:

– Так вот какие орлы поднебесные вылетели из «Майского утра»!

– Нет, Адриан Митрофанович, – сказал космонавт, – теперь в нашей стране из любого села такие орлы могут вылететь. И они уже стаями готовы вспорхнуть в небесные просторы.

Зашли в кабинет Н. Штанько. И мне пришлось признаться:

– Ах, черт возьми! Ведь у меня раньше язык был не плохо подвешен, а сейчас завязался узлом и ничего не может сказать путного. Думал: огневую речь закачу при первой встрече, а вот все выскочило из головы.

Все засмеялись, а космонавт:

– Адриан Митрофанович, не надо речей. Наслушались мы их досыта. Хватит. Уши от них трещат. Давайте без речей, поговорим, попросту, как у себя дома.

Я схватил космонавта за руки и, глядя в его чудесные, светлые глаза, бессвязно затараторил:

– Так вот как, Герочка вышло! Один луч твоей славы озарил и мою фигурку на восьмом десятке лет. День шестого августа 1961 года был днем моего второго рождения...

Я чувствовал, что несущую сентиментальную околесицу, но солидные слова не садились на язык. И, очевидно, понимая мое состояние, Герман Степанович ободрил меня:

– Э, Адриан Митрофанович, что касается «лучей», то это еще вопрос: то ли мои вас озарили, то ли ваши меня? Я считаю, что если бы не «Майское утро», да не вы с моими родителями, то не летать бы мне в просторах Вселенной... Корни всего идут в «Майское утро»...

В кабинете Н. Штанько мы расселись на диване: я – по середине, космонавт налево, Степа направо от меня. Нас окружили журналисты. Как всегда в подобных положениях, завязалась беспорядочная словесная перепалка с нескладными вопросами и ответами. Я «разрывался» на два фронта: говорил и с космонавтом и со Степой.

– Герочка, голубчик, жалуюсь тебе на папашу твоего. Тридцать с лишком лет он не слушался меня.

– Как?!

– Я ему часто твердил в письмах: ты – литератор с «искрой», у тебя талант, который я заметил давно, растил, ожидая его проявления в творчестве. А папаша твой ничего не писал. Мне не верил. Все время отговаривался: какой я литератор? Куда уж мне! А что вышло? И читатели, и писатели в один голос поют: все лучшее, задушевное и художественное из напечатанного о «Майском утре» принадлежит перу Степана Павловича Титова!

Степа мой сидит. Краснеет и стыдливо опускает глаза. Герман похлопал его по плечу:

– Ну, батя, терпи! Похвалы тоже не легко бывает переносить, но ничего не поделаешь. Знаю по себе... Перегрузка!

С трудно скрываемой радостью Степан Павлович начал вспоминать письма, которыми засыпали его:

– Среди писем есть и курьезные. Так, одна девица пишет мне с Гавайских островов... Называет себя Титовой, сводной сестрой Геры. Уверяет, что она – моя дочь от первой жены и что космонавт-2 – сводный брат ее! И поскольку признает себя бесспорно моей дочерью, то на этом основании просит выслать ей 600 долларов. Как видите, моя гавайская «дочка» – практичная, деловая. Берет быка за рога!

Смеялись долго.

Был накрыт стол. Колбасу, яичницу и прочую снедь Герман Степанович уплетал добросовестно, вполне по-земному. Кто-то шутя бросил:

– Герман Степанович, наверное, от космических питательных тюбиков у вас в желудке при полете чувствовалась некая «невесомость»?

– Да как сказать? Сила в моем организме была вполне земная. Но вот это (он кивнул на стол) все же основательнее чувствуется, чем тюбики...

Я вспомнил, как застыл на месте, когда радио сообщило имя второго летчика-космонавта. А Степа продолжил этот разговор:

– Да и мы с Сашей были оглоушены и все спрашивали себя: «Неужели это наш Гера?!» Не верили, что наш. Думали: это другой. Разве мало Титовых Германов в нашей стране?

Один журналист спросил Степу:

– Неужели родители не знали заранее, что сын полетит к звездам?

– Ничего не знали. Правда, нас удивило то, что еще 12 июня в села Полковниково стали съезжаться корреспонденты, но мы предполагали, что причиной этого была деятельность Адриана Митрофановича в Сибири. Мы беседовали с корреспондентами о своем учителе, ездили с ними по следам его работы в Косихинском районе, посетили «Майское утро» и т.д. Но даже не подумали о полете Германа. И лишь 5 августа, когда в Полковниково нагрянуло множество машин с журналистами и фотографами; когда меня и Сашу подвергли детальным допросам о сыне, мы догадались, что с Германом должно произойти что-то важное. И 6 августа **оно** произошло...

Меня предупредили, что космонавт не любит расспросов о полете, потому что про это он уже много раз говорил на официальных собраниях, заседаниях, пресс-конференциях и в печати. Я старался избегать космических тем. Н.Н. Штанько между прочим упомянул о намерении издательства «Советская Россия» переиздать книгу «Крестьяне о писателях», написанную в «Майском утре». Герман Степанович очень оживился при этом упоминании:

– Так, так... Это действительно редкая книга. В ней я вижу и чувствую всю ту благотворную культурную атмос-

феру, которая была в «Майском утре»; вижу моих предков, их духовный рост. Эта атмосфера, безусловно, сказалась и на моем умственном развитии... Я обязательно напишу, если позволят, предисловие к переизданию книги.

Я поблагодарил «внука» за эту любезность.

Его позвали к телефону. Вернувшись к столу, он сказал отцу и мне:

– Художник Анатолий Никифорович Яр-Кравченко просит нас приехать к нему в мастерскую. Поедете?

– С превеликим удовольствием!

Попрощавшись с радушными известинцами, космонавт, Степан Павлович и я поехали к художнику. Дорогой Герман Степанович говорил:

– Я уже несколько сеансов позировал Анатолию Никифоровичу. Он написал мой портрет, который находится на выставке в Доме журналистов. Анатолий Никифорович – крупнейший живописец и обворожительный человек. Вот увидите.

На пороге мастерской нас встретил высокий, полный, краснощекий человек с ласковыми глазами. Познакомились. Художник прежде всего подробно осведомил нас о своей новой громадной картине, над которой трудился. Картина изображала собрание советских писателей на квартире у Алексея Максимовича Горького.

Анатолий Никифорович пояснил:

– На картине я уловил тот момент, когда Алексей Максимович произносит знаменитую фразу «На вас лежит ответственность». Этой фразой я и назову картину.

Захватывающе интересно художник ознакомил нас и с другими его работами и творческими планами. Впившись надолго глазами в космонавта, спросил его:

– Герман Степанович, читаю в газетах и журналах, что вы любите поэзию, живопись, музыку, читаете стихи, поете... Откуда все это у вас?

– Да все оттуда же, из «Майского утра».

И, взглянув на часы, космонавт заторопился:

– Ну, извините меня: пора на заседание партсъезда. До свидания.

И уехал в Кремль. А мы со Степой еще долго слушали повесть Анатолия Никифоровича о его большом и плодот-

ворном пути, каждый этап которого был проиллюстрирован изумительными рисунками во многих альбомах.

Художник подарил нам на память репродукции с его картин. Под конец беседы он обратился к Степе:

– Вы непременно пришлите мне ваши работы. Я посмотрю их.

Степа смутился:

– Да что вы, Анатолий Никифорович?! У меня же детская мазня. Стыдно показывать простым людям, а не то, что вам.

– А я говорю: пришлите. Охотно помогу вам.

Поздно вечером расстались мы с одним из крупнейших мастеров кисти.

Утром следующего дня в редакции «Известий» я встретился со своей ученицей Сашей Носовой-Титовой, матерью космонавта. Она прибыла со Степаном Павловичем. Более тридцати лет мы не виделись. Время изменило нас обоих до неузнаваемости. Встреча была полной слез радости и горя при воспоминании о старых коммунарах, положивших первые камни в строительство коммунизма в Сибири.

Трогательный рассказ Сашеньки оживил незабываемые картины нашей жизни и культурно-просветительной работы в славной коммуне, где выросли и воспитались многие советские врачи, агрономы, инженеры, педагоги, летчики, кандидаты наук и прославленный космонавт Герман Степанович Титов. Нестерпимо терзала сердце мысль о том, что из тридцати моих учеников-коммунаров, защищавших Родину в минувшую Отечественную войну, живыми остались только двое.

Н.И. Штанько предложил посетить издательство «Советская Россия». Там у парадного подъезда нас встретило все руководство во главе с директором издательства В.К. Грудининым. В художественном отделе нам показали образец нового издания повести А. Волкова и Н. Штанько «Ветвь сибирского кедра» (иное название «Отчего дома»). Посмотрели мы и иллюстрации к этой книге. «Советская Россия» готовила и издание повести «Два детства» Степана Павловича Титова.

Из «Советской России» нас доставили в радиостудию Центрального телеграфа на улице Горького. Режиссер

А.И. Платонов попросил Степана Павловича и меня прочесть перед микрофоном отрывки из наших воспоминаний. Мы это сделали.

Уже темнело, когда у одного из подъездов Центрального телеграфа Саша, Степа и я расстались. Думалось – навсегда...

А вот кружение вокруг меня – старика – продолжалось...

Как уже упомянуто, в рое журналистов, слетевшихся в село Полковниково 5 августа 1961 года, был и А.А. Аграновский. Он немало слышал обо мне от своего отца Абрама Давидовича, побывавшего в «Майском утре» в марте 1928 года, о чем и написал в прекрасном очерке «Генрих Гейне и Глафира» (этот очерк впервые был напечатан в газете «Известия» 7 ноября 1928 года. После он был перепечатан в трех изданиях «Крестьян» и в сборниках очерков А.Д. Аграновского).

А.А. Аграновский из села Полковниково прилетел в Николаев. В моем архиве он нашел и воспоминания о встрече с покойным Борисом Леонидовичем Горбатовым, который был в «Майском утре» 15 января 1930 года. С бригадой ЦК партии и редакции «Правды» писатель изучал ход сплошной коллективизации в Алтайском крае.

Очерк о моей встрече с ним «поглянулся» А.А. Аграновскому. Он забрал его в Москву. Редакция Всесоюзного дома радиовещания и звукозаписи пожелала, чтобы я записал на пленку свои воспоминания о Б.Л. Горбатове.

В один из дней моего пребывания в Москве после свидания с космонавтом и его родителями эта запись была выполнена под редакцией В.В. Керовой...

Начитавшись в газетах и журналах о космонавте Германе Титове и об учителе Топорове, старооскольские культурно-общественные работники спохватились:

– Да ведь Топоров-то – наш земляк, уроженец села Стойло. Он выступает на собраниях, в печати, по радио и телевидению. А что же мы зеваем? Надо звать его в гости и перенимать его опыт культурной работы.

Мне пришло из Старого Оскола приглашение райкома партии, райкома профсоюза работников просвещения и коллектива педагогов и учащихся Каплинской средней

школы, а из Белгорода – от редакции газеты «Белгородская правда».

Был конец апреля. Чувствовалось дыхание весны. Хотелось явиться в родные места «добрым молодцем». Обегал я все одежные магазины Николаева – не нашел плаща по своему росту. Попадались то какие-то лапсердаки до полу, то кургузики по колено. Пошел я в торговый отдел обкома партии. Показал одному из инструкторов приглашительные бумажки из Старого Оскола и Белгорода и ляпнул:

– Отобью депешу, что приехать не смогу: в Николаеве не нашел приличной одежды.

– Что вы, что вы?! – встревожился партийный работник. И хватить телефонную трубку:

– Терентий Петрович! Сейчас к вам на базу приедет товарищ Топоров. Подберите ему лучший плащ и оформите продажу через магазин...

Меня одели, и я тронулся в путь. По предварительной договоренности, в Белгороде меня встречал представитель прессы Г.Я. Мень. Вот какой «персоной» стал стойленский голодранец! В лучшей гостинице для меня был забронирован номер-люкс. Наутро сюда явились заместитель редактора «Белгородской правды» Г.Д. Крупа, Г.Я. Мень и фотограф. За обильным завтраком состоялась «теплая дружеская беседа» и фотосъемки.

С вечерним поездом я в сопровождении Г.Я. Меня и председателя Старооскольского райкома профсоюза работников просвещения В.П. Батраченко «отбыл» в Старый Оскол.

В тамошней приспособленной гостинице (новая только еще строилась) оборотистый Г.Я. Мень как-то умудрился связаться по телефону со Степаном Павловичем. Попытался он дозвониться и до космонавта, чтобы просить его прибыть в Старый Оскол на торжество, которое пока держали от меня в секрете. Но затея Г.Я. Меня сорвалась.

На совещании у второго секретаря райкома партии А.П. Воробьева составили график моих встреч. Ко мне приставили гидов: секретаря райкома комсомола А.А. Гончарова, симпатичного и толкового юношу, и журналиста Ф.П. Березу – человека вулканического темперамента.

И вот мы мчимся мимо молодого колхозного сада в Каплине. Я вижу краснокирпичное двухэтажное здание школы. Внешне оно ничуть не изменилось. Выглядело точно таким же, каким было и в 1908 году, когда я окончил в нем Каплинскую второклассную учительскую школу...

Смотрю я на него – и сердце сладостно и больно трепещет. Более полвека прошло с тех пор, как я денно и нощно мечтал об ученье в этом здании! Не раз ходил я около него – и душа сгорала от зависти тем счастливым, которые учились в его классах. Нахлынули вереницы воспоминаний. Прошибла слеза. И горькая мысль «а жизнь-то подходит к концу» ядовитой стрелой вонзилась в сердце...

Наша машина остановилась у парадного входа в школу. Директор Н.И. Масалов и группа педагогов встретили приезжих. Я не мог оторвать глаз от школьного сада, на закладке которого трудился так давно! Угадывал места, где были посажены яблони, груши, вишни, сирень; где стояла маленькая пасека учителя Петра Матвеевича Сотникова; где, как часовые, выстроились тогда пирамидальные тополи.

Среди встречавших нас было несколько педагогов-пенсионеров, моих сверстников. Аллах мой!!! Да это же Афоня Саплин! Самый талантливый, звонкоголосый дискант в каплинском школьном хоре! Мой задушевный друг. По приказу главного хормейстера П.М. Сотникова мы с Афоней мучились, разучивая с «олухами» трудные партии церковных песнопений...

На парадной линейке меня, как водится, провозгласили почетным пионером и повязали красным галстуком. В продолжительной беседе со всем школьным коллективом я поделился своим просветительским опытом и провел параллель между бывшей Каплинской бурсой и нынешней десятилеткой...

Осматривая все классы десятилетки, я радостно дивился их целесообразному оснащению и напоминал слушателям, какими мрачными казармами были эти классы в годы моего учения в Каплинской учительской школе.

Неизгладимое впечатление произвели на меня химический, физический, сельскохозяйственный кабинеты и мастерские по труду. Какой здесь простор для подлинного многостороннего развития молодежи!

Только одно несколько опечалило меня: я не видел в школе ни одной скрипки. А не в укор будь сказано нынешним педагогам десятилетки, – в Каплинской бурсе (я уже говорил об этом) было много циммермановских скрипок. Скрипка же в любом учебном заведении – это знак высокой постановки в нем эстетического воспитания. А там, где нет эстетики, нет и этики. Это мое credo, которому я неукоснительно следовал в течение всей своей педагогической жизни.

Каплинские коллеги почтили меня пышным банкетом, на котором присутствовало не менее 40 человек. Обменивались дифирамбами, цветистыми тостами, много пели, умеренно пили и фотографировались. Мне преподнесли памятный подарок – «Золотую осень» Левитана в роскошной раме. Не остался в долгу и я: в «отдарок» оставил школе «Крестьян» и комплект фотоснимков о космонавте-2 Германе Степановиче Титове.

Напоследок я еще раз обошел все классы, кабинеты, мастерские школы, ее усадьбу, прощаясь с ними и со своей юностью...

Мне никогда не снилась такая помпа, какой земляки обставили посещение Старооскольской школы-интерната, куда меня привели завывающие горло и роно, секретарь райкома комсомола и Ф.П. Береза.

Едва я переступил порог большого красивого зала, как духовой оркестр грянул бравурный марш. Я аж испугался от неожиданности. Ей-богу!

Ученики выстроились по-военному. Директор П.И. Морев закатил «входную» речь, представляя меня педагогам и учащимся. Бойкий пионерчик подошел ко мне, отчеканил рапорт и вручил разукрашенный фолиант. А я, не зная, как отвечать на рапорт, хлопал глазами, глуповато улыбался и жал руку пионерчику. Искоса поглядывал на публику: не смеется ли надо мною?

Потом я и «свита» уселись на стулья около стены. Хор учеников под управлением С.С. Шевчука исполнил ряд хороших песен. Пел он и сочинения дирижера. Такого слаженного многоголосого пения я до того не слышал ни в одной советской школе, где побывал.

Зал и классы школы-интерната были украшены картинами работы С.С. Шевчука и его питомцев. Он многогранно

одаренный артист, суший клад для общеобразовательной школы.

Восхитил меня и урок немецкого языка во 2 классе. Дети свободно, весело читали и декламировали стихи, а на «закуску» спели несколько песенок на этом языке.

На всем, что я видел в школе-интернате, лежала печать высокой педагогической культуры. Эстетическому образованию здесь придавали большое значение. Это радовало. За обедом у директора зав. горono А.Л. Дробышев, элегантный молодой человек, приятным баритоном исполнил несколько оперных арий. Аккомпанировал ему все тот же С.С. Шевчук.

Записав в книге посетителей школы свои впечатления, я вышел к ожидавшей автомашине, чтобы уехать. Но тут меня облепили младшеклассники, повисли на мне и долго не хотели отпускать. Дружба наша продолжается и ныне...

На самой высокой точке Старого Оскола стоит большое красное каменное здание. До революции в нем помещалось духовное училище, которое стойленцы называли «семинарией». В темные осенние ночи его большие полукруглые окна пылали огнями, и оттого все училище казалось сказочным дворцом. Оно запомнилось мне с раннего детства.

Революция, гражданская и Отечественная войны пощадил его. И в 1962 году оно было как только что построенное! В нем теперь работает городской Дом культуры.

Накануне Первого мая друзья повели меня туда на праздничный концерт. Ходя по комнатам Дома культуры, я вспоминал далекое прошлое. И опять затрепетало сердце... Осенью 1909 года в этом доме я держал экзамен на звание полноправного учителя церковноприходской школы... Вот бывший рекреационный зал. Ныне он – театральный зрительный ... А вот и комната, где я дрожал перед экзаменаторами. Живо воскресли в воображении: регент хора – толстый, одутловатый и добродушный И.Г. Попов; волохатый математик А.Е. Благосклонов и притулившийся возле него тщедушный желчевик Н.С. Петров – преподаватель русского языка, гроза всех старооскольских бурсаков. Он подсолил и мне. И сейчас слышу его скрипучий, как старая телега, голос:

– Что такое местоимение?

Я ответил.

– А почему оно так названо?

– Потому, что заменяет имена – существительное, прилагательное и числительное.

Желчевик резко и грубо оборвал меня:

– Вы говорите чушь!

Я и замолк, не понимая, чего от меня хочет инквизитор.

Видя, что он мудрит, А.Е. Благосклонов вклинился с другими вопросами, и я благополучно прошел все рифы.

Тогда же в «кулуарах» бурсаки говорили, что Петров для них – «язва». Недаром однажды в темном переулке у него ножом «пощупали ребра», после чего он долго лежал в «богоугодном заведении»...

Концерт старооскольских самодеятельных артистов, вопреки моему ожиданию, был великолепен. Музыкальная часть его состояла из серьезных классических и советских номеров. Исполнение – под стать профессиональному. Очаровал и поразил публику 13-летний баянист-вундеркинд. Он блестяще сопровождал такие трудные вещи, как «Соловей» (колоратурный вариант) Алябьева, ария Розины из «Севильского цирюльника» Россини и т.п. Причем, чрезвычайно выразительной мимикой он показывал певцам нюансы исполнения. Видно было, что этот юнец на репетициях здорово муштровал их. Мне после говорили, что одаренный мальчик быстро закончил музыкальную школу, перескакивая через класс. Интересно: какова его дальнейшая судьба?

Не в угоду землякам, а по чистой совести скажу, что концерт их художественной самодеятельности был лучшим из всех, которые я раньше слышал в провинции.

Получил я и билет на право входа на трибуны во время Первомайского парада, но он пропал даром: стыжусь торчать в первых рядах на всех многолюдных собраниях...

А о главном событии этой поездки – поездке в родное село Стойло и о митинге на стойленских меловых горах 28 апреля 1962 года – пока что рассказывать повременю...

Мой отъезд с родины был прозаичен. Ранним утром Ф.П. Береза и А.А. Гончаров посадили меня в кабину грузо-

вика – и марш на станцию Старый Оскол. А там – в вагон – и будь здоров!

В Белгороде я провел одну, последнюю, встречу – в редакции комсомольской газеты «Ленинская смена». Эта «акция» занесена в «анналы» газеты и запечатлена в снимках искусного светописца В.И. Долбыша. Часто и с теплым чувством вспоминаю весь милейший редакционный синклит: редактора Н.С. Игрунова, поэта Ю.А. Чубукова, художника В.И. Лебедева и др.

При покупке билета на поезд Харьков-Николаев произошел характерный инцидент. Кассирша отрезала мне:

– Билетов нет!

Я, изобразив простофилю, заныл:

– Вот тебе и «дед» космонавта Германа Титова!.. Ему и места-то нет в поезде. Хоть шагай по шпалам до Николаева!

Кассирша встрепенулась:

– Какой дед? Какого космонавта?

– Дед космонавта Германа Степановича Титова, учитель Топоров. Весь мир его знает, а вы, должно быть, газет не читаете и радио не слушаете...

– Позвольте, позвольте... Вы – Топоров?!

– Я самый. Смотрите фотографию: космонавт, его отец и я.

Взглянув на фото и ничего не сказав, кассирша вихрем улетела куда-то. Через две-три минуты она вернулась и:

– Пожалуйста, получите билет!

Эх, до чего же крепко еще сидит в нас раболепство перед знатными именами!

Отец и сын Титовы любят преподносить приятные неожиданности. 24 июня 1962 года был праздничный день. Я отправился в яхт-клуб, чтобы подышать чистым воздухом Южного Буга. Сижу, наблюдаю за игрой шахматистов. Вдруг слышу голос внука Вовы:

– Дед! Скорее домой! Степан Павлович прилетел!

Бегу. И вот тебе – новая радостная встреча с любимым учеником. Степа смеется:

– Многих николаевцев я спрашивал, где улица Мархлевского, отвечали – не знаем. Да спасибо, одна старушка выручила: да это же, говорит, улица Католическая по старому... Старушка эта и довела меня до вашего дома.

А то я дважды доходил до него – и возвращался в гостиницу.

А жена моя чуть-чуть не упустила дорогого гостя... до моего прихода из яхт-клуба. Рассказывала, как это было:

– Сижу я, читаю книгу. Слышу – стучат. Войдите, говорю. Не входит. Отворяю дверь. Стоит за порогом мужчина. Шляпа надвинута на глаза. Спрашивает: – Адриан Митрофанович дома? – Нету. – А где же он? – В яхт-клубе. – Когда вернется? – Не знаю. – Ну, я уж после зайду. – Да вы заходите, пожалуйста, в комнату. Мужчина вошел в коридор и снял шляпу. Я и ахнула: – Степан Павлович! Да вы ли это?! – Самый доподлинный ваш бывший ученик по рисованию.

Годы и житейские треволнения преобразили давних друзей так, что они не узнали сначала друг друга...

Интересно прошла содержательная встреча Степана Павловича с сотрудниками газеты «Южная правда».

На второй день один из работников обкома партии усадил в автомашину Степу, фотографа К.В. Дудченко и меня и повез нас по всем достопримечательностям Николаева. Были мы и на строительстве нового моста через реку Южный Буг. Главный строитель, будущий лауреат Ленинской премии Корелли давал пояснения о его новом методе мостостроения, за что он и был удостоен вскоре высшей награды. Затем на катере мы дважды переплыли Южный Буг.

Вечером мы со Степой выступали в Лесках в пионерском лагере. Через три дня желанный гость улетел. Я подарил ему на память одну из моих скрипок.

В то же лето у меня гостила сестра космонавта Земфира. Заодно она проходила фармацевтическую практику в третьей аптеке города Николаева...

И приличном свидании в Москве, и в печати Герман Степанович обещал посетить «духовного» деда в Николаеве. Приезд его тоже был – как снег на голову. Летом 1963 года космонавт проводил отпуск с семьей на киевском курорте Пуца-Водица.

Под вечер 20 августа он на своей автомашине и подкатил ко мне. Один, без шофера. Без всяких регалий, без фуражки, в рубашке-безрукавке и в расхоженьких штанишках.

В то время я сидел у соседа на втором этаже дома. Поэтому я не видел первого появления космонавта в нашей

квартире. Передаю слово очевидице – невестке Марии Михайловне:

– Юрий (муж – А.Т.) пришел с работы и лежал на кровати, читая книгу. Я мылась в ванне... Стук в дверь. Юрий крикнул «да»! Кто-то вошел в комнату. Я оделась и тоже вошла туда. На краешке стула сидит небольшого роста человек и поигрывает ключиком от автомашины. Спрашивает Адриана Митрофановича. Я смотрю на человека и думаю: к нашему деду всегда приходят учителя, артисты, писатели, музыканты, а зачем же к нему какой-то шофер?! Всматриваюсь в лицо: знакомое! Где-то я его видела, но не могу вспомнить – где! Говорю: Адриан Митрофанович наверху, у соседа. Позвать? – Позовите. – А как сказать, кто спрашивает? – Герман. – Какой Герман? – Титов... Батюшки! Я – брык на стул. Юрий прыгнул с кровати и заорал: – Гера! И давай тискать его, обнимать-целовать! Я – на верх за дедом...

Да, Марья Михайловна ворвалась к соседу и, как угорелая, завопила:

– Дед! Домой! Скорей! Космонавт приехал!!

Я опрометью кинулся вниз – и в коридоре обнял долгожданного внука. Как полагается, пропустили его через «санобработку», а дальше пошла суматоха подготовки к «приему».

Когда космонавт въезжал во двор и выходил из автомашины, детвора узнала его в лицо. И через несколько минут по городу полетело:

– Космонавт Герман Титов приехал к Топорову!

Первый звонок был из обкома партии. Просили выступить. Но космонавт ответил:

– Простите: не могу. Я неофициально приехал к своему деду и на публичное выступление разрешения не имею...

Его поняли и больше не тревожили. А вскоре весь наш двор, весь квартал улицы Свердлова (ныне улица Обсерваторная. – А.Т.), вся наша квартира были запружены толпой.

Герман Степанович не хотел никаких фото- и теле-съемок: они ему надоели. Но я упросил его «потерпеть». Он сдался, и телестудийцы, и фотографы «Южной правды» засняли некоторые моменты его приезда...

Как вероятно, всюду, в Николаеве о космонавтах почему-то ходили всякие домыслы, порой нелепые. Скажу только о самом чудовищном.

Мой приятель и партнер по игре в симфоническом оркестре, инженер В.И. Шенфельд как-то на репетиции шептал мне:

– Адриан Митрофанович! Ведь Герман Титов давно уже умер от космической радиации, но об этом молчат, чтобы не огорчать народ, не сеять паники. А вы-то уж, конечно, знаете все. Скажите по строжайшему секрету – умер или жив? Клянусь здоровьем: никому не передам!

Я расхохотался:

– Вот что, Витя: космонавт намеревался навестить меня в Николаеве. Если в самом деле он приедет, я тебе сейчас же позвоню, позову.

И позвонил, и позвал. Нарочно посадил Фому неверующего рядом с космонавтом:

– Садись, Витя, пей с «покойником» шампанское и жуй жареных бычков!

Чья-то злоумышленная брехня была убита.

Во время последнего обеда к открытому окну подошли дети из детского садика. Они читали стихи и кидали космонавту цветы.

Герман Степанович много и увлекательно рассказывал о своих зарубежных путешествиях, типах, нравах и обычаях иноземцев.

21 августа, на закате солнца, написав сотни автографов и выдержав атаки фотографов и телеоператоров, он отбыл в Одессу...

Летом 1964 года я был вызван в Новосибирск и Барнаул. Пока я «гастролировал» в Сибири, николаевские литераторы Борис Лазаревич Аров и Эмиль Январев составили по заказу Укрфильма сценарий для документального кинофильма «Незримый пассажир», в котором изображались отдельные эпизоды из моей жизни и работы в Сибири и на Украине.

Картину ставил режиссер М.И. Шапсай. Она – звуковая. Съемка длилась 25 дней. До нее я никогда не предполагал, что процедура киносъемки – это каторжный труд! Тем более, – в тесной комнате, где температура от мощных све-

тильников поднималась выше 50 градусов! Каждый пустяковый кадр снимался много раз. Это меня, 73-летнего тогда старика, вымотало до шпенту!

Фильм успешно прошел на киноэкранах всего Советского Союза. На нем хорошо заработали: киностудия, авторы сценария, оператор, режиссер и прочие участники дела. Я ничуть не завидую им, а, наоборот, радуюсь за людей. Это так и должно быть.

Но и я получил особенный гонорар – фигу с маслом, т.е. тяжелый нервный срыв от крайнего переутомления. А жена моя, тоже снимавшаяся в фильме, схватила инфаркт. Наша квартира долго была госпиталем.

Режиссер и директор картины разъяснили мне, что я, как главный герой фильма, по закону не имею права на гонорар. Впрочем, я и не претендовал на него. Но всякому понятно, что фильм о человеке дорог ему и на память, и как документ к биографии. Поэтому я попросил Укрфильм – подарить мне или продать узкую ленту картины. Не подарил и не продал! Ответили:

«Прокат фильмов (как будто я собирался «прокатывать»!) является монополией государства, а поэтому частные лица и организации не имеют право на их приобретение».

ЦК КПУ подтвердил это, но добавил, что им указано Укрфильму о высылке нескольких фотоснимков из картины «Незримый пассажир». Но, увы! До сего дня я не получил их!

Напрашивается вопрос: ужель я – частное лицо по отношению к названному фильму?! Но... *dura lex, sed lex...**

Я никогда не отмечал своего дня рождения. Считал, что этот ритуал в жизни обыкновенных людей не имеет никакого значения. На это обычно возражают: ну, как же не поздравить именинника? Надо же пожелать ему в этот день здоровья, успехов, счастья. Это – добрый обычай, веками установленный. Этого требует этикет. Наконец, это культурно, гуманно, красиво... Не спорю. Но желаю всем людям на свете всяческих благ **ежедневно**, а не только в дни их рождения.

* Латинское: суров закон, но это – закон. – А.Т.

Никому я не открывал даты моего «тезоименитства», но о ней все же пронюхали мои доброхоты, доложили обкому партии – и тот указал: отметить 75-летие учителя Топорова. Как не отрещивался я от чествования, а его устроили!

Так, 6 сентября 1966 года в «Известиях» напечатали мою статью «Поможем музам» – об эстетическом воспитании школьников. Вдобавок редакция прислала мне большую художественную медаль с надписью: «*За творческие успехи Топорову Адриану Митрофановичу в день 75-летия. Москва, сентябрь, 1966 г.*» Но вот эту медаль я чту, как высшую награду.

Официальная часть юбилея проходила во Дворце пионеров. Зал был переполнен педагогами, студентами, старшеклассниками, литераторами и проч. Гремел духовой оркестр. На эстраде за длинным столом восседал президиум. В центре его – юбиляр... И пошло! Вереница велеречивых поздравлений, приветствий и пожеланий; подарки, адреса, сочиненные в прозе и стихах, поцелуи, поцелуи, поцелуи... Аж щеки жгло!

А «герой дня» сидел, как на костре, не зная, куда деваться от жгучего чувства неловкости, какого ни разу прежде не испытывал. Нет ничего фальшивее и бесстыднее превысшенных слов, произносимых на юбилеях заурядных людей. Тут всегда или наглая ложь, или беспардонное преувеличение заслуг юбиляра. И если он не безнадежный дурак, то выслушивание фарисейских славословий для него – мука-мученическая!

Поневоле вытерпев посвященную мне литургию, я почувствовал почти такую же радость, какую пережил при освобождении меня из исправительно-трудового лагеря!..

Руководящие органы Николаева запланировали на 20–21 октября 1967 года слет комсомольцев трех поколений. Это дело было обставлено особенно пышно. Для пущего эффекта пригласили космонавта Германа Степановича Титова. Заключительную фазу торжества наметили провести в Парке Победы 21 октября.

Зная, что космонавты строго экономят время, я ожидал прилета «духовного внука» в Николаев не раньше 20 октября.

Накануне вечером я направился на очередное собрание литературного объединения при редакции «Южной правды». Мокрый от дождя асфальт на широкой Адмиральской улице сверкал под светом фонарей. Движение в городе стихло. Я спокойно шлепал посредине улицы. Внезапно за спиной я услышал шипенье и хлопанье автомобильных шин и крик:

– Стой!

«Неужели грабители?!» – подумал я.

Машина остановилась. Из нее вынырнул наш вездесущий и всеведущий журналист Борис Лазаревич Аров.

– Я за вами. Садитесь, едем.

– Куда? Зачем?

– Герман Степанович уже прилетел. Меня послали за вами. Был у вас на квартире. Сказали, что ушел на литобъединение. Я и настиг вас. Садитесь.

– Где же космонавт?

– В Лесках, на даче обкома.

Приехали туда. Эта дача – резиденция для приезжающих в Николаев высоких должностных лиц и гостей.

Я вступил в ярко освещенную большую роскошную комнату. Вокруг длинного, обильно сервированного стола уже сидели многие высокопоставленные лица. «Ассамблею» остроумно вел секретарь обкома В.А. Васильев.

Герман Степанович пошел ко мне навстречу. Обнялись. Мне отвели место рядом с «первоприсутствующим». Вот куда залетела «белая ворона»! Думал ли, гадал ли я когда-либо попасть в «высшую областную сферу»?!

Все шло чинно, благородно. Шутки, остроты, смех и тосты, тосты, тосты! Секретарь горкома партии Е.И. Волохова произнесла тост даже в мой адрес! Держал достойный ответ и я.

Ужин был лукулловский. И во сне я такого не едал! В интервалах между яствами гости поднимались на второй этаж, смотрели по телевизору футбольный матч, спускались вниз, играли на бильярде. Но **своей** музыки не было. К пианино никто не притронулся.

Во втором часу ночи меня на автомашине доставили домой. Космонавт на этот раз был гостем города и ночевал в отведенных ему апартаментах.

Наутро он выступал по местному телевидению. Интервью с ним вел Б. Аров. Затянули в телестудию и меня. Я сидел возле космонавта в качестве живой мебели. И только для того, чтобы «внук», отвечая на вопрос о цели его приезда в Николаев, мог бросить взгляд на меня и сказать:

– После празднества хотелось проведать и своего духовного деда.

Этот взгляд космонавта ловко поймал на фото К.В. Дудченко. Вышел редкий по живости снимок.

По окончании собрания представителей трех поколений комсомольцев первый секретарь обкома партии Т.Т. Поплевкин завез Германа Степановича на нашу квартиру и пошутил:

– Оставляю вам гостя на один час. Потом заеду за ним и заберу.

Мы просили Трофима Трофимовича оставить у нас космонавта подольше.

– Не могу! Прошлый раз он был вашим гостем, а ныне – нашим.

Набавил только 15 минут. А потом приехал и увез... Такой мимолетной была моя вторая встреча с «духовным внуком» в Николаеве.

Не знаю, когда он улетел на Кавказское побережье Черного моря доканчивать отпуск...

Наш горсовет присвоил ему звание почетного гражданина города Николаева.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. НА ПИР АРХИВНЫМ ГРЫЗУНАМ

В предыдущих главах я уже касался весьма неприятной темы – приятелизма или блата. Не умолчал и о том, что этот тяжкий недуг давно уже поразил литературу и всю издательскую сферу в нашей стране. Теперь они монополизированы маститыми да их подопечными, да блатняками. А последних развелось – легионы! Потому-то я, хоть все еще скребу пером, знаю отлично, что тем самым – готовлю пир архивным подвальныйм грызунам...

В течение полувекового преподавания на скрипке я наблюдал странное явление: во всех известных мне школах, этюдах и упражнениях, написанных для этого инструмента, не было самых важных методических пояснений о технических, а точнее – о психико-физиологических приемах игры. Зато эти жемчужины в изобилии рассыпаны в литературных трудах великих виртуозов – скрипачей и виолончелистов, выдающихся методистов, композиторов, пианистов, исследователей в областях, смежных с музыкой, и мастеров смычково-струнных инструментов. Но их книги давно стали библиографической редкостью или заменяются новыми, не всегда лучшими.

Между тем, упомянутые пояснения остро нужны огромной армии провинциальных скрипачей: педагогам и ученикам музыкальных школ и училищ, любителям скрипки, не закончившим своего образования и не имеющим живого руководства...

Еще в 1947 году у меня возникла мысль составить хрестоматийный сборник высказываний вышеперечисленных авторитетов по вопросам игры на скрипке. Такой хрестоматии не было и нет поныне.

Девять лет я выписывал из самых больших библиотек Москвы и Ленинграда книги, изучал их, делал извлечения. Собранные материалы систематизировал: разбил их на отделы и главы. Получилась «Настольная книга скрипача». В ней выдержки из 55 литературных трудов, в коих заключены суждения 179 авторитетов. Книга построена так, что по любому вопросу скрипичной техники, изучаемой в музыкальных школах и училищах, можно найти полезный совет крупного специалиста.

Сам я благоговейно стою за спинами великих. Написал только предисловие о причинах, побудивших меня к составлению хрестоматии. Обосновал и включение в нее разноречий и противоречий по одним и тем же вопросам методики обучения на скрипке. Я сознательно уклонился от критики разнобоя, полагая, что эта работа относится к компетенции высококвалифицированного редактора хрестоматии.

Я составлял эту книгу в условиях глубокой провинции. Нужные источники добывал с трудом. Некоторые уникаль-

ные произведения, как, например, «Основательное скрипичное училище» Л. Моцарта, «Школа скрипичной игры и ее значение для скрипача-исполнителя, композитора, педагога» О. Тидебаля, «Руководство к изучению четвертой тона для скрипки» М.В. Матюшина, «Школа-самоучитель для скрипки» Ж. Роде и П. Бальо – невозможно было получить **ниоткуда** даже в порядке межбиблиотечного абонемента. Нечего уж говорить о новейших методических пособиях зарубежных скрипачей и о восьмичастной «Школе» Л.С. Ауэра, изданной в США в последний период педагогической деятельности ее автора.

Однако я надеялся, что и собранный в хрестоматии материал принесет скрипачам немалую пользу. Систематизировать его было нелегко. Иногда по одному и тому же вопросу методисты пишут в разных отделах и главах их книг. Так, о глиссандо можно прочесть в главах «портаменто», «глиссандо» и «соединение позиций».

Я сознаю, что в моем опыте было много ошибок. Но крепко верю: пока нет белого хлеба, голодный рад и черному...

17 сентября 1957 года я ознакомил Музгиз с содержанием «Настольной книги скрипача». Через три с половиной месяца заместитель главного редактора издательства К. Фортунатов попросил меня выслать ему хрестоматию.

В самом начале 1958 года я отправил рукопись. Но издательство почему-то молчало. Семь письменных запросов об ее участии сделал я Музгизу. Еще два запроса – мои московские друзья: поэт И.Е. Ерошин и писатель Е.Н. Пермитин, которые лично справлялись о хрестоматии. Результат тот же. Как в воду канула рукопись в 556 машинописных страниц! На девять запросов – гробовое молчание!

В разговоре со мною по телефону примерно через год К. Фортунатов сулил скорый подробный письменный ответ о рукописи, но опять обманул.

Моя попытка разобраться с произошедшим через московскую газету «Литература и жизнь» также не увенчалась успехом. Как выяснил мой приятель, журналист П.Д. Стыров, один из ее сотрудников, близкий к дирекции Музгиза, при верстке номера попросту изъял этот материал!

Однако тот же П.Д. Стыров как-то сумел расшевелить бюрократическое гнездо этого издательства. Директор Музгиза М.В. Лобищев откликнулся покаянным письмом, за этим последовало фальшивое извинение и хитреца К. Фортунатова. В нем уже шла речь о необходимости внешнего рецензирования моей рукописи, которую бесцельно мариновали в Музгизе два года и три месяца! И это – увы – обычное у нас, совершенно беспардонное нарушение авторского права!

Напуганные П.Д. Стыровым музгизовские ловкачи в пожарном порядке наковеркали отрицательную рецензию на хрестоматию, чтобы как-нибудь заткнуть мне рот. Эта «рецензия» представляла собой концентрат лжи, цинизма, извращений и невежества. Так называемый закрытый рецензент был не кто иной, как тот же Константин Александрович Фортунатов! За свое «блюдо» этот «повар» сгрел с государства около 2000 рублей старыми деньгами! Это подтвердили литераторы, получавшие когда-либо гонорар за закрытые рецензии.

К. Фортунатов «бегло» (его выражение) просмотрел из 567 страниц хрестоматии только 31 страницу! Из 102 глав книги он галопом пробежал лишь семь глав! Уж один этот галоп показывает, сколь добросовестна была оценка хрестоматии! В рецензии нет ни единого правдивого предложения.

Ответ на нее я написал на 45 страницах. Не оставил от брехни камня на камне и направил опровержение в ЦК КПСС, после чего Музгиз стал весьма оперативным.

Только сути дела это не изменило. Чиновники от музыки по-прежнему делали все, чтобы провалить книгу. Поскольку методы работы руководства этого издательства читателю уже стали понятны, остановлюсь всего лишь на одном моменте этой неравной борьбы. Но уже с иной целью, ибо тяжба с Музгизом подарила мне и уникальную, незабываемую встречу. Вот уж воистину – не бывает худа без добра!

В сентябре 1960 года я прибыл в Москву в надежде лично попасть в ЦК КПСС, чтобы еще раз заручиться поддержкой этого всесильного, как я наивно думал, органа. Тогда же я задумал послушать мнение великого скрипача Давида

Федоровича Ойстраха – об идее и цели «Настольной книги скрипача».

Не скажу, что реализовать эту задумку было легко. Однако – 29 сентября мы с другом и скрипачом Альфредом Шрайбером пришли в консерваторию. Ждали маэстро около часа. Он приехал на машине. За рулем – сам. Мы разделись в левом крыле здания. Дежурная женщина-швейцар предупредила:

– Раздевайтесь и ждите здесь. Он тут же будет раздеваться. Без его разрешения наверх идти нельзя.

Вот по лестнице в раздевалку поднимается невысокий, плотный, полнолицый человек с умными веселыми глазами и большим лбом. Проходя мимо нас, он кивнул Альфреду головой (тот недавно познакомился с ним на концерте в Одессе). Когда Давид Федорович разделся, мы подошли к нему:

– Здравствуйте, Давид Федорович! Я – тот самый учитель Топоров, который позавчера по телефону просил вас уделить ему несколько минут для беседы о «Настольной книге скрипача».

– А-а, помню... Здравствуйте, здравствуйте.

Маэстро пожал руки мне и Альфреду.

– Ну, пойдёмте со мной.

Мы поднялись за ним в его класс № 8. На стене у входа в этот класс прибита мемориальная доска с надписью:

Класс заслуженного деятеля искусств
проф. Льва Моисеевича Цейтлина

Давид Федорович провел нас в большую общую комнату. Тут он остановился, чтобы выслушать меня.

– Я обращаюсь к вам, Давид Федорович, как к высшему авторитету... Прошу ответить на два вопроса. Нужна ли моя хрестоматия?

– Да, конечно. В принципе нужна. Но надо знать, каковы конкретные высказывания содержит она, какова их ценность.

Я назвал много знаменитых имен, в том числе и его.

И еще вопрос:

– Не можете ли вы порекомендовать специалиста, который прорецензировал бы мою книгу?

– У нас есть профессор Борис Евгеньевич Кузнецов. Он – методист. Часто бывает в провинции, инструктирует педагогов, знает там все положение. Обратитесь к нему. Скажите, что я вас послал.

– Сердечное спасибо!

Маэстро повернулся и зашагал было к своему классу. Я прилип к нему:

– Давид Федорович, доставьте нам большую радость: разрешите хоть у дверей вашего класса послушать, как вы ведете урок. Это для нас будет памятно и поучительно на всю жизнь.

– Смотрите: палец порезал. Показать на скрипке ничего не могу... Но подождите с часок. Мы в классе проведем экзамен одному иностранцу, а затем будут у меня играть те, которые готовятся держать экзамен в аспирантуру. Тогда вы и приходите в мой класс.

Мы потолкались по коридору, пока экзаменовали иностранца, послушали игру скрипачей Пикайзена, Фролова и других.

Фролов вошел к маэстро первым. Двойная дверь класса отворилась. У противоположной стены, ближе к углу, за столом сидел Давид Федорович. Он заметил нас с Альфредом и пальчиком поманил – войти.

– Садитесь, пожалуйста, – просто и сердечно пригласил он нас.

Мы уселись на стульях возле длинного дивана, на котором увальнем переваливался с боку на бок коротенький толстяк, по-видимому, свой здесь человек. Это был профессор Одесской консерватории В.З. Мордкович.

Фролов играл «Чакону» И.С. Баха, некоторые части концерта П.И. Чайковского и еще какую-то пьесу. После Фролова «Чакону» и концерт Д.Д. Шостаковича исполнял Виктор Данченко, которого я много раз слушал по радио. Прекрасные скрипачи!

Интересно идут занятия у Давида Федоровича. Куря тоненькую папироску через мундштук, он сперва спокойно выслушивает исполнение произведения до конца. Слушая, он то неподвижно сидит, закрыв глаза; то внезапно открывает их и вонзает в исполнителя; то ритмично покачивает головой в такт игре; то складывает ладони и прислоняет большие пальцы друг к другу.

Скрипач умолк... Начинается анализ игры. Маэстро тихо напевает те места пьесы, которые надо было переиграть. Он интонациями голоса, движениями рук в воздухе и мимикой показывает ученику, как надо исполнять. Показывает раз, два, три раза, пока не добивается желательного результата. А если ученик играл так, как хотел профессор, он похваливал:

– Так, так... хорошо!

Каждую музыкальную фразу, каждую нотку Давид Федорович доводил до предельной выразительности.

Когда что-либо выходило плохо, он мягким стуком пальцев по столу останавливал игру:

– Это надо играть шире, шире.

Или:

– Эту фразу играй теплее, как можно мягче!

Из уст маэстро то и дело летели замечания:

– У тебя (он с учениками на «ты») левая рука не живет, одеревенела, как будто в ней нет крови и нервов. Оживи, оживи левую руку! А здесь (поет) смычок облегчи... Не надо нажима о-го-го! Надо плавно, нежно. А в этом пассаже (напевает его) у тебя нет бисерной четкости... Темп «Чаканы» у тебя вначале вялый. Ты сразу энергично входи в нужный темп. А то не знаешь, по первой или по последней ноте фразы следует определять темп... А вот в этом месте (поет) у тебя есть шум, а звука нет...

У Фролова после гриппа заболело ухо, вследствие чего он часто детонировал. Тогда Давид Федорович бил пальцем по мочке своего уха и говорил:

– Фа диэз выше нужно, выше!

После он отечески заботливо советовал:

– Ты обрати внимание на ухо. Согрей или масла там влей... А то может быть серьезное заболевание...

Когда Виктор Данченко сыграл концерт Шостаковича, Давид Федорович подошел к нему и ласково похлопал по плечу:

– Хорошо! Очень хорошо! Молодец!!

Иногда во время урока профессор выходил из-за стола и шагал по диагонали класса, не переставая делать ученику указания.

Мы с Альфредом Шрайбером просидели на уроке Давида Федоровича три часа непрерывно! Благодаря его на прощание, я не сдержал восторга:

– Теперь мы видели, как вы граните и шлифуете таланты. Не удивительно поэтому, что советские скрипачи с ослепительным блеском выступают на всех международных конкурсах... Мы обычно видим на сценах законченных артистов, но не знаем, какого адского труда стоит педагогам воспитание этих артистов...

Маэстро пожал нам руки, и мы ушли. Раньше мы думали, что знаменитый мировой скрипач горд и непреступен. А он оказался милейшим, простецким человеком!

Увы – не смог помочь мне протеже Давида Федоровича Ойстраха – профессор Московской консерватории Борис Евгеньевич Кузнецов. Он скоростижно скончался в разгар работы по рецензированию рукописи моего сборника. И та вновь и вновь продолжала ходить по инстанциям...

Музгизовский бюрократизм одержал надо мною «блестательную» победу. Инициатива убита. Огромный, гигантский, полезный труд мой уже тринадцать лет лежит мертвым кладом.

И никому до этого нет дела!

* * *

Каждый учитель скажет, что русский язык – самый, пожалуй, скучный предмет во всей программе общеобразовательной школы. В этом кроется одна из причин низкого уровня развития мышления и речи нашей молодежи.

В пособиях по словесности очень бедна лексика, мало увлекательных упражнений по грамматике, стилистике и логике простого здравого смысла. Авторы учебников по русскому языку и преподаватели его, за редкими исключениями, намеренно обходят сложные, занимательные и наиболее поучительные словесные построения, предпочитая развивать мышление и речь школьников на упрощенных примерах. Но вряд ли эту практику можно оправдать. Легкие задачи слабо активизируют ум.

В наших школах русский язык изучают исключительно на разборах лучших литературных образцов. Этот **основной** метод хорош, но недостаточен. Учит не только анализ совершенного, но и исправление уродливого. Не зря вековая народная мудрость гласит: и на ошибках учатся. Я считаю эту учебу самой активной и плодотворной.

Выдающийся русский педагог-методист В.П. Шереметьевский еще в 1910 году справедливо писал:

«Если бы кому-либо из учителей словесности, выдавших на своем веку немало стилистических курьезов, пришла в голову мысль составить из этих курьезов сборник хоть под таким названием: «Листочки, цветочки и ягодки школьного красноречия», то вышел бы сборник любопытный и поучительный, гораздо более поучительный, чем всевозможные учебники по теории слога, коротко, но не ясно проповедующие о ясности, точности и чистоте слога: такой сборник представил бы, – я говорю совершенно серьезно, – прекрасный материал для упражнений в стилистическом разборе и в исправлении на основании разбора какографических образчиков стиля» (В.В. Шереметьевский, «Статьи по методике начального преподавания русского языка», стр. 107, изд. И.Д. Сытина, Москва, 1910 г.).

Я поместил в свой сборник «листочки», «цветочки» и «ягодки», главным образом, литературного «красноречия»: они еще убедительнее, чем ученические языковые ошибки, доказывают необходимость систематической тренировки в анализе и исправлении порочных текстов. Ведь музыканты, певцы, живописцы, скульпторы, архитекторы, актеры, ученые, изобретатели, писатели, спортсмены, воины и другие специалисты упорно ежедневно трудятся над овладением их профессиональным мастерством – и лишь тогда достигают успеха.

А искусство слова – сложнейшее из искусств. Недаром С.Я. Надсон горестно сетовал: *«Нет на свете мук сильнее муки слова»*.

Алогизмы, аграмматизмы и стилистическая неряшливость порождаются в школе. Отсюда они проникают и в литературу, и во все слои общества.

Мой многолетний преподавательский опыт подтверждает, что систематический разбор трудных слов и предложений, переделка неправдоподобных, нелогичных, неуклюжих словосочетаний в правдивые, разумные и стройные фразы – обогащают лексикон, изоцряют суждения, развивают внимательность и речевое чутье людей, пробуждают у них любовь к родному языку, к его многообразным выразительным сред-

ствам, к изящному стилю; учат избегать ошибок, находить и исправлять их у себя и у других.

Поэтому всем изучающим язык очень полезно делать анализ **дополнительных** к школьной грамматике упражнений, составленных из трудных слов и несуразно построенных предложений...

Еще в начале учительствования я задавался вопросом: почему у нас нет занимательных задачникков по грамматике русского языка, подобных известным книгам Перельмана?

И решил исподволь составлять «Занимательный задачник» по развитию мышления и речи. Более тридцати лет отдал я этому труду, продолжаю его и ныне. Я брал примеры из классической и современной литературы, из обыденных разговоров и деловой переписки, из афиш, реклам, объявлений и прочих бытовых документов. Я предназначал сборник преимущественно школьникам, но в нем много полезных упражнений и для студентов, корректоров, редакторов, журналистов, писателей, ученых и всех любителей русского языка.

В начале 1950 года я связался с журналом «Русский язык в школе». 16 мая этого года зам. редактора и известный в стране ученый-языковед Д.Э. Розенталь писал мне:

«...Я хотел бы вернуться к другому вопросу – к Вашему предложению дать для журнала материалы для занимательного задачника по грамматике и стилистике. Подобный материал нас очень интересует, и мы могли бы его систематически помещать. Буду благодарен, если Вы пришлете для ознакомления какую-либо его часть и обещаю незамедлительно дать Вам ответ».

В июне 1950 года я отправил Д.Э. Розенталя плод моего многолетнего труда. Вскоре тот сообщил о получении рукописи. Так началась история публикации «Занимательного задачника».

Пауза в моей переписке с Д.Э. Розенталем затянулась на четыре месяца. Ответ метра на мои сетования звучал обещанием *«внимательно ознакомиться с рукописью и постараться при возможности скорее дать ответ»* (письмо от 29.10.1950 г.).

Снова я томился неведением о судьбе своего детища почти пять месяцев, предполагая, что боги на лингвистиче-

ском Олимпе сочли его ересью и чепухой. Запросил Розенталя. Ответ вновь был утешительный:

«Напрасно Вы думаете, что я махнул рукой на Ваш задачник... Я отнюдь не пришел к выводу, что – это «ересь», «чепуха». Ваш задачник туго поддается переработке и оформлению в виде журнальной статьи... Постараюсь это сделать в ближайшее время, возможно, для очередного номера» (письмо от 26.03.1951 г.).

И еще раз пятимесячное молчание. А затем – старая погудка:

«...Я не мог выкроить достаточно времени для работы над довольно трудоемким материалом Вашего задачника. В то же время мы считали своим долгом осветить в журнале Ваш интересный опыт. Ваш материал, как Вы справедливо указываете, по назначению гораздо шире и может представлять интерес и для студентов, и для преподавателей, и для писателей, и т.п.» (письмо от 31.08.1951 г.).

Нытье Розенталя о трудности отбора и обработки моих задач для журнальной статьи – это немудреная отписка. Задачник был построен по простейшей схеме. Не могу представить более легкой работы, чем литературная правка моих задач. Если бы мои читатели просмотрели первоначальные тексты этих задач и редчайшие, пустячные поправки редактора, то быстро убедились бы в этом.

Червь подозрения закопошился в моей душе от мысли о черепашьем продвижении «Задачника» на страницы журнала «Русский язык в школе». Лишь в № 1 за 1952 год были напечатаны 36 задачек. И Розенталь еще не преминул воспеть мне осанну:

«Я с удовольствием читал Ваш материал, свежий и интересный по содержанию» (письмо от 04.03.1952 г.).

В № 6 за 1952 год этого же журнала был опубликован второй отрывок из «Занимательного задачника».

Итак, с того дня, когда «Занимательный задачник» попал в руки Розенталя до опубликования первых 36 задачек, прошло полтора года. А «улов» мой за это время более чем скромнен. После второй «грозди» задачек (22 шт.) был семилетний перерыв в публикации последующих задач. Но переключка моя с Розенталем изредка продолжалась. Он интересовался:

«Как идет Ваша неумолимая и кропотливая работа по собиранию интересных грамматических случаев? Как ваши правописные и стилистические этюды? Нет ли чего-нибудь методического для нашего журнала?» (письмо от 13.05.1954 г.).

Казалось, что Розенталь, как истинный доброжелатель, день и ночь печется о моем благополучии, наставляет, учит:

«Вы правильно делаете, подчищая свой задачник. Есть смысл придержать его до выхода в свет нового «Свода» (правил орфографии и пунктуации. – А.Т.). Возможно, что составленное Вами пособие заинтересует Редакцию учебников русского языка и литературы, выпускающую серию «В помощь учителю» (адрес Редакции тот же, что и наш: Чистые пруды, 6). Желаю всяческих успехов.

Уважающий Вас Д. РОЗЕНТАЛЬ» (письмо от 16.03.1956 г.).

Эти слова были дымовой завесой, за которой Розенталь тихой сапой точил мне нож в спину. Видно, завистью его лукавый мучил. Почему-то де какой-то глухотоманный учитель Топоров, а не он, Розенталь, известный лингвист, грамматист, методист, автор многих книг по русскому языку, первым заговорил о занимательной грамматике и первым же может издать ценное пособие по этому предмету?! Нет, это он, Розенталь, не допустит!

В таком ходе мысли Розенталья я не ошибся. Но сначала, по его совету, 29 сентября 1957 года послал Учпедгизу «Занимательный задачник» на предмет издания отдельной книгой и попросил издательство передать мою рукопись на рецензию Розенталю, как хорошо знающему мой опыт. Оно и уважило эту просьбу. Так я сам доверчиво влез в ловушку, расставленную Розенталем.

И 1 декабря 1957 года он «испек» «Отзыв о рукописи А.М. Топорова «Занимательный задачник» по развитию мышления и речи». А через три недели я уже получил из Учпедгиза обратно злополучный фолиант. При нем были: рецензия Розенталья и записочка:

«Уважаемый тов. Топоров А.М., посылаем Вам рукопись вместе с рецензией т. Розенталь, с содержанием которой редакция согласна.

Млад. ред. (подпись неразборчива)».

Мимоходом замечу: в Учпедгизе сидят некоторые неграмотные редакторы. Благо, что хоть младшие! Им известно, что Дитмар Эльяшевич Розенталь – мужчина. Его фамилия по правилам грамматики, склоняется. Это хорошо знают школьники пятого класса, а младший редактор Учпедгиза так и не осилил этой премудрости! Но зато он решает судьбы книг и их авторов!

Теперь обратимся к смертному приговору, вынесенному Розенталем «Занимательному задачнику». Уважая читателя, обойдусь без длинных цитат из этого «отзыва». Только суть.

Цель издания моего сборника, его материал и построение Розенталь нашел приемлемыми, а дальше – славословие:

«Автор, несомненно, проделал большую работу по подбору материала. В сборнике имеются тонкие наблюдения над стилем речи, показ того, как за внешне гладкими фразами скрыты логические и грамматико-стилистические погрешности, приводятся интересные примеры и задачи; даются эффективные упражнения» (рец., стр. 1, 2).

А еще дальше – **разнос в пух и прах**, вопреки очевидности, совести и собственным похвалам!

Но пора открыть секрет напускной слепоты рецензента. Очернив «Задачник», «готовый к услугам» и «уважающий меня» Розенталь подсунил издательству свою книгу («дойлой конкурента!») «Практическая стилистика современного русского литературного языка», написанную совместно с В.А. Мамоновым.

Будем говорить без обиняков. В основу своей части «Практической стилистики...» Розенталь положил **украденную у меня идею** учить мышлению и речи на анализе трудных слов и нелепо построенных предложений. Понятно, почему так долго Розенталь задерживал мою рукопись перед публикацией задач в журнале и клеветнически разгромил ее в рецензии...

Свои упражнения он тоже попытался сделать занимательными, но это ему не удалось. В одном из писем ко мне после ошельмования «Задачника» он признался:

«Прямо могу сказать, что многие Ваши примеры гораздо интереснее тех, которые помещены в «Практической

стилистике современного русского литературного языка»
(письмо от 14.01.1958 г.).

Подведем некоторые итоги.

Розенталь рецензировал 870 задач. Забраковано 74, если даже признать их настоящим браком. Это меньше 10 процентов от 870. А многие ли рукописи не теряли 10 процентов своего объема при редакционной правке?

Но ради справедливости я должен сказать, что в редчайших случаях мельчайшие замечания Розенталя были или верны, или спорны. Такие же его замечания встречались и при редактировании им моих задач, опубликованных в журнале «Русский язык в школе». Но более 90 процентов материала «Занимательного задачника» не подверглось отрицательной критике. Почему же весь сборник обречен был на гибель?!

Думаю, что «когтистый зверь» совести, несомненно, грыз Розенталя за его «темные деянья» против «Задачника». В искупление их рецензент писал мне:

«Что касается использования Вашего материала по-прежнему в нашем журнале, то это вполне возможно. Отберите, пожалуйста, часть задач, подходящих для школьников, и пришлите в редакцию.

Так или иначе, дорогой Адриан Митрофанович, но я не смотрю столь пессимистически на будущее нашей работы. Нужно только терпение... Желаю всяческих успехов»
(письмо от 22.02.1958 г.).

И в № 6 журнала «Русский язык в школе» за 1959 год были опубликованы еще 30 моих задач.

А дальше опять была многолетняя и, увы, опять совершенно бесплодная тяжба с этим государственным издательством. Не помогли и мои многочисленные жалобы в самые высокие инстанции – вплоть опять-таки до ЦК КПСС. Хотя много раз мне казалось, что победа близка.

С тех пор я выработал для себя заповедь: когда имеешь дело с редакциями и издателями, то верь только в тот кусок, который проглотил, но не верь еще в тот, который в глотке: выковырнут! Уверен, что эту заповедь полезно помнить и всем авторам, не входящим в «обойму безотказных»...

А «Занимательный задачник» никогда не дожидется издания. И лежит он в моем архиве рядом с «Настольной книгой скрипача», как говорил уже выше, – на пир архивным грызунам!! Оба покойника напоминают о беспринципных дельцах Музгиза и Учпедгиза, уничтоживших многолетние усердные труды человека, отдавшего всю жизнь делу неродного просвещения...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. СТРАНА ЭСПЕРАНТИДА

Я – ветеран страны Эсперантиды. Как я попал в ее пределы, об этом рассказано в 19 главе 1 части книги. Отчасти за приверженность к языку мира и дружбы – эсперанто – меня в 1937 году и «командировали» надолго в места, не столь отдаленные. Однако и они не охладили моего эсперантского пыла. Я по-прежнему верил, как верю и ныне, что творение доктора Л.Л. Заменгофа – незаменимое и легчайшее средство всестороннего международного общения людей. Оттого-то и вернулся в своем повествовании к этой теме, что расстроен тем обстоятельством, что современному человеку слово «эсперанто», как правило, мало что говорит!

Не могу также взять в толк, почему язык эсперанто не пользуется особым покровительством ЦК КПСС и советского правительства. У нас нет ни одного печатного эсперантского журнала, ни одной газеты! А во многих странах социалистического лагеря они есть. В Ханое, например, существует даже издательство неперIODической политической и художественной литературы.

Правда, в домах ученых больших городов, при некоторых дворцах культуры и пионеров у нас имеются секции и кружки эсперанто. Иногда они выпускают информационные бюллетени и журналы, напечатанные на машинке или на ротапринтере...

В начале 50-х годов в общей советской печати изредка мелькали заметки и статьи об эсперанто. Это навело меня на думку, что к этому языку пробудился общественный интерес.

В Ленинграде появились тщедушные печатные учебники эсперанто Семеновой и Андреева. Но тиражи их были

ничтожны. Да и содержание не могло удовлетворить требовательного человека.

Все это побудило меня взяться за составление фундаментального учебника языка эсперанто. С той целью я прежде всего я изучил академический труд Э. Дрездена «За всеобщим языком» (Главнаука НКП РСФСР, ГИЗ, М.-Л., 1928). Затем собрал высказывания об эсперанто – Горького, Л.Н. Толстого, Барбюса, Ромена Роллана, Луначарского, Эйнштейна, Щербы, Шухардта, Есперсена, Мейе, Мартина, Бодуэна де Куртане, Ферсмана, Обручева, Арманда, Бокарева, АН СССР (постановление 1926 года) и др.

Через межбиблиотечный абонемент я добыл из Библиотеки СССР им. В.И. Ленина всю имеющуюся там литературу об эсперанто и на нем и досконально освоил ее. А большой русско-эсперантский словарь И. Изгура и В. Колчинского (718 страниц!) переписал от руки. Подробно проконспектировал и новейшую литературу об эсперанто: статью магистра Исая Драверта «Польша – родина эсперанто» (ж-л «Польша», 1956, № ?); статью Ж. Далэ «Эсперанто» («В защиту мира» за 1956 г.); его же статью «Путешествие в Эсперантиду» («В защиту мира за 1957 г.); статью Г. Харабагью «Эсперанто» («Молодежь мира», 1957, № 8–9).

Подковавшись, как говорится, на все копыта, я приступил к делу. Но когда оно уже подходило к концу, николаевский поэт Эмиль Январев обескуражил меня сообщением, что он вычитал против эсперанто веские возражения весьма авторитетных писателей: В. Гафурова, А. Софронова и К. Паустовского.

Волей-неволей пришлось вникнуть в их резоны. Вникнул я – и поразился их откровенным невежеством в проблеме международного вспомогательного языка. Все они повторяли об эсперанто жеванные, пережеванные кумушкины лясы, которые опровергнуты были более 70-ти лет тому назад, но упорно и слепо повторяются донныне даже умными людьми, не знающими предмета, о котором судят так категорично!

Так, В. Гафуров считает эсперанто искусственным созданием и сравнивает его с другим языком – воляпюком. Да, главная часть воляпюка – слова – действительно искус-

ственные: их выдумал прелат Шлейер. И поэтому воляпюк скоро умер.

А доктор Заменгоф не выдумал слова для эсперанто, а взял их из естественных, самых образованных европейских языков, в которые, в свое время, перекочевали и многие-многие слова из восточных языков. Прилагательное искусственный присоединяется к эсперанто условно. Давным-давно доказано, что все языки мира – искусственны! Сошлюсь на высказывание великого писателя Франсуа Рабле, который еще в средние века писал: *«Заблуждается тот, кто говорит, что наш язык имеет природный характер. Языки создаются искусственно народами по своему вкусу и разумению; как говорят диалектики, голоса не имеют смыслового значения от природы, а приобретают его по желанию людей».*

Эти слова многократно подтверждены с тех пор и другими мировыми авторитетами. Вот и выходит, что натуральных языков не существует в мире, языки все искусственные, все созданы человечеством ...

Грамматика языка эсперанто искусственна, как и все грамматики национальных языков. Только она рационально упрощена, кажется, до предельной степени. Причем все грамматические формы эсперанто тоже не измышлены Заменгофом, а заимствованы из образованных языков мира. Так что весь эсперанто искусственен столько же, сколь искусственны языки культурных народов.

По недостаточной осведомленности, В. Гафуров, как и многие другие авторы, навязывают языку эсперанто претензию сжить со света или поглотить, или заменить все национальные языки мира. Такой претензией страдал воляпюк. И за нее был наказан гибелью. Доктор Заменгоф определил миссию эсперанто скромно: быть вспомогательным средством международного общения, преимущественно для людей, лишенных возможности изучать трудные национальные языки. Доктор Заменгоф полагал, что распространение эсперанто будет помогать в изучении желательных национальных языков и таким образом содействовать их расцвету.

Крайне странно звучат заявления недоброжелателей, что эсперанто не может заменить английского, русского,

китайского, французского, арабского или какого-либо другого языка.

Уже было сказано, что вспомогательный международный язык к этому и не стремится. Позволительно задать им вопрос: а какой самый развитой национальный язык может заменить все или какие-либо иные национальные языки? Такого языка на свете не было, нет и не будет!

Еще в 1954 году ЮНЕСКО указало на необходимость использования эсперанто в деле сближения и взаимопонимания народов. И многим нашим критикам этого языка следовало бы принять к сведению это важное обстоятельство...

Выступая на III Съезде писателей СССР, поэт и драматург Анатолий Сафронов договорился до того, что предложил объявить последовательную борьбу против изучения языка эсперанто и использования его в литературе. В частности он сказал следующее:

«Не представляю, как можно на безличный, лишенный народности язык эсперанто перевести «Анну Каренину» или «Ревизора», «Грозу», или «Кому на Руси жить хорошо»? (А. Сафронов. «Долг художника». «Театр», 1954, № 4, стр. 8).

Не сомневаюсь, что Анатолий Сафронов не удостоил своим вниманием даже элементарного учебника языка эсперанто, не видел он русско-эсперантских словарей Корзлинского, Изгура и Колчинского, Бокарева и др., не ведает он о «фундаментальной хрестоматии» Заменгофа, не читал о том, что в знаменитой библиотеке Британского музея давно насчитывалось более 40 000 томов оригинальной и переводной литературы на языке эсперанто. Вероятно, неизвестно писателю Анатолию Сафронову и то, что на эсперанто переведены, между прочим, Библия, «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, «Государство и революция» В.И. Ленина, «Евгений Онегин» и почти все поэмы Пушкина, отдельные творения Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Л.Н. Толстого, А. Блока, Горького, Маяковского, А.Н. Толстого, Фурманова, Лавренева, Шолохова, Эренбурга, Новикова-Прибоя, Паустовского, Исаковского и многих-многих других русских и иноземных писателей!

Конечно, на эсперанто нельзя перевести точно некоторые тонкие художественные нюансы и идиомы того или иного национального языка. А на какой другой националь-

ный язык можно точно перевести их? Ни на какой! Неужели и впрямь эта азбука – terra incognita для писателя Анатолия Сафронова?! Я позволю себе напомнить ему только пресловутую курьезную попытку иностранных журналистов перевести русскую идиому «показать кузькину мать»...

Но пальму первенства за невежественные вымыслы об эсперанто и его авторе я преподнес знаменитому писателю К.Г. Паустовскому.

13 сентября 1957 года я послал ему такое письмо:
«КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ!

Я – преподаватель русского языка и литературы. Пишу Вам потому, что люблю Вас, считаю одним из тончайших писателей современности...

Я с упоением прочел Вашу незабываемую автобиографическую повесть «Далекие годы». Скажу Вам по чистой совести: меня «убили» в ней следующие строки: «Фицовский (товарищ К.Г. Паустовского по гимназии. – А.Т.) заставил меня изучить международный язык эсперанто. У этого бесцветного языка, выдуманного варшавским зубным врачом Заменгофом, было только то достоинство, что он был легок. Это был не язык, а невесомая шелуха, отвесная от всех языков мира. Но все же на этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто.

По примеру Фицовского, я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде, и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил присылать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молодая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов – правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота и что все русские офицеры говорят по-французски». (К. Паустовский. «Далекие годы, стр. 458, ГИХЛ, 1956).

Не могу скрыть: от этих слов мне стало стыдно за любимого великолепного русского писателя. Поэтому не могу не высказаться перед Вами откровенно.

В неправдивом названии доктора Заменгофа зубным врачом слышится плохо скрытое пренебрежение. Заменгоф был не зубным врачом, а высококвалифицированным врачом-окулистом. Он окончил Варшавский университет по медицинскому факультету, а затем совершенствовался в Венском офтальмологическом институте. Неужели у Вас не хватило добросовестности знать об этом точно из биографии доктора Заменгофа?!

Вы считаете язык эсперанто «бесцветной шелухой, отвесной от всех языков мира». Что это – заведомая неправда или свидетельство Вашей поверхностной осведомленности в области элементарного языковедения? Вы проходили начальный курс эсперанто, и потому должны твердо знать, что в этот язык взяты слова основного фонда наиболее образованных языков мира: греческого, латинского, английского, французского, немецкого, русского и проч. Примеры: природа, небо, земля, солнце, луна, звезды, животные, растения, отец, мать, дети, люди, добро, зло, мир (в обоих значениях), дом, хлеб, вода, здоровье, болезнь, радость, горе, счастье, белый, черный, умный, глупый, близко, далеко, приятно, отвратительно, сладко, горько, любить, ненавидеть, родиться, умирать, побеждать, строить и т.п.

Разве это – «шелуха»? Разве она выдумана Заменгофом? Но, возможно, Вы, как тонкий эстет, скажите, что все эти и им подобные слова – прозаизмы, «бесцветная шелуха», негодная для живописи словом, для уловления бесконечных нюансов мысли и чувства? Трудно согласиться с Вами, так как известно, что каждое слово может быть живописным и эмоциональным, если оно употреблено художником уместно и, как указывал еще Пушкин, с чувством соразмерности. Приведенные мною «прозаизмы» употреблены в бессмертных творениях величайших гениев всех времен и народов. Стоит ли это доказывать кому-либо, а не только Вам?

Нет, дорогой Константин Георгиевич, доктор Заменгоф «отвешал» от лучших языков мире не «шелуху», а самое

чистое, весомое и питательное зерно! И теперь, как никогда, люди всех стран мира остро нуждаются в этом зерне! Вы же, дискредитируя эсперанто, объективно оказываете двойную медвежью услугу: и этому языку, и делу международного общения людей, не имеющих по разным причинам времени и возможности изучать трудные национальные языки.

В широчайших и разнообразных международных связях нуждаются все люди. Кратчайший и самый легкий путь к этому – язык эсперанто. Сейчас нам для интернациональных отношений нужны не эстетические тонкости международного вспомогательного языка, а насущные слова: мир, долой войну!, долой атомные бомбы!, да здравствует мир и дружба между народами! и т.п. Язык эсперанто дает возможность всем людям быстро научиться оперировать этими словами. А придет время – и он обогатится «цветистыми» словами. Да он и ныне богат ими!

Какими бы слабостями не обладал эсперанто, по сравнению с богатейшими национальными языками, все эти слабости покрываются и искупаются его исключительными преимуществами – легкостью и общедоступностью его изучения. Вместе с тем он вполне достаточен для установления самых разнообразных международных контактов. Пока нет белого хлеба, голодному нельзя отказывать в черном. Но эсперанто – далеко не черный хлеб. Это – концентрат всего лучшего, что создало человечество в области языков...

Я неискоренимо верю, что Вы пересмотрите свою оценку языка эсперанто и в следующем издании повести «Далекie годы» вычеркните неверные и оскорбительные для него строки.

С волнением и интересом жду Вашего ответа.

С глубоким уважением А. ТОПОРОВ».

Но олимпиец наплевал на мое письмо с высокой колокольни, хотя оно касалось не бирюлек, а проблемы мирового значения. Смею думать, что Л.Н. Толстой, А.М. Горький и А.П. Чехов ответили бы на подобное обращение к ним...

В очередном издании повести «Далекie годы» остались неприкосновенными строки неправды и об эсперанто, и о докторе Заменгофе...

Очень жаль, что из отличной книги Ильи Самсоновича Шкапы «Семь лет с Горьким» издательство «Советский писатель» изъяло в 1964 году целую главу «Будущее принадлежит эсперанто», в которой изложена длиннейшая беседа Алексея Максимовича с автором и литератором Бобрышевым об эсперанто и Заменгофе. В этой беседе А.М. Горький раскрыл великое и многостороннее значение эсперанто.

Выпады В. Гафурова, А. Сафронова, К. Паустовского не поколебали моего намерения написать учебник языка эсперанто. Около шести лет я работал над ним. В 1962 году московский писатель-эсперантист И.В. Сергеев заинтересовался моим трудом и пожелал посмотреть его. Незадолго до своей смерти он передал рукопись учебника доктору филологических наук Е.А. Бокареву, главному автору русско-эсперантского словаря.

А к 1970 году выяснилось, что нет никакой надежды на издание каких бы то ни было учебников по языку эсперанто. И мой «тяжеловесный» опус, содержащий 15 уроков, грамматику и хрестоматию (всего более 500 страниц) благополучно вернулся восвояси, чтобы лечь в третью могилу на моем литературном кладбище!

Мне в утешение осталось сознание, что моя жертва, принесенная на алтарь международного вспомогательного языка эсперанто, не была тщетна. В августе 1964 года на Гаагском всемирном конгрессе эсперантистов советскую делегацию возглавлял мой ученик-эсперантист Степан Павлович Титов.

По возвращении с конгресса он написал статью «Я видел и слышал», которая была помещена в газете «Молодежь Алтая» (г. Барнаул). Она – убедительный ответ всем скептикам, отрицающим эсперанто как общедоступное средство общения и взаимопонимания людей разных континентов. Приведу отрывок из нее:

«...Отправляясь на конгресс эсперантистов в Гаагу, я поставил себе целью – убедиться, годен ли эсперанто для ведения международных собраний; сможет ли этот, как его называют, «мертвый язык» преодолеть языковые барьеры; способен ли он выразить шутку, вызвать улыбку; сможет ли передать научные мысли; годен ли для трибуны, чтоб оратор стройностью, логичностью, красотой

слова убедительностью доводов вошел в сердца слушателей, вызвал аплодисменты, овладел вниманием...

Все это я видел и слышал на 49-м конгрессе эсперантистов в Голландии! Для меня было подлинным чудом видеть и слышать, как на вечере знакомства 2 500 делегатов из 43 стран заговорили на одном, понятном для всех языке; как в огромном зале люди из разных уголков планеты, знакомые только по письмам, встречались, будто давние друзья, вели такие оживленные беседы, как если бы они находились в кругу соотечественников.

Представители Азии, Африки, Австралии, Америки и Европы перемешались (подлинный интернационал!), искали старых друзей, заводили новые знакомства, обменивались сувенирами. И старинный зал наполнился теплотой человеческих чувств. Никто из присутствующих не выжидал из уст переводчиков **оглодки** мыслей и чувств. И я ощутил какую-то гордую свободу от сознания, что впервые поднялся над языковыми барьерами»...

Воистину свята и незыблема аксиома: всякая правильная теория подтверждается практикой.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ С ПЕРОМ СЕЛЬКОРА И ЖУРНАЛИСТА

Жизнь иногда выкидывает потешные коленца. Взять для примера хоть бы меня. 24 августа (по старому стилю) 1891 года родился я. В тот же день тетка Феня принесла сынка. Двоюродных младенцев крестили в один и тот же час, в одной и той же купели. Обоих нарекли Адрианами. Оба мы Митрофаньичи.

А дальше пошли различия. У братца фамилия Прасолов, а у меня Топоров. Его в Стойле дразнили Куркуль, а меня – Кисель. Матью я «цыганча», а он – белобрысый. Братец долговязый, а я – от горшка два вершка.

Учились мы в церковноприходских школах. Он в Соковской, а я в Бродчанской. В учебе были дошлые, особенно в выразительном чтении стихов. Состязались в этом искусстве. Но, правда, братец мало-мало обгонял меня. А один раз принародно подкузьмил:

– А ну, напиши самое длинное слово!

Я и осекся.

– А я напишу!

И, ликуя, он наскреб на грифельной доске, показал людям и с гонором прочел:

– Попроблагодарассмотрительствующемуся!

Где он его выкопал?! Слово показалось мне туманным, но как-будто русским и осмысленным. А через полвека с лишком в рассказе Н.С.Лескова «Заячий ремиз» я встретил признание Оноприя Опанасовича Перегуда, что он донес на «потрясителей трона»:

– И потому я представляю это: как угодно попроблагодарассмотрительствующемуся начальству...

Скажи на милость! Значит, «чародей русского языка» орловец Н.С. Лесков у простого народа подслушал самое длинное слово, может быть, даже у курян: Орловская и Курская губернии – соседи. Нельзя же допустить мысль, что Андрияшка Куркуль вычитал диковинное слово у Н.С. Лескова: в начале девяностых годов об этом писателе в Стойле и слыхом не слыхали!..

Прасоловых на Бугрянке по-уличному звали Куркулями, должно, потому, что у них была пятистенная хата, горница с деревянным полом, а в ней стулья вместо лавок. На окнах гардины. Ну, все по-слободскому! Чай Прасоловы пили из самовара. Тетка Феня варила вишневое варенье. У нее-то я впервые в жизни и узнал, что это за штука и как ее едят. В садике у Прасоловых росли яблони, груши и вишни.

Дядя Митрофан, когда его сын окончил начальную школу, выписал ему журнал «Сад и огород». Начитавшись его, тезка-братец однажды убил меня бахвальством:

– Я теперь корреспондент! На-ка почитай.

Он подал мне бумажку из редакции журнала «Сад и огород». В этой бумажке братца просили быть его постоянным корреспондентом. Вот это – да! Я думал, что корреспондент – это птица высокого полета, вроде члена-корреспондента Академии наук! Не ниже.

По всему Стойлу загремело:

– Андрияшка Куркуль теперь корреспондент!

Это меня окончательно заело. А чем я хуже братца? И дал я себе «Аннибалову клятву»: разобьюсь в лепешку, а тоже буду корреспондентом!

Но эта клятва стала сбываться только в 1910 году. Первую корреспонденцию я послал в курскую губернскую газету, название которой сейчас не помню. Я разоблачал попа села Старая Лещина Тимского уезда Курской губернии за то, что он нахрапом оттягал у псаломщика часть пая из церковной земли. В село наехал благочинный с помощниками. Перемерили спорную землю, установили произвол попа. Я увидел и почувствовал силу печати.

Заметка о попе-хапуге была долгое время единственной опубликованной мною. С тех пор прошло 60 лет. Доныне мои статьи, зарисовки, очерки, репортажи, рассказы печатались в 72-х советских изданиях. Перечислить все эти материалы невозможно. Упомяну лишь немногие из них, давшие добрые реальные результаты.

* * *

Выше говорилось, что я был один из организаторов известной сибирской коммуны «Майское утро». Пил горькую чашу с первыми ее членами. Участвовал в ежедневной борьбе за существование этой коммуны в самые тяжелые годы, когда она жила и работала под стволами ружей и под ножами бандитов.

Первая моя большая и острая статья в защиту коммун была напечатана в газете «Красный Алтай» (№ 203, 1922 г., Барнаул). Она называлась «В кольце врагов». Редактор газеты П.Ф. Запорожский, боясь, что бандиты укокошат меня, настоял подписать статью нарочито вычурным псевдонимом **Стеллин**. Так я и сделал. После этой статьи коммунары снабдили оружием для обороны.

* * *

На отшибе от одной деревни Косихинского района Алтайского края в задрипанных землянках прозябала самая голодраная беднота, как говорится, забытая богом и людьми. Сроду не видел я до того такой срамоты!

И в «Красном Алтае» грохнула моя жуткая картинка с натуры «Пещерные люди» Действенный резонанс не замедлил. В те годы селькоровские письма были настоящим острым оружием. Барнаульское уездное начальство всполошилось. Комиссия обследовала положение

«пещерных людей». А спустя неделю плотницкая артель уже ставила для них деревянные избы. Срочно в палатке (было лето) открыли временный медпункт, где фельдшер повел борьбу с социальными болезнями в поселке. Постепенно все пещеры были заменены хатами. Самую просторную из них назначили под постоянный медпункт. Бывшие «пещерные люди» зажили по-человечески.

* * *

Во время первой империалистической войны в Косихинском районе разместили много пленных немцев, австрийцев и мадьяр. Среди них нашлись мастера на все руки. Сформировали бригаду строителей новой районной больницы. Место для постройки выбрали удобное, красивое, в лесу за селом. Здание запроектировали деревянное.

Пленные успели возвести лишь стены. Добротные, на век! Но революция и гражданская война не позволили закончить здание. Пленные отбыли на родину. Отвлеченные великими событиями, косихинские власти не думали о недостроенной больнице. Голые стены ее около пяти лет стояли беспризорно под открытым небом, предоставленные действию всех стихий сурового сибирского климата. Заготовленные отделочные материалы и инструментарий, хранившиеся в сараях при строительстве, были разворованы.

Минули войны. Жизнь вошла в нормальную колею. Райисполком постановил достроить больницу. Избрали строительный комитет, куда ввели и меня.

Лето 1923 года. Над стенами райбольницы плотники поставили стропила и хотели уже настилать крышу. Я в те дни руководил районными учительскими самокурсами. Надумалось мне посмотреть, как идут работы на больнице. Как член строительного комитета, я сознавал и свою личную ответственность за большое народное дело. Пригласив с собою учителя Г.И. Скворцова, я отправился на строительство. Плотники отдыхали в обеденный перерыв, курили, я присел к ним. Разговорились. Спрашиваю:

– Ну, как, товарищи, дела?

Один из них и выпалил:

– Дела, можно сказать, гиблые.

– Как?!

– Да так... Строим. Прораб руководит. Из РИКа приезжают, смотрят и уезжают. Начальство собирается к октябрьским праздникам открыть новую больницу и получить награду. А здание вот-вот рухнет.

– Почему?

– А пойдете-ка наверх, там увидите, почему.

Пошли. Плотник разъяснял:

– Смотрите вон на ту стену. Видите: четыре верхних венца выперло пузом внутрь. А в той стене повело шесть венцов, а вон там – три, а там – утянуло наружу пять венцов...

– Так что же это будет?! – испуганно спросил я.

– А то, что кривые стены не выдержат балок верха, стропил и крыши. Все это обвалится и задавит больных и медиков... А вы гляньте-ка на эти балки. Они же все сгнили.

Плотник поочередно вонзал топор во все поперечные балки. Из одних он горстью черпал сухую, как порошок какао, гниль, из других вытаскивал куски мочала, из коих текла вонючая жижа молочного цвета...

«Все сядем в тюрьму! – с ужасом подумал я. – И РИК, и прораб, и строительный комитет, и я с ними».

– А знает ли об этом РИК?

– Знает, конечно.

– Почему же не приостанавливает работы?

– Спешит сдать больницу и отличиться.

Вижу: тут уголовщина. Беру от балок образцы гнили и бегу к председателю РИКа С.П. Нехорошеву. Выкладываю на его стол эти образцы.

– Что это такое?! – изумляется он.

– Это опора верха больницы.

Рассказываю все, что я видел и слышал на стройке. Нехорошев ринулся туда.

Я привез в «Красный Алтай» набатный репортаж. Но редакция послала меня с ним к председателю уисполкома Бондарю-Диброве. Тот, прочитав мое донесение и выслушав устные дополнения, схватился за голову:

– Спасибо, товарищ Топоров, что поднял бучу. Но статью не надо печатать, не надо. Мы завтра же пошлем в Косиху комиссию. Все уладим. Примем меры...

На следующий день комиссия прибыла к месту ЧП. Увидела, убедилась. Распорядилась: стропила и балки снять,

все выпершие венцы выправить или заменить. Словом, получилась катавасия! Торжество открытия новой больницы отодвинули надолго. Нехоршев до конца своей жизни точил на меня зуб, называя антисоветским элементом, хотя я вместе с ним партизанил против колчаковщины, и в моей квартире одно время стоял штаб его отряда. Мне понятна злоба председателя РИКа: я заварил кашу и вырвал один листок из его лаврового венка. Но как мне следовало поступить иначе?

* * *

В первые годы советской власти в Косихе жил-был и работал народный судья Брезгун, – рыжий, усатый, хитрый взяточник, развратник и циник. Как видите, моральный облик этого вершителя правосудия ничуть не соответствовал его фамилии. Вряд ли у сказочного судьи Шемяки было грехов больше, чем у Брезгуна.

Пользуясь служебным положением, он «брал на прицел» каждую лакомую девку или бабу, замешанную в судебном деле. Даже хвастался, что упрямых кержачек он уламывал с помощью Библии на блуд с ним, доказывая от «священного писания» безгрешность прелюбодеяния в трудных случаях жизни. А такие случаи Брезгун разбирал сотни раз. Так что достаточно валило ему «клубнички».

Одно беззаконие косихинского Шемяки вынудило меня вступить с ним в единоборство. В селе Верх-Жилинском остался безродным старик Василий Кузьмич Еремин. В его хозяйстве были: хата, амбары, хлевы, две лошади, три овцы, свинья и корова. Разумеется, и земельный надел. Тяжело заболев, старик принял в свою хату вдову, ее сына и дочь – с условием докормить-допоить его до смерти и по-доброму похоронить. Требовалось оформить в народном суде дарственный документ. Советский закон разрешал тогда дарение имущества стоимостью, кажется, не свыше 10 000 рублей. Имущество Еремина оценивалось значительно ниже этой суммы. Какие-то отдаленные родственники старика, не имеющие право на наследование его нажитков, подкупили Брезгуна, и он начал крутить-вертеть, отказывая в оформлении дарственного документа.

О самоуправстве Брезгуна я написал в «Красный Алтай». Губернский прокурор послал в Косиху старшего следователя. Все преступления Брезгуна были вскрыты. Его сняли с работы и упекли под суд. Заключение он отбывал в Нарыме...

* * *

Годы 1920–1924 я называю «запойными» в моем селькорстве. Выпадали летние дни, когда я писал по 10, 15, 20 и более корреспонденций! Все они напечатаны. Видно, не зря на губернском конкурсе селькоров Алтая в 1924 году я получил первую премию.

* * *

В номере от 28 августа 1924 года «Советская Сибирь» дала мою зарисовку «У церковных ворот», изображавшую враждебное отношение заскорузлых единоличников к молодым сибирским коммунарам. Редакция этой газеты пригласила меня к постоянному сотрудничеству. На первом Всесоюзном учительском съезде в Москве (январь 1925 года) я был в числе делегатов Алтайской губернии и корреспондентом «Советской Сибири».

Когда я возвратился из Москвы в Новосибирск, зав. Сибкрайоно тов. Венгров «арестовал» меня:

– Не пушу вас домой, пока не напишите обстоятельную статью о съезде для «Сибирского педагогического журнала».

Эта статья напечатана в № 2 «СПЖ» за 1925 год. Рядом с ней нашел место и мой большой очерк «Как я учил школьников писать сочинения по способу наблюдений» (перепечатан в Москве в 1926 году).

С тех пор вплоть до отъезда на Урал я регулярно печатался и в «СПЖ», и в сменившем его журнале «Просвещение Сибири». В некоторых номерах этих изданий было по 2–3 моих вещи. Самыми значительными из них, кроме названного очерка о детских сочинениях, считаю: «Дни нашей жизни» (там же, №№ 1, 2, 3 за 1927 г.), «Долой баласт!»* (там же, №№ 9, 10 за 1929 г.), которые зажгли острую поле-

* Слово «балласт» напечатано с одним «Л» по предложенной мною орфографии. - А.Т.

мику по проекту реформы орфографии. Позже – почти все мои предложения вошли в проекты реформы, одобренные орфографической комиссией Института русского языка Академии наук СССР в 1956 и 1964 годах. В 1965 году в Москве издана книга «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии XVIII–XX веков», где рассмотрены наилучшие из них. Между ними 12 раз упомянут и мой проект, некогда опубликованный в «Просвещении Сибири». Я и сегодня стою за него.

Как это ни странно, а мои педагогические статьи, вышедшие в сибирских просвещенческих журналах в двадцатых годах, и ныне остаются предметом научного исследования. Так, преподаватель Омского педагогического института В.Е. Зябкин в автореферате его диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук недавно писал: *«В связи с вопросом о развитии устной и письменной речи учащихся – мы анализируем журналистскую деятельность известного сибирского педагога А.М. Топорова. Им был разработан ряд вопросов методики обучения детей в начальной школе. За 3-4 года учащиеся А.М. Топорова научились мыслить и свободно излагать свои мысли устно и письменно. А.М. Топоров в основу своей методики положил развитие наблюдательности детей и культуры языкового чутья». И так дальше...*

О моей педагогической и литературной работе В.Е. Зябкин напечатал в журнале «Начальная школа» статью «Коммунар, педагог, журналист» (№ 5, 1963 г., стр. 8–11).

* * *

В годы 1926–1927 я опубликовал 9 корреспонденций в журнале «Коллективист» – всесоюзном органе, освещавшем жизнь и труд колхозов. В 1928 году президиум конкурсного комитета «Коллективиста» присудил мне первую премию за очерк «Стальное сердце».

Собранные вместе, мои статьи и очерки из «Коллективиста» составили бы книгу, которая рассказала бы о многих сторонах борьбы, труда, быта, успехах и неудачах в строительстве первых коммун в Сибири. Но эта тема в наше время, к сожалению, никого не интересует.

Козни и гонения, которым подвергли меня за селькорство в Очере Пермской области, я обхожу здесь: они описаны в 1 главе этой части книги. Я был доведен до продолжительной и тяжелой болезни нервной системы. Желая искупить свою вину, районные и областные головотяпы послали меня на курорт в Феодосию, где вместо лечения я получил новую психическую травму. Осматривая город, я был ошеломлен фактами, говорившими о кощунственном отношении феодосийцев к памяти своего земляка, гениального мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.

В нескольких местах города когда-то были устроены красивые фонтаны имени художника. Их превратили в мерзопакостные общественные клозеты! Позор всесветный!!! Тошно было смотреть на огромную свалку, на месте которой стоял дом, где родился И.К. Айвазовский (ул. Морская, 13), на его могилу в захламленной ограде бывшей армянской церквушки.

Прослышал я, что еще жива была вторая жена великого художника – Анна Никитична. Задумал добиться у нее аудиенции.

Корпуса Феодосийского санатория, где я лечился, были украшены копиями с картин И.К. Айвазовского. На копиях значились подписи: «Ф. Дорменко». Спрашиваю феодосийцев:

– Кто такой Дорменко?

Отвечают:

– Бывший слуга Айвазовского.

Любопытно!

В знаменитой галерее я заметил сидящего у двери большого зала глубокого старичка со слезящимися глазами. Спросил его:

– Нельзя ли как-то попасть на прием к Анне Никитичне? Я – журналист. Возмущен оскорбительным отношением местных властей к памяти Ивана Константиновича. Хочу об этом написать в московской газете... А вы, дедушка, кто будете?

– Я – Фома Дорменко.

– А! Это не вы ли написали с картин И.К. Айвазовского копии, что висят в зданиях санатория?

– Я, я...

– Как же вы научились рисовать?

– А я еще мальчишкой поступил к Ивану Константиновичу в услужение. Краски ему тер, кисти мыл и еще кое-что делал. Ну, около него и сам приучился малевать, а он подсказывал, как и что надо... И до самой смерти Ивана Константиновича я при нем состоял. И теперь вот охраняю галерею. Квартирку во дворе во флигельке имею.

– Как вас зовут?

– Фома Игнатъич был.

– Дорогой Фома Игнатьевич, похлопочите, пожалуйста, чтобы Анна Никитична приняла меня для беседы. Я не долго буду утруждать ее.

– Да, Анну Никитичну нынче обижают. Стеснили и не обихаживают квартиру. Все в комнатках ее облезло, и печи дымят, и холодно зимой.

На следующий день, по уговору с Фомой Игнатьевичем, я пришел к нему во флигель. Он провел меня к Анне Никитичне.

В кресле сидела величавая старуха в пышном темном платье. На голове – торжественная кружевная наколка. На красивом породистом лице Анны Никитичны еще не потух румянец.

Познакомились. Я высказал свои впечатления от виденного на местах, связанных с именем Ивана Константиновича. Горько жаловалась Анна Никитична на забвение завещания художника. Потрясло ее последнее постановление горсовета о снятии с бывшего главного фонтана скульптуры «Доброму гению». О ней Анна Никитична вспоминала:

– Город страдал без питьевой воды. Из моего имения Субаш, за 25 верст отсюда, мы с Иваном Константиновичем проложили трубы и пустили в город пресную воду из колодцев Субаша. Хорошая вода!.. Построили фонтаны. Благодарные жители Феодосии узнали, что от меня все это пошло, и поставили памятник «Доброму гению». Посмотрите, какой он был.

Сестра Анны Никитичны принесла семейный альбом и нашла в нем фото с изображением памятника. Анна Никитична подала его мне:

– Возьмите на память... Фигуру скульптор лепил с меня.

На фотографии стояла прелестная молодая женщина. В протянутой руке она держала чашу, из которой в бассейн лилась вода. Эту воду брали и пили горожане.

– А позавчера, – продолжала Анна Никитична, – свергли статую и бросили в подвал галереи... В 1930 году у нас пышно отмечали 50-летие галереи и 30-летие со дня смерти Ивана Константиновича. Было сказано много хороших слов о нем и обо мне. Обещали увеличить пенсию. Но... юбилеи прошли – и все осталось по-прежнему. Нужда заставила продать все вещи Ивана Константиновича, которым место в музее. Даже кровать, на которой он умер... А сколько было одних подарков ему с двухсот выставок его картин по всему свету! Да от знаменитых людей, которые гостили у нас в этом доме! Да спасибо Фоме Игнатьевичу хоть за то, что он спрятал картины галереи во время гражданской войны, а потом передал их Советской власти.

Сетования Анны Никитичны были справедливы. Квартиру ее давно не ремонтировали. А статую «Доброму гению» я видел брошенной на пол в подвале...

С тяжелым чувством покинул я спутницу жизни великого поэта моря, пообещав заступиться за нее в центральной прессе.

Слово свое сдержал: срочно приготовил гневную статью «Толстокожие». В подзаголовке ее поставил: «О том, как руководители Феодосийского горсовета «чтят» память художника Айвазовского» («Комсомольская правда», № 37, 1937 г.).

О волоките с этим моим детищем хорошо рассказано в примечании «От редакции»:

«Товарищ Топоров принес нам свое письмо после многочисленных мытарств, которые оно претерпело в разных московских учреждениях. Сначала он принес его в редакцию журнала «За коммунистическое просвещение». Оттуда его переправили в Наркомпрос (музейный отдел). Работники Наркомпроса переслали письмо в Музейный сектор Комитета по делам искусств при СНК СССР. После целого месяца неудачных попыток тов. Топорову удалось, наконец, дозвониться в Музейный сектор и выяснить, что письмо передано в газету «Советское искусство» тов. Плоткину, который обещал «на основе этого

письма» написать статью. После опубликования этой статьи Музейный сектор Комитета по делам искусств обещал принять меры.

Далее следуют многократные посещения тов. Топоровым редакции «Советского искусства». Сначала был в отпуску Плоткин. Потом он появился, но заявил, что письмо не будет опубликовано, а из него «будет взято лишь несколько строк». Далее статья попала к сотруднику редакции Басехису. Четыре раза ходил к нему тов. Топоров, пытаясь хотя бы получить письмо обратно (на опубликование надежды уже не было). Лишь в пятый раз письмо вернули, причем Басехис заявил: «Мало ли таких дел, как в Феодосии?»

Вся эта отвратительная история показывает, что и в некоторых московских учреждениях, и даже в отдельных редакциях центральных газет находятся бездушные чиновники, которые в культурном отношении ничуть не выше феодосийских горсоветчиков, воздвигающих уборные на месте памятника великому художнику».

За статью «Толстокожие» много благодарственных писем получили и редакция, и я. Благодарила нас Анна Никитична, ее родные и рабочие Феодосии.

Крымское правительство быстро устранило все бесчинства, о которых шла речь в «Толстокожих». Анне Никитичне увеличили пенсию, благоустроили квартиру, привели в порядок фонтаны.

Тридцать два года мне была неизвестна участь скульптуры «Доброму гению». Я запросил о ней дирекцию Картинной галереи имени И.К. Айвазовского и 25 ноября 1969 года получил ответ:

«УВАЖАЕМЫЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ!

На поставленные в Вашем письме вопросы отвечаю:

Статуя «Доброму гению» пропала в период оккупации фашистскими захватчиками г. Феодосии 1941–1944 гг.

Автор скульптуры «Доброму гению» нам неизвестен.

С уважением – директор Д.Г. Трушин».

Грустно при мысли, что мы не знаем даже имени творца памятника, не так давно украшавшего родной город великого мариниста...

* * *

Николаевская областная библиотека для взрослых – одна из старейших на Украине. И едва ли не лучшая. Люди с развитым эстетическим вкусом непременно останавливались перед ее небольшим, но благовидным зданием и подолгу любовались им (сегодня в нем находится Дворец торжественных событий для вступающих в брак – А.Т.). Оно было рассчитано на хранение 80 000 томов. Но к 75-летию деятельности библиотеки (в 1956 году) книжный фонд ее достиг 250 000 томов, не считая огромного количества газетных подшивок. Здание стало нестерпимо тесным. На полках место одной книги занимали три. Дореволюционные журналы «Вестник знания», «Отечественные записки», «Русская мысль», «Русское богатство», «Летопись», «Мир божий», «Современный мир», «Былое» и др. – десятки лет были сжалькнуты так, что при попытке выдернуть одну книжку за ней тянулась цепь слипшихся других книжек.

В нормальных условиях хранения – каждую книгу овеивает воздух. А в Николаевской библиотеке книги «задыхались» и преждевременно ветшали. На полу ее хранилища всюду в беспорядке валялись книги, журналы, газеты. Библиотечные работники внимательно выискивали для своих ног местечко, чтобы подойти к нужной полке, не растоптав какое-нибудь ценное издание.

Из-за тесноты были закрыты отделы – технический, иностранной и нотно-театральной литературы, т.е. 70 000 томов! Негде было приткнуться научно-исследовательским абонентам.

В маленькой раздевалке проводились тематические выставки литературы. А в периоды зачетов и экзаменов в учебных заведениях – в библиотеке обычной была такая картина. Читальный зал переполнен. Все столы и подоконники заняты. А в раздевалку втискиваются все новые и новые читатели. Но стоящая у его двери старушка строго предупреждает:

– Товарищи! Не раздевайтесь, не раздевайтесь! В зале нет мест. Подождите! Выйдет один из зала – одного впущу туда. Выйдут двое – впущу двух...

Так и было.

Дирекция библиотеки долго домогалась получить дополнительные 2-3 комнаты – ничего не выходило!

Я, как член библиотечного совета и постоянный читатель, вмешался. В день 75-летнего юбилея библиотеки выступил в республиканской газете Радянська культура (№ 78, 1956 г.) с горестным откликом «Замість ювілейної промови». Рассказал обо всех нуждах библиотеки. Отклик подействовал. Дирекцию библиотеки и меня вызвали в обком партии. Обсудили вопрос. Решили: искать новое, большое здание, где библиотека могла бы развернуть работу всех ее отделов. Нашли. Это – огромное, недостроенное сооружение, которое еще в 1912 году предназначалось под городской театр. Здание достроили и приспособили. Ныне его занимают: лучший в Николаеве кинотеатр «Родина», народная филармония и областная библиотека для взрослых имени поэта А.М. Гмырева.

* * *

В течение 1955, 1956 и 1957 годов в газетах «Флаг Родины» (Севастополь), «Бугская заря» и «Южная правда» (Николаев), «Радянська культура» (Киев) я трубил о внимании к памятникам героям революции, гражданской и Отечественной войн, деятелям науки и культуры на Николаевщине.

В безобразном состоянии были могилы Аркасов и В.Н. Каразина. Кратко напомню о том, что я писал о них.

В расстоянии одного метра от южной стены кладбищенской церкви расположен склеп семейства адмирала Н.А. Аркаса – одного из главных командиров Черноморского флота и портов (в период 1871–1881 годов). Часовня над склепом была когда-то художественным архитектурным произведением. Ныне она – мерзость запустения. Крыша схилилась набок, в стенах расщелины, облицовка рассыпалась, решетка из северного окна выдрана, мраморная арка над столиком и все внутренние украшения украдены.

На трех стенах часовни были горельефы адмирала, его жены и дочери, изваянные из флорентийского мрамора известным флорентийским скульптором Улиссом Камбии в 1881 году. Горельеф жены адмирала похищен. Два других покрыты толстым слоем пыли. Их давно следовало бы

взять в местный музей изобразительных искусств имени Верещагина.

Продолжением склепа семьи адмирала Аркаса является яма, накрытая листом гофрированного оцинкованного железа. В этой яме погребены: основатель города Николаева М.Л. Фалеев, старший брат адмирала, морской офицер, историк, археолог З.А. Аркас, сын адмирала, композитор Н.Н. Аркас, а также сын композитора, блестящий придворный офицер, любовник балерины Кшесинской и, следовательно, соперник Николая Второго. По слухам – по указу то ли «его величества», то ли кого-то их его придворных, офицер Аркас был ухлопан. Труп его сплывили в Николаев и положили рядом с прахом отца.

По свидетельству старейшего местного ученого краеведа Федора Тимофеевича Каминского, в усыпальнице Аркасов и Фалеева стояли роскошные кресла, висели неугасимые серебряные позолоченные венки, лампы и разные драгоценные украшения. Все это растащено. Украдена и ограда. А длинная яма служит уже пристанищем сброда подонков. Это утверждают богомольцы, проживающие вблизи кладбища...

На восточном склоне этого кладбища возвышается кубообразная часовня с полукруглой крышей. Над входной дверью надпись:

«Основатель Харьковского университета Василий Назарович Каразин. Родился в с. Кручике, Харьковской губернии. 1773 – 1842».

В часовне два надгробия. Посреди ее – обелиск. На нем читаем:

«Виновник учреждения в России Министерства народного просвещения, основатель Харьковского университета, учредитель и правитель дел филотехнического общества, высочайше утвержденного в 1811 году; помещик, поставивший первый крепостных людей на степень существ свободных (каковыми 40 лет спустя хотел их сделать русский царь указом 1862 года, апреля 2 дня); водворитель цветущей торговли и благосостояния граждан в Харькове, естествоиспытатель, подавший первый мысль о возможности сделать из метеорологии науку точную, полезную для людей; почетный член разных ученых об-

ществ – русских и иностранных, – статский советник и кавалер».

Но ужас! Дверь часовни выломана, стены снаружи и внутри обшарпаны, краска на крыше облезла, а на полу, вокруг надгробий, человеческие экскременты!! Так выглядела могила «восторженного украинского Ломоносова», ученого-энциклопедиста, просветителя и гуманиста, о жизни и творчестве которого написано более 220 исследований. А перед зданием Харьковского университета ему поставлен достойный монумент.

Правда, Николаевский горкомхоз убрал всю гнусь с могилы В.Н. Каразина. А ныне, увы, она снова загажена...

Озирая весь свой довольно длинный путь участия в советской печати, вспоминаю одно письмо, присланное мне доброжелательницей еще в 1928 году:

«Дорогой учитель, гр. Топоров!

Прочитав в «Известиях» заметку о Вас, хочу сказать Вам душевное слово. Если Вы выбрали себе путь быть метлой в этой жизни (критика), то и понесете участь метлы. Всегда будете «стоять в углу», как будто за провинность, а в действительности за то, что вымели хорошо.

Привет Вам и презрение всем, кто травит Вас.

С. НИКОЛАЕВА. Москва».

Тов. С. Николаева была отчасти права: за многие разоблачительные корреспонденции меня снимали с работы, а в 1937 году политически оклеветали и послали «прогуляться» по шести тюрьмам и двум лагерям... Но справедливость всегда берет верх. Я полностью реабилитирован ныне. Больше того: моя селькоровско-журналистская работа получила самое высокое признание, поскольку сведения о вашем покорном слуге в этом качестве отныне содержатся и на 353-й странице 8-го тома «Истории СССР с древнейших времен до наших дней», в рубрике «Рабселькоровское движение».

* История СССР с древнейших времен до наших дней», в 12 т. – М: Наука, 1967, – т. 4. – стр. 353.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6 сентября 1970 г. мне исполнилось 79 лет. Из них – 63 года я – солдат культурно-просветительного фронта. По совместительству 33 года я отдал школе, 60 – литературе.

Перебираю пожелтевшие страницы газет и журналов, рукописей, писем... И былое встает перед глазами. Чем дальше по годам, тем ярче. Были очень трудные дни, были тяжкие испытания, были и радости непомерные. Но слишком долгая моя жизнь, чтобы вспоминать ее всю. Работал, писал, воевал с несправедливостью, учил прекрасных детей. Был и остался учителем. Привык гордиться тем, что я – учитель.

Быть долгожителем трудно. Но интересно. Целый век поворачивается пред тобой, множество картин, встреч, лиц, десятки школьных выпусков. Ребятишки, которых учил ты по букварю, приводят в класс своих детей, а там и внуков. И что же, опять все сызнова? Нет, всякий раз по-новому...

Интересное это занятие – жить на земле!

Несколько лет назад, по меркам моей жизни – совсем недавно, попал я в родные места. Помните – обещал рассказать вам о своей поездке в Стойло.

И на меловых горах и перевалах, по которым бегал я бог весть когда без штанов и босой, открылась мне циклопическая работа механизмов, раздевавших землю-матушку на сто тридцать метров вглубь. Колоссальные террасы, похожие на древнегреческий амфитеатр, окружали круглую, ровную, как стол, площадь. Крутились по ней рычащие грузовики, везли магнитную руду на-гора. Улетучились запахи лугов и полей, умолкли птицы, затуманилось пылью весеннее солнце, – я слегка одурел.

Оглянулся и увидел толпы рабочих на склоне. Подъехало кое-какое начальство. Пришли строем пионеры с барабанами, горнами, знаменами. И неожиданно для меня (никто не предупредил) подошли ко мне веселые ребята, надели, как водится теперь, красный галстук на старика, и начался митинг. Я мало что слышал, помню только, как вырос вдруг передо мной огромный экскаватор.

А на нем – глазам не верю – большими металлическими буквами:

«А Д Р И А Н Т О П О Р О В»

Оказалось, дети по всему району собирали металлолом, отправили его на Уралмаш, там сделали машину, и вот – нечаянная радость для меня, неожиданная честь. Выступали руководители рудника, экскаваторщики из экипажа, пионеры, комсомольцы. Зачитывали приветственную телеграмму от Германа Титова. Потом вытолкнули к микрофону и меня. Что говорил – стерлось из памяти. Кажется, все свои ораторские приемы позабыл. Но вроде бы сказал, глядя на тезку-гиганта:

– Пришлось мне батрачить на этой земле. Пусть теперь он побатрачит. Пусть...

1970 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Село Стойло	8
Глава 2. Первые памятные впечатления.....	10
Глава 3. Моя родная обитель	14
Глава 4. Стойленская санитария и медицина	18
Глава 5. Отец	22
Глава 6. Раба безответная	25
Глава 7. В батраках	27
Глава 8. Барин и барыня	32
Глава 9. Ярмарка	34
Глава 10. И снова в Стойле	40
Глава 11. Трудовая школа	45
Глава 12. Детские забавы, радости и проказы	53
Глава 13. Поэтические впечатления детства	64
Глава 14. Бродчанская школа	68
Глава 15. Каплинская бурса	84
Глава 16. Первые шаги на ниве народного просвещения.....	91
Глава 17. Мой университет	112
Глава 18. В Барнауле.....	121
Глава 19. В селе у Журавлиной согры	158
Глава 20. «Майское утро».....	171
Глава 21. Первый и единственный	209
Глава 22. Косихинские и барнаульские Пришибеевы	235

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. Из огня да в полымя	245
Глава 2. В поисках причала. Раменское	257
Глава 3. Свобода!!!	265

Глава 4. Камское устье.....	269
Глава 5. Кашка	272
Глава 6. Возвращение к родным пенатам	288
Глава 7. В путь-дорогу дальнюю.....	306
Глава 8. В Талды-Кургане.....	312
Глава 9. Лечу на Украину!.....	324
Глава 10. 39-я статья. Амнистия. Реабилитация.....	330
Глава 11. Я снова «вышел в люди»	333
Глава 12. На пир архивным грызунам.....	356
Глава 13. Страна Эсперантида	370
Глава 14. Шестьдесят лет с пером селькора и журналиста ...	378
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	394

Топоров Адриан Митрофанович

ИНТЕРЕСНОЕ ЭТО ЗАНЯТИЕ – ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ!

Рисунок Степана Титова
«Портрет Адриана Топорова»

Оформление В. Котеленец
Корректор Е. Федькина
Верстка Т. Афанасьева

Подписано в печать 10.11.2015 г. Формат 84x108/32.
Гарнитура Myriad Pro. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 4808

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати»
656043, г. Барнаул, Б. Олонская, 28

ИНТЕРЕСНОЕ
ЭТО ЗАНЯТИЕ
- ЖИТЬ
НА ЗЕМЛЕ

Адриан Митрофанович Топоров (1891–1984) - алтайский, советский литератор, просветитель. В 1920 году он стал организатором коммуны "Майское утро" в алтайском селе Верх-Жилино, создал здесь школу, библиотеку, народный театр, краеведческий музей, хор и оркестр. С 1920 по 1932 годы читал коммунарам "Майского утра" произведения зарубежных и советских писателей. На основе этого материала Топоров написал книгу "Крестьяне о писателях" (1930), после чего имя автора стало известным в СССР и за его пределами. Книгу высоко оценили Максим Горький, В.Вересаев, В.Зазубрин, А.Луначарский, А.Твардовский, С.Залыгин, В.Сухомлинский и многие другие деятели культуры. Автор книг: "Воспоминания" (1970), "Я — учитель", "Однажды и на всю жизнь" (1980), "Мозаика" (1985) и др.

